



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

1 (7) '2013

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Редколлегия:

Евгения КРАСНОЯРОВА	зав. отделом поэзии
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ	зав. отделом прозы и драматургии
Алексей ТОРХОВ	зав. отделом критики
Алёна ЯВОРСКАЯ	зав. отделом литературоведения и краеведения

Людмила ШАРГА	отдел поэзии
Татьяна ОРБАТОВА	отдел прозы и драматургии

Общественный совет:

Евгения Бильченко (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),
Олег Зайцев (Минск), Кирилл Ковальджи (Москва),
Татьяна Лингуга (Одесса), Мария Малиновская (Гомель),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: auroa_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2013

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Татьяна Орбатова. На два голоса. <i>Стихи</i>	4
Одесса: Валерий Сухарев. Очнуться в виде лежащего сталактита. <i>Стихи</i>	6
Одесса: Юлия Мельник. Счастье иного цвета. <i>Стихи</i>	11
Одесса: Сергей Главацкий. «Для них нипочём – преисподняя...». <i>Стихи</i>	14

«МЕГАФОН»

«Лучшего доктора, чем творчество, нет!» <i>(интервью Станислава Айдиняна с Евгением Степановым)</i>	19
Москва: Евгений Степанов. Стихи разных лет	22

ПОЭЗИЯ

Киев: Александр Кабанов. Невидимый плотник. <i>Стихи</i>	24
Киев: Евгения Бильченко. Calling. <i>Стихи</i>	30
Киев: Анастасия Салмина. Ракетой «воздух-воздух». <i>Стихи</i>	34
Киев: Мария Луценко. Тот, кто сделает вдох. <i>Стихи</i>	38
Донецк: Анна Грувер. Крот говорит «Три». <i>Стихи</i>	43

ПРОЗА

Одесса: Ольга Ильницкая. Когда доживёшь. <i>Рассказ</i>	48
Одесса: Виктория Колтунова. Лицо некрасивого паровозика. <i>Мини-повесть</i>	50
Одесса: Элла Леус. Бонсай. <i>Рассказ</i>	63
Одесса: Константин Чебанюк. Sturnus Vulgaris. <i>Рассказы</i>	65

ПОЭЗИЯ

Одесса – Тель-Авив: Пётр Межурицкий. Кто на Тайване, кто в Крыму. <i>Стихи</i>	74
Одесса – Нью-Йорк: Рита Бальмина. На Бруклинском/Крымском мосту. <i>Стихи</i>	79
Одесса – Тель-Авив: Павел Лукаш. Душа реинкарнация нирвана. <i>Стихи</i>	81
Одесса – Нью-Йорк: Инна Богачинская. Под дождя стенограмму. <i>Стихи</i>	85

ПРОЗА

Ростов-на-Дону: Вадим Скирда. Человек эпохи Расхождения. <i>Рассказ</i>	88
Севастополь – Киев: Платон Беседин. Маяковский. <i>Рассказ</i>	94

ПОЭЗИЯ

Ильичёвск: Ирина Василенко. Способность к дыханию. <i>Стихи</i>	96
Одесса: Ирина Дубровская. Моя Одесса (из книги посвящений). <i>Стихи</i>	100
Одесса: Семён Абрамович. Жёлтые птицы. <i>Стихи</i>	106
Одесса: Елена Милленти. В потайном кармане клёна. <i>Стихи</i>	109

ПРОЗА

Новосибирск: Татьяна Грин. Маяк. <i>Рассказ</i>	113
Москва: Андрей Афонин. Конец маршрута. <i>Рассказ</i>	118
Москва: Олег Куимов. Последний штрих. <i>Рассказ</i>	122

ПОЭЗИЯ

- Одесса: Алёна Шербакова. **«И зренью, превращённому в стрелу...»** *Стихи* 125
Одесса: Елена Росовская. **Шестнадцать зеркал.** *Стихи* 129
Одесса: Владислава Ильинская. **Мой прекрасный драматург.** *Стихи* 133

ПРОЗА

- Одесса: Мария Котова. **Соло кленового листа.** *Повесть* 137

«ОКОЁМ»

Произведения авторов лонг-листа

Международного литературного конкурса «Согласование Вре́мён – 2012»

(*Евгения Костюкова, Наталья Резник, Владислав Декалов,*

Светлана Чернышова, Ян Бруштейн) 158

«ЛИТМУЗЕЙ»

- Одесса: Евгений Деменок. **Футуристы в Одессе.** *Статья*..... 166

«ШКАФ»

Курск: Александр Бубнов. **Заметки о философии и поэзии Буквы.** *Статья*..... 181

Владикавказ: Милена Тедеева. **На связи – Северный Кавказ. Плоды безмолвия.**

Обзор (Алан Рамонов, Жанна Аппеева, Вадим Керамов, Милена Тедеева) 183

Минск: Юрий Клеванец. **Драматургия рубежа веков: Антон Чехов**

и Андрей Курейчик. *Статья* 195

Киев: Владимир Гутковский, Татьяна Аинова. **Диалог двух поэтов**

(о книге Ольги Самолевской «Времена») 198

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

- Одесские литературные новости 202

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

НА ДВА ГОЛОСА

1 голос

... Оттого ли, что смерть не таит свои раны
И лицо у неё по-людски беспокойно,
Оттого ли, что нет ни единого храма
Ни вблизи, ни далёко, а сплошь – скотобойни,
Я не верю в реальность, пытаюсь проснуться –
Тесный город богат жерновами и пиром,
Но ни хлеба, ни света... и не дотянуться
К веткам старых деревьев, обрезанным криво.
Не уйти, не уехать, не броситься с крыши.
Сколько смерть ни зови – отзывается вечность.
Призываю друзей, но мой голос не дышит,
Я пытаюсь бежать, но мой дух искалечен...

2 голос

... Господи... Боже... не знаю, чей голос
Ночью слышала, он полон печали.
Чьё-то отчаянье с жизнью боролось
Или мой мир умирает ночами?
Или ищу отголосок ушедших?
Где-то среди них мою радость отпели.
Господи, здесь я в ряду «сумасшедших» –
Верю безропотно в святость купели,
Верю – Ты слышишь любую молитву.
Слышишь, безмолвствует северный ветер?
Кем-то проиграна главная битва,
И результат на Земле не заметен.
Но у Тебя каждый голос по счёту...
Спасе, молю, помоги и помилуй –
Пусть он найдёт полновесную ногу,
Голос наполни молитвенной силой!

1 голос

... Я не слышу себя, но мой разум способен на мысль.
Словно в космос глазка – в отдалённое небо смотрю.
Вижу дольную нить. Сквозь бушующий мрак: отзовись! –
Чей-то властный призыв. Но, горя, горя я, горя...
Мне бы вмиг угореть, забыв неумение жить,
Убежать от себя в благодатный покой забывья,
Но бессонница зла, вместо стен и кроватей – ножи,
Надо мной адский сброд – дети бесов и бесов зятя.
И куда ни пойду – всюду тщетны попытки взлететь,
Здесь такие как я – обречённость жуёт или тлен,
Здесь такие как мы – бессловесные твари и снесь.
Мне бы в помощь – любовь, но вокруг каждый глух или нем...

2 голос

... Господи, кто-то живёт не надеясь,
Или то – мера иллюзий и сон?
Снова во мгле крик отчаянья: где я?
Голос далёкий, укором весом.
Кто-то страданием воздух наполнил,
Иглами боли прошил от Земли.
Или то плачут прибрежные волны,
Бьются над каждым, кого не спасли?
Нет, у Природы жестокость – законна,
Хищник за голод Тобой не судим,
Волны бездушно сильны марафоном,
Лишь человек от природы один –
Слова взыскует, листая страницы
Жизни своей и всего Бытия.
Отче, не дай Ты отчаянью сбыться,
Помощь убогому – милость Твоя!

1 голос

... И злость, и вызов, и протест,
И бьёт по нервам доля-сука.
И склонность к перемене мест,
И день во тьме, и нет досуга –
Во мне болит привычка жить!
Земной царёк, где воля к свету?
Но нет язвительнее лжи,
Безрадостней, чем воля эта.
Во благо общее – Платон
Солгать горазд, но я не буду –
Устал от зла и похорон
Своих надежд и веры в чудо.
Моё лицо облапил страх,
И страсти мне изъели душу.
Я – скверно совестливый птах,
Но, Господи, кому я нужен?
Кому? Ни людям, ни себе,
Ни смерти, ни собачьей стае...
И есть ли смысл в моей мольбе,
Когда душа моя – пустая?..

2 голос

Господи, снова душа ли, скиталица,
В скорби отринула числа,
Но в узелках поколений читается
Вязь управляющих смыслов.
Просит спасения каждая буквица –
В самой безрадостной фразе,
Но пустотой бесконечной аукнется
Просьба в бессвязном рассказе.
Господи... Боже... Позволь нерадивому
Мысли связать воедино,
Дай одинокому и горделивому
Крайность свести в середину.
Господи... Боже... людским нетерпением
Попраны древние царства.
Кротости дай неразумному рвению
И огради от коварства.
Господи... Боже... Избави от пафоса,
В слове Твой вес неизменный.
К воздуху просится каждая пауза
Малой словесной вселенной.

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

ОЧНУТЬСЯ В ВИДЕ ЛЕЖАЩЕГО СТАЛАКТИТА

Декабрь подкатывает к финалу, как автомобиль к парковке; бордюр, мелкий поклон капота, ручник, мы выходим в стужу; меж деревьев дымится туман за садовой решёткой старинной ковки, и там, кроме теней, нет ничего и никого: теперь не хочется людям наружу.

Я, нарушая законы теплообмена, что тоже – форма обмана себя самого, выдумываю витиеватые прогулки парком и к морю, где, как в бане пару, навалом одышливой воды и снова тумана и где у девиц из кафе лица как дурная и не смешная умора.

Нелепо катятся надутые комбинезонами карапузы; собаки, как беглые эзки, взоры кидают себе и проходим под ноги, переменяя трусцу на шаг, по ходу влюбляясь в мусорные баки и кропя скамейки; и вид побережья несчастный, даже убогий.

И ты заражаешь невольно округу собой, а она тебя терпит просто, как врач пациента, которому не сожаление здесь предложат, а максимально верный и точный диагноз; и пирсы в воде, как наросты на синей волнистой стали; и у удящих давно обветрилась кожа.

И внутри такое анданте, и не укротим метроном прохода по променаду (отбросив бычок, дева достала помладу), где ветер выучил только несколько гласных; и не надо вдали теплохода и в вышине самолёта; хочется счастья, которого нет на свете.

Нет, и его не надо, оно напоминает что-то из распродажи перед Новым годом: лиф кружевной, несгораемый чайник, юлу со сроком вращения или шальную шаль с пухом лебяжьим, – что-то такое, что после спит мёртвым сном в шкафу, пылится в углу.

Но как-то, без крика и плача, желается даже не разговора, а молчаливого понимания – в ответ на твою тишину... И, словно прокладывая лыжню в тумане, идёшь вдоль забора, медленно воздух жуя, как будто навсегда покидаешь родную страну.

И это не бугафорским гусиным пером нацарапано в чьём-то приватном (например, в твоём) альбоме, где, до моих, уже иные, других плясали буквы, это – точно сейчас я войду в водоём, морской и озябший, и он закипит; и покатаются, как драже,

барашки:они – издали – как растиражированный «кок» Пресли, только седой, как и автор этой туманной декабрьской эклоги... Тем часом в комнате смерклось, луч фонаря расселся в кресле, где и уснул, вытянув ногу – до моего возвращения с дороги.



Грядущее нам неведомо, поскольку мы не волхвы
и вообще ничего не слышали, кроме молвы,
окружившей Его явление нам; а нам
тогда вообще не названы были волхвов имена.

Мария молила – спаси Его и сохрани
от ненависти и от прокрустовых прокураторов...
А вышло, как и должно было, и ничего, кроме любви
не случилось в итоге; и неважно, сколько карат

земных было в небесной его короне... Теперь,
в канун рождества открывается нерукотворно дверь;
на лапах ветвей, помаргивая и улыбаясь, висят
шары и гирлянды, и ты так нарядна... А я-то

молча люблюсь тобою, возможно, как никогда и
никем, как колокольчиком звонким – даром Валдая...
Рождество почти на дворе, и радостно даже котам,
снующим и бегающим проворно и здесь и там.

Опять так тревожит за полночь, что днём спать не даёт,
раскачивая диван и заодно потолок с тенями,
снова из зеркала смотрит в тебя, чуть приоткрывши рот
и отбирая молча пространство жизни между стенами.

За словом «образ» нет ничего, кроме самого «ничего».
За картиной есть хотя бы пыль, узоры обоев и гвоздь, но
кому, привидений кроме, всё это нужно? Их естество
столь же пыльно, с лиан срисовано и беззвёздно.

Ночь перебирается в день, но там ей занятия нет,
и тогда – обратно в себя, где полуденные заботы,
как чьи-то ботики, топчут негромко на мнимый свет
сна или ночника, они твои, и я знаю, кто ты.

Первый снег я увидел во сне, и лишь потом с небес,
не более дюжины на весь город, кристаллов спустилось;
и эти первенцы ещё в воздухе незаметно исчез-
ли, но это был добрый знак (я же знаю себя) или милость.

И ещё я знаю, что всё кругом гадательно и темно,
как любой из образов, что ни вообрази, имея
даже дьявольскую фантазию... Предо мной окно
и в нём профиль жизни вообще, и моей, – бел, как камень.

Это почти что глубокая ночь, и острый плавник
месяца уходит в свою вышину, как лемех вглубь
упрямого чернозёма; затем, на востоке возник
лик какой-то звезды, – возьми и зрачком её приглубь.

А до этого, в сумерки, словно тайный волк, из кустов
на вас выскакивал страх с фарфоровыми глазами,
незаметно и странно вибрируя, точно где-то за сто
километров взорвался реактор, и округа слезами



облилась и покрылась испариной... А вы продолжаете путь,
переступая через тени кустов, схожие в неверном свете
с растопыренными пятернями, не помышляя — куда бы свернуть,
потому что незачем и некуда, по крайней мере на этом

клочке ночного пространства; и в голове от звёзд в небеси
словно бы умножаются сумасшедшие числа, давая не менее
ошеломительные и никчемные результаты: себя спроси —
к чему это? — и нет ответа; облака как клёчки или пельмени.

Куда забредает подчас душа и ты вослед за ней?
Неужто это дорога к тебе? А хотя бы и так, и тогда
не мысли влекут, но ноги ведут, и в воздухе уже о весне
мелькают оповещения, мягче мох под стопой, оживает вода,

как в луночках акварель, облизана влажной кистью; грач
и скворец разглагольствуют на древесном своём языке,
и за кустами, в чаще радеют стволы, и невыносимый срач,
словно лесной царь отпировал и съехал, зайца зажав в кулаке.

И это глубокая ночь, и это выселки и кулички души,
не так чтобы перепутанной переменами, растерянной — да.
И небо колышется и вздымается, точно только что сшитый
на скорую нитку навес, а думалось, что — навсегда.

Подоконник — подставка пыльная под вечность моих
Локтей (залысины на древесине) — сомнительный артефакт
моего здесь присутствия; стенные часы проверяют
жизнеспособность отдельного человека там, где
обои комнаты ни о чём не говорят, смущая скромностью
орнамента, а прикидываются вполне буржуазными.

Теперь поговорим о тебе, голуба, жилища среди всего
этого бурелома вещей (библиотека, пластинки, диски),
среди прочего, что накопилось за жизнь... Как ты себя
чувствуешь среди этой падали, здесь и сейчас?
Я ничего не думаю по этому кретинскому и пустому
поводу, я наливаю водки и ставлю чайник, и забываю тебя.

Никакой идиот не создал пока такого дивана с подушкой,
где бы я не валялся, комкая время в тоске звериной...
Это можно вообще не читать, не запоминать тропы или силлабы, —
поскольку приватный опыт, как персональный анализ, неповторим.
Человек сидит у окна, в окне луна, как дура, совсем одна,
и она — как алтын — скудна и бледна, а заодно и человеку цена.

утренние коты которых слышать за версту
дворник сошёл с ума от лопаты и песни орёт
вот интересно что может взбрести коту
или дворнику в головы от зимних щедрот

это ближний визуальный и фонетический ряды
женщины в дорогих шубейках выползают из
брутальных авто не глядя ни туды ни сюды
а над авто и над ними нависает тревожный карниз



идиотизм простора и голубей небо цвета бумаги
обёрточной и тебя рядом нет только тень моя на снегу
колышется фсб повсюду приклеивает левые баги
чтобы знать как живёт народ а я и без багов смогу

полночь в городе у самого черного в мире моря
модерн домов опадает как прошлогодняя листва
бабулька по снегу бредёт не зная ни счастья ни горя
тащит тележку торит путь ни жива ни мертва

тавтология повторимость дней и ночей без тебя и без
тени твоей на стене или потолке без печальной складки
от головы на наволочке за окном полнейший ликбез
ветвей и собака приплясывает словно её угостили сладкой

шоколадкой душа если ты бездарна скажи мне об этом
дай знать а я за это тебе не сделаю больно вообще ничего
что так или иначе связано с этим потусторонним светом
где нет ни фига твоего подручного и где нет моего

подножного корма где синица на спице храма сидит
вращаясь как флогер а у икон и старух больные глаза
и где инвалид в коляске [...] и белым собакам вредит
выставляя культы и не оборачиваясь назад и ещё назад

туда где да и нет как молодость целокупны в страшный провал
мама вырыла яму куда сама и легла с тяжёлым лицом
господи зачем мне всё это знать пусть ты мне бы наврал
и не опоясывал бы ни ремнём и чутунным кольцом

не стягивал зачем вся эта мельница видно так надо мне
идешь вдоль забора какогонибудь как мимо судьбы своей
руки в карманах на шее шарф и гденибудь в стороне
флейта звучит или ветер свистит о напрасной судьбе лучше налей

Бабочка круглила над городом, что семьсот сорок седьмой
«боинг», не ведая, куда сесть, гремя крылами; унылые люди
с надеждой глядели в иллюминаторы, писали наиспоследнейше письмо,
по смс: земля приближалась, и там, как на блюде,

рваные жилы ручьёв, верхотуры сосен и новостроя свечного;
летающая железяка качнулась и из брюха выпустила цвета сливы
шасси, крылами покачивая медлительно и боязливо;
он упал в озеро, от чего слюна залива, у которой ничего нового,

сделалась более вязкой от солярки, и замолчали ангелы гневливые;
в пледах, ошарашанные своей виртуальной судьбой,
или рыдающие люди, всходила луна, и вдоль залива
тянулся печальный звук — что твой гобой.

арифметика зимних крыш и лобачевские линии
летающие за край зрения словно птица ладонь покидает
едва оттолкнувшись от воздуха и далее над инеем
невозмутимой лепнины неба и над дымными льдами



амнезийных и утеплённых бюргерских снов там иные
люди чем в жизни в доме на улицах где милые дамы
юбок так и не надев не покладая рук их снимают
бедственных истомив джентльменов не умеющих навести
оптику всё у них расплывается и жесты их на полпути
в поисках дам замерзают потому что во снах тоже зима и
мороз по простыням и только ты даже и захотела б
очнуться в виде лежащего сталактита не сможешь сама
ясно зная что прежде душа согревает душу а после тело тело

бегали кошки по свежему снегу хвостами
сугробы листая сугробов мало а кошек стая
шёл человек рыбу раскидывал не помня себя
метель пела в подъездах и в ухо ему трубя

это не по блоку и не по пастернаку просто
шёл себе имярек с карнизов свисала короста
наледи а он себе шёл и шёл ноги почти нагишом
мимо струились неоны вывесок а ему и так хорошо

Бессонница худогой цаплей ходит вокруг моей головы;
у постели, на коротких ножках, тени сидят и глядят
в глаза герою повести... Обыкновенная ночь
тянется, как сумерки в детстве, когда мама с папой

где-то там, далеко, как за рекой огонёк, ни выдохнуть, ни
закричать, всё равно никто не услышит; сумрак дышит
сиренью и скворцами-придумывателями чужих голосов;
моё велосипедное детство с будильником на руле, на

манер почтальонского — «дзвон-дзвон»; и местные гуси
пошли впрыскаду и алекторы встрепенулись, сдуру
надрывая гортани... У меня есть «азбука Морзе», штучка,
что папа привёз из Москвы... Теперь, как бы я ни желал

восстановить ту эпоху, — едва ли получится; а велосипед
был продан в пандан к даче, с её деревьями: вишня, черешня,
груша, орех... И я уже не говорю о граммофонных пластинках,
я ни о чём уже не говорю, и так утомил... Читатель, прощай.

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

СЧАСТЬЕ ИНОГО ЦВЕТА

А в доме сквозняки... По дому ходит кто-то
И путает клубки, и шторы шевелит,
И всё вершит свою незримую работу:
О чём забыли мы – чуть слышно говорит.
Ощупывает нас, как врач седобородый,
Всё зная наперёд, но тайну сохранив.
Послушай, не спеши – по дому ходит кто-то...
Его ладонь светла, его лицо – в тени.
И унесёт сквозняк случайные записки,
И ссадины стола пустого обнажит.
Он тронет за плечо, он подойдёт так близко...
Ты обернешься: «Кто?» И вдруг увидишь – жизнь.

Ночь пожалеет день с его слепящим светом,
И шалью упадёт на острое плечо...
И звёзды полетят – по вечному сюжету –
На жёлтое окно, как сотни звонких пчёл.

И терпкий, летний мёд укладывая в соты
Далёких облаков, где созревает дождь,
Они коснутся нас и превратятся в ноты
И станет сон слегка на музыку похож.

Лето помнит осень наизусть –
Тяжесть яблок и свистящий ветер,
Переулок, где в тугие сети
Ловит нас нечаянная грусть.

Но пока на рыжую траву
Не летят изношенные листья,
Лето кажется длиннее жизни,
А уместится – в одну главу.

Экзюперн посвящается

Я верю – есть в песках горячих этих
Оазис Тишины. Там нежен ветер,
как поцелуй, и сладок, как глоток...
С души легко сдувает он песок.



Но только под палящими лучами
к нему идут. И змеи подползали
к ногам — но, помнишь, были не страшны:
мы верили в Оазис Тишины.

Стал каждый шаг — улыбкою отваги,
и стала жизнь — последней каплей влаги
во фляге. Погляди, как мы честны
перед тобой, Оазис Тишины.

Молчанье новогодней ели...
Зачем мы только повзрослели,
зачем словами обросли?
Сквозь наши прочные иголки
прольётся с новогодней ёлки
вся терпкость неба и земли.
Оставь ей маленькую щёлку...
Уж если кто-то рубит ёлку,
Не помышляя о корнях,
пусть в нас с тобой укоренится.
Молчанье — чистая страница,
не надо — строчек на полях.
Не надо прерывать обряда
старинного — из снегопада
она уже вошла в твой дом...
Но как же мы шумны и громки
перед её полётом робким,
бесстрашьем перед топором.

Нас не вылечит скорость... Скорее молчанье травы.
Нам помогут — воды бормотанье и веток терпенье...
С панибратского «ты» перейдя на учтивое «Вы»
Бородатое облако небо приводит в движенье.

И так хочется этому таинству не вопреки
Быть, с ним вровень — молчать, на одном языке — объясняться...
Это облако многим из нас не подаст и руки,
Если встретит случайно в одном из кварталов пространства.

Просто мимо пройдёт неулыбчивым, грузным дождём,
Затеряется в солнца вечернего медной калитке...
Нас не вылечит скорость. Ступив за небес окоём
Краем взгляда — захочется быть непроторенной улитки.

Голубая бусина покоя,
В чью прозрачность небо пролилось,
Мы забыли, что это такое —
На неё смотреть без всяких просьб.

Словно пчёлы, мы летим за мёдом
Каждого пленительного сна,
Помня после — только миг полёта
И усталость легкого крыла.



Может, бывает счастье иного цвета,
Чем это небо – только где-то на юге...
В небе завязла глыба сизого света,
Снег появился – и убежал в испуге.

Если б я знала – что эти ветки прячут,
Кто их покинул – на темноту и сырость...
Если б я знала – что этот вечер значит,
День отнимая – словно кусочек сыра.

Старое платье выскочило из шкафа,
Бросилось в ноги – в блёстках своих тревожных.
Если бы чашек я не роняла на пол,
Если б жила я – тихо и осторожно...

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

«ДЛЯ НИХ НИПОЧЁМ – ПРЕИСПОДНЯ...»

Волки ходят по городу, тычутся в фабрики.
Сон уходит сквозь сито сознания детского.
Конец света начнётся – заведомо – с Африки,
Но мне хочется более-менее веского.

Фары пятятся в стойла, но сыплются оползнем,
Беспросветность смыкается льдами сутяжными,
И Господь под забором лежит, и мы об пол – с ним...
Но мне хочется более-менее важного:

Ощутить тебя всю – всеми теми подлодками,
Каковыми Вселенная видеть пытается,
И не знать, что влюблённые могут быть кроткими,
И не знать, что уже за спиной – Апокалипсис.

Все озимые станут однажды осадками...
Но мне хочется скинуть с себя инородное,
И понять, что любимые могут быть краткими,
И узнать, что для них нипочём – Преисподняя.

ОТВЕТ

1.

Испуганные сны
стареющих Индиго
впечатаны от века
в решётки хромосом,
как огненный Псалтырь
в лесов живую книгу,
где – кома человека,
познавшего свой сон.
Не бойся испугать,
любимая, родная –
проносится, как поезд,
глухонемой вокзал.
Разомкнутая плоть
свой зодиак познает –
сирот колючий пояс
стучится в тронный зал.
Колодцев тайный быт –
глаза дремучих марев –
играет с верхней бездной
и – с нижней заодно.



Не думай, что теперь,
 когда живее зарев
 становится Невеста,
 заляжет Сон на дно.
 И я тебе приснюсь
 там, где случилось Чудо –
 вослед оледененьям
 и пасеке венер.
 Храни такие дни,
 мы – прибыли – Оттуда,
 там – камера хранения
 нас, словно общий нерв.
 Не тщись не сниться мне –
 ни в саване ознобном,
 ни в пелене азота,
 ни в раненой фате –
 мы всё равно найдём
 Кристалл в миру загробном,
 что так похож на одурь
 двух спаянных людей.

2.

Колыхание ветра по кругу, в наدير и – обратно,
 Шевеленье эпох в сонме чёрных квадратов...
 В точку невозвращения Земли – вход парадный
 Утопает в цветах, и в венках, и в костях, и – в распятых...

Вот и я, как архангел Пьеро, как пастух Зодиака,
 Каждый раз тебя жду здесь – живой, невредимой,
 Облучённый давно чередой ложных знаков...
 Я, наверно, привык, я привыкну сильнее, вестимо,
 Всякий раз, одевая посмертную тогу,
 Улетать в небеса из любых небоскрёбов
 И смотреть им в глаза удивительно строго,
 Ожидая от них подношения мне в виде гроба,
 И спросить с них за всё, что они натворили
 С этим местом и временем, с духом и телом,
 И – уходит вода – из воды, её боги сморили –
 Звонари в храме атомных маятников беспредела.

Но послушай, послушай, ты властна сломиться,
 Неразменный мой Ад – ждать тебя – сдаться сам, ведь
 Цвет выходит из темени, звук – из жар-птицы,
 Жизнь выходит из нас, словно джинн из беременных амфор.

3.

На самых подступах к Вокзалу –
 Внезапный сон, сто раз на дно...
 Ты никому не рассказала,
 Что я тебе в Сочельник снюсь.

Пусть этим снам мой рок поверит,
 Что побережье всё – твоё,
 Что мы выходим там на берег,
 Но не вдвоём, но не вдвоём...

Иная явь – явь лишь местами,
 Иные сны – что белый шум.
 То, что ты снишься мне годами,
 Я и тебе не расскажу.

О, если б ты была другою, не плела венков
Из кандалов, вериг и сбруй,
Он был бы вечен и звенел так высоко —
Мой первый и последний поцелуй.

И если б я не плёл верёвок из волхвов,
Из боли неродившихся людьми,
Я б сохранил тебя в себе, как божество,
Как самый светлый, самый чистый миг.

Мне б голос твой ввести в свою немую кровь —
Прививкой, что Вселенной всей поёт...
Но одиночество моё, как мир, увы, старо.
Бессмертно одиночество моё.

Как не подглядывай за томной тишиной,
Как не заглядывай в бессмертье кенотафом —
Ты будешь молча, как замок, следить за мной,
И станет вечный сон моим *auto da fe*.
Меняет кожу кокон шума, и зерно
Внутри него — горит торшером пустоцветья,
Пустырь растёт, как радиации синод,
И шум, как шелкопряд, родившись, бьётся плетью...

Для птичьих — строгий пост: ни чувства, ни мечты,
Ни — ожиданья разряжённой сном надежды —
Как не вглядись туда, где можешь стать Ты,
Как не смотри, что у молчанья под одеждой!
Ничейный ветра нимб — оков неспелый ум,
И язва тишины — как ржавчина — нетленна,
И — кто спасёт из заточенья новый шум,
И — выйдет чей пароль из кокона, из плена?

Пароль для скорлупы сей будет ядовит,
И грянет гром, и мы узрим в чаду пожаров
На плоскости чудес всю простоту любви
И ливнем оголённых микросхем Самсары.
Мне остаётся ждать, пока падут врата,
И неба тыл развернется перед остывшим,
И подтолкнёт Тебя ко мне, и голос даст,
Немотности Твоей вселенской возмутившись.

Тобою застилать кровать... У энных — больше шансов.
Так выхолошена и так опалена
Ночная боль, что — ни бельмеса.
Я никогда с тобой не разучу всех грязных танцев,
Тех, что танцуешь ты одна
Лишь для себя, но не для бесов.

Тобой — продолжиться в веках... Которых нет у мира.
Лужёная, седая ночь на новый Аркаим
Обрушилась, как студень, т.е. — на дом.
Зачем со мной ты, если тыл твой — вроде тира?
Я ничего не чувствую от слов твоих,
И потому мне больше — ничего не надо.



Что делать мне, скажи, когда всё ложе –
 В костях тех из Тебя, кто снились мне, близки,
 И умирали утром вместе с бредом на постели? –
 Чтоб, не услышав в сотый раз «Ты мой хороший»,
 Свет потушить, баюкать ночники,
 И плыть на субмарине пустырями прочь, без цели.

Теплее одевайся, беглая. На улице, мой Свет,
 Так холодно, как в космосе открытом.
 Там листья вымирают, птицы ниспадают вверх,
 И ветер лепит вновь столб соляной из Маргариты.

Держись дороги аистов. Что для распятыя пат,
 Четыре света стороны – для птицы.
 Я, скошенный, в своей норе кротовьей буду спать
 И буду за тебя – тебе – во сне – молиться.

У нас всегда не тот сезон, не наши – времена.
 На улице осенней нет ни компаса, ни лощей.
 Лети своей дорогой в небесах, дай Бог, она
 С моими катакомбами пересечётся.

С утра пойдёт толчёный снег,
 Такой, что толком не увидишь,
 Каков – ослепший человек,
 Каков – в глазу обрюзгший Китеж.

Лото снежинок сменит лёд.
 Воздушным змеем в Третьем Риме –
 Ты в мир отпустишь самолёт,
 Чтоб он лавировал меж ними.

Не чужь трещин миража,
 Не повинуйся отраженьям,
 Войдёшь в начинку гаража
 И станешь собственной мишенью.

И не поймёшь, что носишь мор
 С собой, что вразной – все птицы,
 Что я, мой Свет, так и не смог
 Принять, что ты – самоубийца.

И станет Змей воздушный сед,
 Упавший в Иррий, и, конечно,
 Найдя на энной полосе
 Тобой растерянную нежность.

Там, где фейерверк наложился на зодиак,
 Как отпечаток пальца на твою кожу,
 Как самый счастливый день на жизнь,
 Нас заметило бестелое око Циклопа –
 Остекленевшее небо
 С крупинками то ли льдинок, то ли блёсток –
 И обратилось в стоп-кадр,
 Но мы не успели дернуть стоп-кран.



И теперь подснежники –
Будто гремучие колбы тысяч Везувиев –
Светлячками горят,
Закидывают невода с солнечными зайчиками
В тягучие, озимые туманы –
В полях мартовских, бесконечных,
Где мы давно уже ходим
На расстоянии вытянутой руки
Друг от друга
И чувствуем в своих объятиях друг друга,
Но из воздуха, а не из плоти,
И ждём, когда от нас отвернётся
Мир, мешающий нам видеть
И беречь друг друга,
А если дождёмся,
То станет священным
То, что всегда считалось бесстыжим,
И молния станет бить в одно дерево,
Ведь другого просто не будет,
И аисты нас наконец-то услышат.

И никто никогда,
Кроме наших детей,
Не узнает, как я люблю тебя,
Ведь даже чувства такого
Ещё не придумали небеса.

«МЕГАФОН»

«ЛУЧШЕГО ДОКТОРА, ЧЕМ ТВОРЧЕСТВО, НЕТ!»

Евгений Степанов родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института в 1986 году по специальности «французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве в 1992 году и аспирантуру факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологических наук. Литератор, издатель, культуролог. Читал лекции в университетах России, США, Швейцарии, Румынии. Генеральный директор издательства и типографии «Вест-Консалтинг». Издатель и главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург) и «Другие», газет «Литературные известия» и «Поэтоград». Член редколлегии журнала «Крещатик». Стажировался в издательстве «Bayar-press» (Франция) и газете «Leadger independent» (США). Член Президиума МГО СП России, член Русского ПЕН-центра, президент СП XXI века. Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка. Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени», «Век», «Крестьянская Россия», журналах «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других. Как поэт, критик, мемуарист, интервьюер печатался в таких изданиях, как «Дружба народов», «День поэзии», «День и Ночь» (Красноярск), «Поэзия», «Вопросы литературы», «Юность», «Журнал Поэтов», «Членский журнал» (Нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (Нью-Йорк), «Ex libris НГ», «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор нескольких книг стихов, прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий.

Сегодня Евгений Степанов отвечает на вопросы Станислава Айдиняна.

СТ.А.: Евгений, Вы основали несколько получивших признание, широко известных изданий. Какова концептуальная основа каждого, их принципиальное отличие друг от друга?..

Е.С.: Станислав, все наши журналы разные, хотя все посвящены поэзии. «Дети Ра» – поэзии регионов, «Зинзивер» – Петербургу, «Футурум АРТ» – авангарду, а «Другие» – визуальной поэзии. Ежедневная газета «Поэтоград» показывает все направления развития русского стиха – от наивного до классического. То есть в итоге мы стараемся не повторяться. Все наши журналы и газеты – это инструменты по сбору информации для готовящейся в издательстве «Вест-Консалтинг» 3-х томной Антологии современной русской поэзии. Первый том выйдет уже в этом году. Сейчас я вычитываю корректуру. Помогает мне мой заместитель, поэт и литературовед Владимир Коркунов. Он уже нашёл десяток ошибок и опечаток.

СТ.А.: Если бы Вы планировали своё собрание сочинений то, наверное, отдельный том составила бы поэзия, другой – литературоведческие сочинения, возможно, был бы и том эссеистики, так вот – как бы Вы составили возможное собрание и что в Вашем творчестве для Вас – важнейшее?..

Е.С.: Я написал более 30 книг. Это и романы, и повести, и рассказы, и стихи, и научные книги, и развлекательные, и переводы, и биографии, даже книги о плакатах и карманных календарях Госстраха. Словом, я попробовал себя в разных жанрах. Также я всю жизнь – с четырнадцати лет – веду дневник. Печатаю его на страницах журнала «Дети Ра». Очень многие люди мне говорят, что это главное моё произведение. Не исключаю, что они правы.

СТ.А.: Расскажите, пожалуйста, о Союзе писателей XXI века!

Е.С.: Союз писателей XXI века (сайт – www.writer21.ru) создан в феврале 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Президентом Союза избрали меня, вице-прези-

дентом – поэта и культуролога Арсена Аркадьевича Мелитоняна, председателем ревизионной комиссии – Игоря Александровича Харичева. Союз писателей XXI века – общественная организация, объединяющая современных писателей из разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей XXI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издаёт журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал», создаёт передачи о литераторах для телеканала «Диалог». Союз писателей XXI века – некоммерческая организация, который существует за счет пожертвований и членских взносов. Сейчас нас уже около 300 человек. Это могучая, серьёзная организация.

СТ.А.: Вы упомянули про членские взносы... На что они тратятся?

Е.С.: Взносы мы все до копейки сдаём в банк Москвы, а потом проплачиваем услуги фирмы, которая создаёт членам Союза писателей XXI века персональные веб-страницы. Больше мы пока взносы ни на что не тратим.

СТ.А.: А на журналы и газеты СП XXI века?

Е.С.: Журналы я по-прежнему финансирую из собственного кармана. Мне так комфортнее и спокойнее. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что мы печатаем авторов в наших журналах за деньги. Такого никогда не было и не будет.

СТ.А.: Подразделён ли Союз на секции, или это «монолитная» организация?..

Е.С.: Да, у нас есть отделения и секции в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, в Германии... Фактически – это международный СП.

СТ.А.: Какие из встреч с талантливыми писателями, поэтами, художниками Вы считаете для себя значимыми, памятными?..

Е.С.: Я с 17 лет дружу с поэтом и филологом Сергеем Бирюковым, который оказал на меня большое влияние. Дружил с Татьяной Бек, Геннадием Айги. Эти люди во многом меня сформировали. Я много лет по-товарищески общаюсь с Юрием Милорава, Константином Кедровым, Еленой Кащуба, Андреем Коровиным, Евгением Харитоновым, Мариной Кудимовой, Павлом Лукьяновым. Без этих людей я не представляю своей жизни.

СТ.А.: Можно ли считать Вас путешественником, что интересного вынесли из поездок за рубеж?

Е.С.: Нет, я не путешественник. Но я провёл вне Москвы, моей Родины, более 12 лет – в русской провинции, на Украине, в Киеве, во Франции, Америке, Польше, учился в Женеве, в университете. Это не было путешествием. Я там жил. Точно также, как все местные жители. Поехать куда-то на недельку отдохнуть – это не мой стиль. Я, например, ни разу не был на отдыхе в Анталье...

СТ.А.: Если бы у Вас была возможность из одной минуты Вашей жизни чудесным образом сотворить год, который принадлежал бы исключительно Вам, что бы Вы жизненно и творчески сделали в безраздельно Вам принадлежащем времени?..

Е.С.: Я бы уехал в мой любимый город Рассказово Тамбовской области и писал бы эссе и мемуары. О людях, которых встретил на своём пути, о своих родных и близких, о любимых писателях и книгах.

СТ.А.: Что наиболее сложно в жизни творческого человека?

Е.С.: По-моему, всё легко. Творчество, созидание – это счастье. Когда я пишу, мне становится хорошо. Это вид аутотренинга. Я пишу только для себя и для нескольких моих друзей. Когда узнаю, что мои книги становятся бестселлерами, очень удивляюсь. Ей-богу, я не кокетничаю. Мне главное – выговориться, сказать о наболевшем. Лучшего доктора, чем творчество, нет. А если твои сочинения нужны ещё кому-то, так это вдвойне счастье. А если тебе за это ещё и платят, то ... как говорится, лучшего не придумать.

СТ.А.: Кто из классиков русской литературы для Вас наиболее важен? Предложите, пожалуйста, свой оценочный рейтинг знаковых для Вас литературных имён Золотого и Серебряного веков.



Е.С.: У меня достаточно банальный выбор: Пушкин, Толстой, Бунин, Чехов (как драматург), Вересаев... Я очень люблю стихи Волошина, Есенина, стихи и письма Марины Цветаевой, статьи Хлебникова...

СТА.: Какие качества современной поэзии у авторов представляются Вам наиболее важными, существенными и ценными, каковы Ваши критерии оценки поэтического произведения?

Е.С.: Это сложный и очень важный вопрос. Во-первых, нам всем надо осознать, что такие критерии действительно существуют. И оценивать поэтический текст можно только в рамках определённых критериев, в рамках определённых жанров и поэтик. Глупо сравнивать поэтику, скажем, Бориса Слуцкого и Геннадия Айги. Это разные миры. Но поэтику, например, Сергея Гандлевского и Марины Кудимовой, работающих в традиционной силлабо-тонике, сравнивать можно и должно. Для меня очень важны: словарь поэта, рифменная система, метафорический ряд, звукопись, масштабность мировоззрения, созвучность времени...

СТА.: А кто для Вас более значимый поэт – Гандлевский или Кудимова?

Е.С.: Конечно, Кудимова. В силу тех причин, о которых я говорил выше.

СТА.: Вы пишете докторскую диссертацию, посвящённую современной русской поэзии, на кафедре сравнительной поэтики РГГУ, где многие годы работал легендарный стиховед Михаил Гаспаров. Как продвигается работа?

Е.С.: Мне нужно ещё два года – и я напишу монографию. После этого с Божьей помощью можно будет и защищаться (Впрочем, я никуда не тороплюсь. Лучше быть хорошим кандидатом наук, чем плохим доктором). Книга получается объёмной – примерно 450 страниц. Это анализ строфики, форм, фигур, тропов современной русской поэзии, поэтических направлений и групп. Такая небольшая энциклопедия. Пытаюсь самому себе ответить на вопрос, что же такое поэзия. В общем, я близок к умопомешательству с этой докторской.

СТА.: Я читал в Вашем дневнике план Вашей диссертации, и мне понравился Ваш подход. Вы не исключаете ни «сомнительных», с точки зрения обывателя, имён, ни круга проблем, связанных с ними. В том и состоит научный подход, как мы знаем, имена и течения должны быть собраны и проанализированы.

Е.С.: Да, это именно так. Я исследователь не только литературы, но и литературного процесса. Я не могу в работе о поэзии конца века не сказать про концептуалистов (Пригов и т.д.) и соц-арт (Иртеньев), я должен дать им оценку. Таковы законы жанра диссертации (тем более, докторской). Я знаю хорошо, что это не поэзия. Это опять-таки тексты (талантливые!), написанные в другом жанре. Но это знаю, видимо, только я грешный. А в сознание литературной общественности эти фигуры внедрены как поэты. Если про них не написать, книга (диссертация) окажется неполноценной. Просто неполной... Я рассматриваю литературные направления, группы, а не только отдельных поэтов. Иначе бы я написал другую книгу.

СТА.: Расскажите чуть подробнее, если можно, о задаче книги.

Е.С.: Эта книга (диссертация) не о тех поэтах, которых я люблю (хотя, разумеется, там есть и такие), но, прежде всего, о том, что есть. Задача следующая: дать панорамную (более или менее) картину поэзии середины XX-начала XXI века. И расставить акценты. Что такое хорошо и что такое плохо? Это мой взгляд на то, что есть. На то, чему уже дали оценку многие другие исследователи (Кулаков, Северская, Фатеева, Зубова, Азарова, Бирюков, Сапгир, Шайтанов, Евтушенко, Орлицкий...). Вместе с тем, я ввожу в литературоведческий контекст ряд новых групп и имён: Дикороссы, СПЕКТР, Другое полушарие, Валерий Прокошин, Юрий Беликов, Юрий Влодов, Евгений В. Харитонов... О них пока нет обширной литературоведческой литературы.

СТА.: Не хотелось ли Вам расширить Вашу книгу «Профетические функции поэзии, или Поэты-пророки» (2011)? Были ли чудесные, либо пророческие случаи в Вашей жизни?

Е.С.: Конечно, хотелось бы. Я создал только эскиз книги о поэтах-пророках. Эта тема бесконечна. А жизнь... Любая человеческая жизнь – чудо. Для меня главное чудо – это встреча в 17 лет с женщиной, с которой мы по сию пору вместе. Уже более 30 лет. Это настоящее чудо и счастье.

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

У ТЕБЯ НА ГЛАЗАХ

Нараше

вся моя жизнь
прошла у тебя на глазах

отрочество
юность
молодость
зрелость

у тебя на глазах я был
студентом
аспирантом
докторантом
нищим репортёром
и коммерсантом

у тебя на глазах
я жил в общежитии
коммуналке
съёмных квартирах
роскошных апартаментах
и домах

у тебя на глазах я был
мужем
отцом
и дедом
и даже
sometimes! –
поэтом

что мне сейчас разгромные статьи в журналах
что мне сейчас козни моих конкурентов
что мне сейчас грубая лесть

я смотрю на твоё лицо
и мне всё понятно

и я знаю: здесь я ошибся
а здесь поступил верно

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СО МНОЙ

Ты меня ругаешь – да не строго.
Не желаю женщины иной.
Ты – я знаю – заместитель Бога,
Женщина, которая со мной.

Ты меня и холишь, и лелеешь,
Сырники готовишь и рагу.
Ты меня и любишь, и жалеешь.
Без тебя я точно не смогу.



Не смогу один торчать в квартире,
Побывать однажды на Луне.
Не смогу в безумном этом мире
Сделать то, что надо сделать мне.

ЖИЗНЬ-И-СМЕРТЬ

жизнь у меня жизнь
смерть у меня смерть
жизнь у меня смерть
смерть у меня жизнь
что это? жизнь-и-смерть
что это? смерть-и-жизнь
да это жизнь-и-смерть
да это смерть-и-жизнь
брат мой не умирай
сын мой не умирай
смерть это рай-и-ад
жизнь это ад-и-рай

ПРОСТИТЕ

никаким сексом
никакой едой
никакими заморскими странами
меня уже не увлечь
и не удержать возле себя
эти дорожки — каюсь! —
хожены-перехожены мною
вдоль-поперёк
только — судьба
только — то что не выразить словами
только — то чему нет и не может быть объяснения
я не знаю как выразить свои мысли
простите

ВНУЧКА

эти маленькие смуглые ручки
держат огромный земной шар
вы думаете это метафора
вы думаете это устаревшая метафора
нет в самом деле —
маленькие смуглые ручки
держат огромный земной шар
впрочем объяснять я ничего не хочу

САМОМУ СЕБЕ

в этой жизни — как шприц — одноразовой
все — немножко бомжи и бичи
никому ничего не доказывай
никого ничему не учи
помолчи — ведь всё сказано — классика
это лучше чем собственный бред
погуляй эмигрант хоть полчасика
в старом парке которого нет

АЛЕКСАНДР КАБАНОВ

НЕВИДИМЫЙ ПЛОТНИК

Вязнет колокол, мёрзнет звонарь,
воздух – в красных прожилках янтарь,
подарите мне эту камею
и проденьте цыганскую нить,
я не знаю, по ком мне звонить,
и молчать по тебе не умею.

Пусть на этой камее – живут,
и за стенкой стучит «Ундервуд»,
пусть на ней зацветает картофель
и готовит малиновый гог –
так похожий на женщину Бог,
на любимую женщину в профиль.

Переводить бумагу на деревья и прикусить листву:
синхронной тишины языческая школа –
и чем больней, тем ближе к мастерству
мироточит туннель от дырокола.

Но обездвижен скрепкою щегол,
и к сердцу моему ещё ползет упорно –
похожий на шмеля, обугленный глагол,
из вавилонского сбежавший горна.

В какой словарь отправился халдей,
умеющий тысячекратно
переводить могилы на людей,
и выводить на солнце пятна?

Всевышний курс у неразменных фраз:
он успевал по букве, по слезинке
выхватывать из погребальных ваз
младенцев в крематорском поединке.

И я твой пепел сохранил в горсти
и убаюкал, будто в колыбели,
и сохнут вёсла, чтоб перевести
на коктебельский и о Коктебеле.



Горизонт в заусеницах волн – корабельное древо:
сухогруз, как рубанок, прочтёт его справа налево
и пройдёт по солнцу, едва задевая макушку –
осторожно снимая с неё золотистую стружку.

О невидимый Плотник, на что уповаем в итоге?
Спят фанерные библии, дремлют паркетные боги,
шелест веток в груди, вдохновение дятла под сердцем,
дай мне самые лютые гвозди, чтоб стать иноверцем –

дай иначе поверить в Тебя, избегая повтора...
...чертыхаясь, бредет оцерковленных грузчиков свора,
по колено входя в чёрно-белый поток бересты,
и уносит на спинах элитную мебель – кресты.

Челночники переправляют в клетчатом бауле
Харона через таможенный терминал,
старые боги ушли, а новые боги уснули,
электронные платежи – бездна, а в ней – безнал.

В позе эмбриона с баночкой кока-колы
о чём-то шипящей и тёмно-красной на вкус,
Харон засыпает, и снятся ему оболочки,
киоск обмена валюты (очень выгодный курс!),

школьное сочинение: «Как ты провёл Лету?»,
берег, плывущий навстречу, в жимолости и хандре,
первая женщина – Индра, а последняя – Света
с татуировкой ангела на бедре.

Она оставила визитку с телефонами этих
самых челночников, жителей Чебоксар.
Марк Аврелий был прав: смерть – сетевой маркетинг,
а любовь – чёрно-белый пиар.

Баул открывается радостным: «Прилетели!»
Харон успевает подумать, как же ему повезло,
он ещё не видит пустыню, по которой идти недели,
и бедуина, который выкапывает весло.

Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси:
вот картошечка в масле и селёdochка иваси,
монастырский, слегка обветренный, балычок,
вот и водочка в рюмочке, чтоб за здоровье – чок.

Чудеса должны быть съедобны, а жизнь – пучком,
иногда – со слезой, иногда – с чесночком, лучком,
лишь в солдатском звякает котелке –
мимолетная пуля, настоящая на молоке.

Свежая человечина, рыпаться не моги,
ты отмечена в кулинарной книге Бабы Яги,
но и в кипящем котле не теряй лица,
смерть – сочетание кровушки и салыца.



Нет на свете народа, у которого для еды и питья
столько имён ласкательных припасено,
вечно голодная память выныривает из забвения –
в прошлый век, в 33-й год, в посёлок Емельчино:

выстуженная хата, стол, огрызок свечи,
бабушка гладит внучку: «Милая, не молчи,
закатилось красное солнышко за леса и моря,
сладкая ты моя, вкусная ты моя. . .»

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
Господи, постоянно хочется есть,
хорошо, что прячешься, и поэтому невредим –
ибо, если появишься – мы и Тебя съедем.

МАФУСАИЛ

Гудели оводы и шмели, бродили в яблоках корабли,
а я по-прежнему на мели, ой, намели –
неповторяемые снега, пойду на рынок – куплю врага,
затем добавлю к нему – по вкусу – сырой земли.

Какое счастье в окно смотреть, непроницаемое на треть,
от чистотела – пора ослепнуть и вновь прозреть,
услышать вечные сквозняки, а дальше – бабочки и жуки –
новорожденные старики, прекрасны ведь?

Кукушка по слогам кукует,
как будто библию диктует,
в которой: мама – моет раму
и мертвецы – не имут сраму,
их поголовье сочтено
распоряженьем района.

А здесь, в припадке суеверья,
поскрипывают птичьи перья,
и, в назидание врагам,
нас перепишут по слогам –
так получается народ,
кукуемый наоборот.

Теперь ему нужна прослушка,
скорей – утряска, чем – усушка,
для текста этого – свинчатка,
чтоб не выпендривался шибко.

Люблю тебя, как опечатка –
неисправимую ошибку.

Твёрдый дятел – клнов в алмазной крошке,
что ж ты всем проламываешь бошки?
Видно, ищешь выход в лучший мир,
где сорока, из хрустальной ложки,
предлагает свежий кашемир.



Там, где счастье лишь в синичьих лапках,
там туземцы ходят в красных шляпках,
там, где в клюве и под языком —
все слова — с вишнёвым мягким знаком.

Это место необычное...
ты в моей отроешь голове,
ничего, что в ней гуляет ветер,
значит, ему тесно на земле.

А если ты сверчок — пожизненно обязан —
сверкать, как будто молния над вязом,
и соответствовать призванию своему:
быть словом во плоти, быть новоязом,
хитиновым пристанищем в Крыму.

Фанерную в занозах тишину,
из запятой, из украинской комы
горбатым лобзиком выпиливая дни,
ты запиши меня в созвездье насекомых —
в котором будут спать тарковские одни.

С врагами Рериха я в связях не замечен,
на хлипком облачке, на облучке —
бессмертием и счастьем изувечен,
покуда дремлет молния в сверчке.

Блажен фуникулёр, что он — на букву «фу»,
когда над ним горит и плавится магнето,
когда в него, как в тесную строфу —
упрятано душливое лето,
а это: фосфор, ацетон да йод,
и тень сомнения прохлады не даёт.

Так поплавок (с оглядкой на бесценник:
где «лав» — любовь, где «поп» — простой священник,
где «ок» за око — плохо ль, хорошо ль)
подтягивают вверх, чтоб избежать повтора,
чтоб глубину возвысить до упора,
и в жабрах облаков поблёскивает соль.

...Тбилиси — прирождённый рыболов,
во тьму церкви, на звон колоколов
спешат грузины, ожидая клёва,
в конце концов — в начале было Слово,
а не шашлык на длинном шампуре,
и не благая весть о хванчкаре.

Фуникулёр взобрался на галёрку,
и я люблю тебя, фуникулёрку,

ты говоришь, что Лермонтов лежит
на холмах Грузии — пленённый, вечный жид,
на холмах Грузии теперь лежать опасно,
и я киваю головой согласно:
да-да, и по верёвочке бежит...



Над рекой поднимается клеверный луг,
чуть касаясь корнями рыбацких фелюг,
каждый корень, как пламя – из сопла,
и вращает глазами, восторг и испуг...
выражая, копчёная вобла.

Всех жуков – не собрал, всех стрекоз – не словил,
а теперь, возгораясь, гудит хлорофилл,
а теперь каждый клевер – пропеллер,
и рванув изо всех ботанических сил,
старый друг улетает на север.

Потому что на севере – свой Голливуд,
там в моржовых бикини грустит алеут –
декабристов далёкий потомок,
там весною считает олени стада,
замурованный в кубе таймырского льда –
золотой мамонтёнок.

Ну а вместо тебя, через год и вообще?
Поначалу – пустырь на крови и моче,
а затем корпорация «Sever»,
ресторан, казино, дискотечная гать,
до утра будут пьяные девки скакать,
я их раньше – укладывал в клевер.

И когда меня подхватил бесконечный поток племён,
насадил на копья поверх боевых знамён:
«Вот теперь тебе – далеко видать, хорошо слышать,
будешь волком выть да от крови не просыхать,
а придёт пора подыхать, на осипшем ветру уснуть,
ты запомни обратный путь...»

И когда я узрел череду пророков и легион святых,
как сплавляют идолов по Днепру и мерцают их
годовые кольца, как будто нимбы, за веком – век:
только истина убивает, а правда – плодит калек,
только истина неумолима и подобна общей беде,
до сих пор живём и плавимся в Золотой Орде.

Ты упрячь меня в самый дальний и пыльный Google,
этот стих, как чайник, поставь закипать на уголь,
чтобы он свистел от любви до боли, и тьмы щепоть –
мельхиоровой ложечкой размешал Господь.
И тогда я признаюсь тебе на скифском, через моря:
высшей пробы твои засосы, любовь моя.

Оттремели русские глаголы,
стихли украинские дожди,
лужи в этикетках кока-колы,
перебрался в Минск Салман Рушди.

Мы опять в осаде и опале
на краю одной шестой земли,
там, где мы самих себя спасали,
вешали, расстреливали, жгли.



И с похмелья каялись устало,
уходили в землю про запас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.

Потому что хамское, блатное –
оказалось ближе и родней,
потому что мы совсем другое
называли Родиной своей.

Отечество, усни, детей своих не трогай
ни плавником, ни ласковой острогой,
ни косточкой серебряной в «стволе»...
Славяне – очарованная раса,
ворочается пушечное мясо
в пельменях на обеденном столе.

А я – любовью сам себя итожу,
ты – в переплётёте, сбрасываешь кожу,
как сбрасывают ветхое враньё
в считалке вслед за королём и принцем,
так бьют богов, так пробуют мизинцем –
отравленное зеркало моё.

Трёхцветная юла накручивает мили,
вот белый с голубым друг друга полюбили,
вот красный оросил постельное бельё...
И ты рисуешь профиль самурая,
от нежности и от стыда сгорая,
отравленное зеркало моё.

Как церковно-славянская книжица
заповедная роща теперь:
от мороза поёжилась ижица,
в буреломе ощерился ерь.

Борода неотросшая колется,
и лесник, к снегопаду успев,
водит пальцем по снегу и молится,
и читает следы нараспев.

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

CALLING

CALLING

Я привыкла к собакам.

К прохожим случайным.

К отдаленному гулу чужих городов.

Я привыкла к тому,

Что меня не встречают,

Не снимают, целуя, с ночных поездов.

Я привыкла к прорехам джинсового сари,

Будто к скифской руке – безошибочный лук.

Я привыкла, что нет у меня

Импресарио.

Покровителей.

Кормчих.

Защитников.

Слуг.

«Я сама» – это даже бывает прикольно:

Не приходится верить.

Кокетничать.

Лгать.

По славянскому небу

Летит колокольня

И роняет ромашки

В болотную гать.

Вот опять облака

Мне воронами машут,

Обещая приют,

Открывая оплот.

Я букет соберу

Светлооких ромашек

И найду этот лотос

В тумане болот.

И подставит Земля

Черноморские груди

Под Волошинский дождь

В заповедном Крыму.

Я привыкла к богам, понимаешь? –

Не к людям!

И поэтому так удивляюсь всему.

Ты плеча не тяни,

Если намертво влипла:

Так, наверно, архангелы сходят с ума.

А когда позовут меня

Липольц и Липа, –

Ты за мной не ходи:

Там – темно.

Я сама.



МОЕМУ ГОРОДУ

*Шоколадом лечить печаль –
И смеяться в лицо прохожим.
Марина Цветаева*

Я преследовал жизнь, обожая её и кляня,
Но на ваших весах я, как воздух, ни грамма не весил.
А когда я умру, я всего лишь прошу, чтоб меня
Закопали на кладбище в старой еврейской Одессе.

Здесь с имперских высот голубеет плебейская даль:
Закипает причал в карнавале портовых эмоций.
И пускай на «Сальери» изысканный «Пале-Рояль»
Заменяли, – но Городу всё-таки грезится Моцарт.

Эти дворники...
Это бельё от окна до окна.
Эти бабушки Духа в нетленных своих коммуналках...
Я влюблялся во многих, кто был лишь подобием сна:
Я умею теперь просыпаться, чтоб было не жалко.

Здесь не надо: умнеть, медитировать, мерить, рубить.
Здесь не надо: автобусов ждать на ветру и морозе.
Здесь запрос – на такси,
Где на заднем сиденье любить –
Это норма, как нормой считается торг на Привозе.

Пусть летят мои годы-уроды в загробную глушь,
Пусть в финале пути не меня ожидает барака...
Если правы вы, йоги, что есть воплощение душ, –
Я хотел бы очнуться бездомной приморской собакой.

Чтобы с мёртвым Поэтом с вокзала встречать поезда
И сидеть в погребках, дегустируя винные яства.
И пока Ланжерону последняя светит звезда,
Спи спокойно, Одесса.
Не верь им.
Я буду смеяться.

ПОВЕСТЬ ПРО ЛЕТОВА И БРОДСКОГО

Столица упрямо пряталась в хрущовки свои уродские
И стаи вороньей нежности гнала по дворам вокруг;
Мы тоже крутили Летова, мы тоже читали Бродского:
Хотелось сказать столь многое,
Столь многое, милый друг!

И небо – как души, серое, – ташилось за нами следом и
Навязчиво оглашало о грядущей за ним зиме...
Мы снова читали Бродского, мы снова крутили Летова:
Ведь каждый из нас – Егорушка с Иосифом на уме.

А знаешь ли, всё прощается: стихи и грехи для галочки,
И галки по закоулкам, где чекушка равна нулю;
И эти смешные проводы, и эти в колёсах палочки;
И даже тот факт, что я тебя сильнее, чем ты, люблю.

Ты в прошлом был красным воином, а я – инфантильным юнкером,
И, может быть, мы в гражданскую вопили друг другу: «Пли!»
Теперь я сижу в реальности, в контакте с ночным компьютером, –
И плед без тебя мерещится участком сырой земли.



Окно тарыхит на форточке, как пальцы на дверцах поезда,
И вечным Христовым отчимом летит эмигрант на юг:
Ромео с Джульеттой – вымысел: действительны – только повести,
И больше сказать им нечего...
Всё сказано, милый друг.

ПЕСЕНКА

*Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!*

Марина Цветаева

Дом твой – праведен, топ аті,
Но тебе ведь известно, да? –
Сколько волка ты ни корми,
Смотрит, знаешь подлец куда.

У поэта судьба – вокзал:
Въезд да выезд без вех и виз.
Джим на лапу мне счастья дал
(Джим меня же потом загрыз).

А на небушке – восемь звёзд.
Десять туч – и одно окно...
Отпусти меня в полный рост
Босиком на морское дно!

За дождями придут снега,
И начну я, пугая мглу,
У семейного очага
Тварью загнанной выть в углу.

Не найти на меня креста.
Не найти на меня кнута.
Что ни полное – пустота.
Что ни полое – полнота.

Спины стада желают вожж.
Рёбра стаи желают бить.
Мой любимый индийский вождь
Промахнулся...
И был убит.

Толку, значит, скрипеть дверьми,
Трясь об кошку, чей хвост облез?

Отпусти меня, топ аті,
В мой последний Норвежский лес!

ПОДРАЖАНИЕ ПОСТМОДЕРНУ

В эпоху, когда самым крупным любовным подвигом
Считается «лайк»,
А на вопрос об Истине Бытия мне отвечают:

– Что-то не так, –

Вы знаете, очень хочется
Язык Пушкина сменить на собачий лай,



Прекратить сочинять стихи
И, тем более,
Выкладывать их в «контакт».
В эпоху средневековой иллюзии хуторянства
И виртуальной мании всемогущества,
Когда «ава» (с подтекстом «Ave»)
Заменяет щеку живую, —
Я с удовольствием распродала бы свое имущество
И уехала б во все города сразу, —
Просто, чтоб доказать, что они существуют.
В эпоху «anything goes», «интертекстов», «симуляции» и т.п.,
Когда, по мнению Бодрийяра, «всякое зло — отбелено»,
Единственное, что осталось, —
Это сидеть с проводницей в её купе,
Пить водку, ругать «козлов» и слушать Арбенину.
В эпоху, когда ни то что Бакст или Босх,
Неподвластные ходу времени, —
Даже Ты не способен управиться с кистью,
Предпочитая киснуть...

Какая-то козочка верит, что она — Бог,

И ее сакральное: «Kiss me» —

Звучит, как Слово перед Творением.

АНАСТАСИЯ САЛМИНА

РАКЕТОЙ «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»

ПРЕДОСЕННЕЕ

Солнце восходит-заходит – всё по расписанию.
Мир педантично склоняется в сторону осени.
Почва подножная кажется снова весами мне,
Я наступаю – пылинки летят. «До» ли, «после» ли,
Всё начиналось не здесь, так не здесь и закончится.
Руки сжимают не меч, а соломинку разве что.
Сердце – игрушка, что служит подушкой-игольницей,
Хоть и безжизненным камешком с виду покажется.
День протекает лениво в режим угасания,
Взгляд утопает в графитово-серой бесцветице.

Солнце восходит-заходит – всё по расписанию,
Только Земля неустанно, в стараниях, вертится.

ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗ СЕТИ

Четвертая неделя без сети.
Проём окна и чёртов томик Бродского.
Безвыходна Земля. Как ни крути.
Уйти бы в лес. Питаться бы отбросами,

Но есть привычка, что куда сильней
Желания сбежать из муравейника
И самой бесполезной из затей –
Бросаться из затворников в отшельники.

А жизнь вокруг – безумною рекой,
То рвётся в центр, то атакует флангами,
А мне бы только ангельский покой,
Но, видит Бог, я не хочу быть ангелом!

Я человек. Всего лишь человек,
Что так страдает от нехватки честности. . .

Продавши душу, сохраните чек –
Когда-нибудь вернут по бесполезности.

ЕСТЕНИЯ

Дай мне более сна, но менее
Чем могла бы мне дать бессонница.
Мне мозги наизнанку выверни,
Забирай всё, что там найдёшь.



Дай константы и переменные,
Эти скобки пускай раскроются,
Сбрось в нейтрал моих мыслей триммеры,
Чтоб опять не бросало в дрожь.

Дай мне силы идти с номадами
По пустыне кровавой Марса и
Дай пожить ещё не простуженной,
Где живу и старею – здесь.

Ну, а впрочем, оставь: не надо мне
Ни прозрения, ни катарсиса,
Только хлеба, прошу, засушного,
Даждь нам днесь.

СКРИПКА И МОРЕ

Смотрите, как кровь моя брызжет по стенам,
Как вся глубь души из аорты-колодца
Врывается в мир, что как был чёрно-белым,
Монохромно-безрадостным и остаётся.

Смотрите, как я – ничего не меняю,
Смотрите, как просто – погибнуть бездарно,
Затем, чтобы всё – всполошить и... растаять,
Нулём оставаясь в итоге суммарном.

Не будут писать, что жива – на заборе,
Не будут слова мои вечно нетленны...
И только плейлист мой, где скрипка – как море,
И море – как скрипка,
в эфире Вселенной.

ИДЁМ

Прижгите раны – пусть не метастазятся,
И кружевом бинтов расшейте платыца.
Стоять, пожалуй, не шагая, можно, но
Стегает плетью спину ветер прошлого.

Закройте рты – цените информацию,
И что-то из молчания забаваем.
Мир онемел. Мне точку бы, опорную!
Есть только миг, и тот – минута скорбная.

Ну а над нами, что навечно скованы –
Раскинув руки небом четвертованным,
Огромным окровавленным распятием
Зовёт нас вечность в хладные объятия.

СУБЪЕКТИВ

Нельзя сбежать от серых дней
В пустые будни.
Не сделать чёрное темней,
И светлым – трудно.

Мир – абсолютный и простой,
Под разным взглядом
Наполнен разной пустотой
И разным стадом.



Твоя оценка – субъектив,
И суть оценки –
Стереотипов объектив
И знаний пенка.

Как, в потолке весь смысл найдя,
Не видеть неба?
Нельзя вернуться, не уйдя,
Туда, где не был.

ПИЛОТ

Ни колокол не бьёт здесь, ни набат,
Меня не провожают и не кличут...

Пегас был не оперен, но крылат,
Пусть бледен, но аэродинамичен.
Минуя кольца жизненных кругов,
Взлетал он выше тропосферной грани,
А где-то там молились за него
Конструктор-Бог и ангельский механик.
Внизу остались будни, грязный быт,
Пегас летел величественно-грозно...
Но был он словом брошенным подбит,
Прицельно, как ракетой «воздух-воздух».
Когда же сей крушился самолёт,
Когда я поняла, что так и надо,
Забьли мне сказать, что я...
Пилот.
И что теперь не попаду в глиссаду.

А я смотрю на кривизну полос,
А надо мною – паутиной – стропы...
Попали в сердце. В мой гидронасос.

Вся жизнь – неконтролируемый штопор...

Тетрадь закрыта. Нет пути назад.
Обломки – мусор. Значит, их не склеить.
Ни колокол не бьёт здесь, ни набат,
Лишь чёрный ящик жжёт, тихонько тлея...

МУХА

Я билась в твоё стекло,
Я ела твои объедки,
Ты бегал за мной с газетой,
С экрана стогнял рукой.
Но, будто тебе назло,
Смотрели мои фасетки
И видели что-то где-то
В душе твоей – глубоко.

Хоть ты для меня и нем,
Я знаю – тобою пахнет.
Мир – малым квартирным раем,
Где я лишь и ты один.
Но мне объясни, зачем
исчадия злой Арахны
Убить меня так желают,
Оставив пустой хитин?



Я билась в твоё окно.
Я ела твои объедки.
Смотри – за окном рдеют
Тяжёлые тучи лжи.
Мне вечно здесь жить бы, но
Узнали мои фасетки:
Есть хищные орхидеи
В глубинах твоей души.

БЕЗ МЫСЛЕЙ?

Бесхозные мысли
всё так же бомжуют
На свалках
для не-
воплощённых идей.
Наполнить их смыслом?
Нет смысла, скажу я.
На кальке –
волне
серой массы людей.
Без мыслей, а значит,
сомненья. По лужам,
По коже,
по грязи,
по серому льду
Пойду и поплачу
психологу лучше,
Чем позже,
смеясь,
к психиатру пойду.
Бесхозные мысли
в отбросах теорий,
Гипотез
и без-
доказательных слов...
Наполнить их смыслом?
Ну, разве от горя,
Среди идиотов,
повес,
дураков...

МАРИЯ ЛУЦЕНКО

ТОТ, КТО СДЕЛАЕТ ВДОХ

РУЧЕЙ

*Исповедь Лыбеди,
некогда крупной судоходной Киевской реки*

Я вскоре стану, как ручей –
прозрачной, чистой и ничьей
послушницей-женой.
В речном раю плохая связь,
и ты родство утратишь, князь,
с единственной княжной.

Как заживём?
Как знать, как знать:
ни приручить, ни в дом позвать,
ни выгнать за порог...
Понятней станет пескарям
и старым, ржавым якорям
чудной мой говорок.

И ты – теперь ни сват, ни брат, –
сестре родной не будешь рад,
я стану лишним ртом,
отправлюсь жить, себя стыдясь,
в подземный терем, светлый князь,
и видеть сны о том,

как, собирая в пятерню
ручьев журчащую родню,
бетон тугой прорву,
пройду сквозь острый окрик твой,
сквозь арматуры неживой
железную траву,

в речную русую косу
вплетая память, понесусь, –
Не следуй по пятам! –
под белыми корнями пней
из царства призрачных теней
к дельфинам и китам.

Ты взял в оковы ржавых труб
мои запястья, милый друг,
я – узник твой и раб.
Мне слышится Почайны хрип,
но снятся стайки пёстрых рыб
и яркий, красный краб,



в прожилках мраморных – волна.
Мне сумрачную явь от сна
не отделить: в глазах
хватило бы немой слезы,
и на беззвучный мой призыв
придёт с полей гроза,

взметнётся в небо хлесткий кнут,
и нас ни в чём не упрекнут
разбитые шоссе!
Я створки окон распахну,
галеты хрупких крыш макну
в холодное глянсе

и зашвырну браслет моста
в такие дальние места,
где не бывал и Тит!
Пойдёт ко дну ненужный хлам,
и горечь с горем пополам
пучина поглотит.

Ты полагаешь, это месть?
Но что для рек – благая весть,
для города – беда!
И в ней не помнится порой,
что преданной тебе сестрой
слыла моя вода.

Я ПОМНЮ

*«...Много горя, много горя, горе без конца...»
Анна Ахматова*

Я помню хорошо твоё лицо,
мой дом, где мы не очень уживались,
как маленькие платя ушивались,
и ты копил на первое кольцо.

Мы ходили на карандаши,
лежащие бок о бок в тесной пачке.
За дом с прудом, и за крутые тачки
не отдали бы «зелени» души.

Я помню всё: как ты раскрытый спал,
разгул твоих ночных бескрылых оргий,
пускай хранит тебя святой Георгий
от памяти, которая, как спам

летит и забивает до краёв
не вычищенный ящик мой почтовый.
Так хочется на миг забыть, чтобы
приречный наш, раёшный наш район

вернул никем не вскрытое письмо,
нас, любящих, в полуторном конверте.
Я помню всё. Так звёзды после смерти
горят и ждуг, авось пройдёт само.

СЕКРЕТ

Старый пруд в Конче-Заспе октябрьским солнцем согрет.
(Есть ещё тайники, где хранятся такие пруды)
Бог сидел на земле и придумал, как делать секрет
из ракушек, и тины, и тихой стоячей воды.



Он, возможно, хотел закадычных друзей удивить,
(демиургов соседских, с которыми был он знаком),
и припрятал в траве, чтоб никто не посмел раздавить
это хрупкое чудо природы своим каблуком.

Мне бы руки Его, и талант, и большие луга,
я бы сделала пруд, я бы просто его изрекла...
и оставила там, где не ступит людская нога.
Но в руках моих только фольга
и осколок стекла.

СЛОВО

Ещё архангелы из ваты
божественной не льют неон,
и прошлый век, подслеповатый,
как дряхлый старец Симеон,
живёт и ждёт, и смотрит странно,
не спит ночами напролёт,
и знают Йосиф мой, и Анна,
что тает лёд.

И тает лёд.
И снится, снится
мне поднебесный чей-то крест,
и сна залётная синица
садится в руку, благовест
звенит, как боли отголосок,
у колыбели дремлет мать.
Придут ли к ней, простоволосой,
мир отнимать?

Когда-нибудь...
Пока не буду
прикармливать тоску в груди.
Спасение принесши люду,
предтечу не опереди!
Пусть ангелы проходят мимо,
проносят трубы без сурдин,
ещё никем ты не раним
и не судим.

Ты – семя.
Пусть не рвутся в сени
волхвы, и все повремят.
Твой ослик полежит на сене,
пока внутри ты у меня,
пока я, грешная, земная,
храню во чреве пустоты
зародыш, запятую, зная,
что будешь Ты.

ОДЕССКОЕ

Р.С.

У качелей одно на уме, хоть скрипят о высоком.
Только сядешь, и вмиг рассекретят тебя облака.
Улыбается память, и бурым измазавшись соком,
обдирает о камни орехам зелёным бока.

Здесь впадает река моя в крайности, в райности, в детство,
оставляя пороги, сливается с новой водой.
В этот город впадая, так хочется сразу раздеться,
скинуть сумки, набитые мятой, лежалой бедой,



и по первому, самому древнему зову природы
стать по косточки в море, русалочью верность храня,
и входить так же тихо и нежно в солёные воды,
как однажды входил ты за тайнами жизни в меня.

ПРЯТКИ

Сыну

Нет краше любопытных детских глаз,
глядящих из укрытия украдкой
в огромный сад, который каждый раз
мы познаём с тобой, играя в прятки.

Причудлива старинная игра,
ей на руку сарая запустенье,
двор мира превратился в мир двора:
стрекозы, козы, заросли и тени.

По сути, жизнь – пустяк и ерунда,
но ощущаю в ней себя счастливой,
когда под вечер крошечка-звезда
то выльнет, то спрячется за сливой.

НЕ ОТКРЫВАЙ

Жене Бильченко, поэту, коллеге, другу

Не открывай.
Не открывай мне глаза пока.
Видишь, лодочка в рукаве реки застыла, как запонка?
Видишь ястреба на ветру колючем, северо-западном?
Видишь в заводях памяти ирисы с неслышным запахом?

Не открывай.
Спрячь под ладонью глаза мои.
Видишь дни мои, ситцевые, синие, просторные самые?
Взять бы их все сразу, напялить и выносить заново,
выветрить их ветром, в закатное бросить зарево!

Не открывай.
Спой лучше мне баю-баюшки
про трамвай, через весь зимний город ползущий к бабушке.
Видишь, в нём у окна на сиденье – малышка-Марьюшка
ест бутерброды, спит и теряет варежки.

Не открывай.
Не открывай мне глаза пока.
Видишь, в кухоньке на белых тарелках остатки завтрака?
Видишь сына? – Одеваю, веду его в школу за руку,
видишь – вон он в тетрадке в косую рисует зайнку.

Не открывай,
не открывай мне глаза ещё.
Мне не хочется снова видеть войну и её пожарища.
Видишь, дед в гимнастёрке, и к зеркалу правнук прижал уста.
Не открывай мне на это глаза, пожалуйста.

Не открывай.
Это может быть лучшим выходом.
Тот, кто делает вдох, пусть моим насладится выдохом.
Видишь эти хоромы с охраной, с колоннами, с арками?
Не лучше ли бегать над парками со старыми санками?



Не открывай.
Не открывай мне глаза уже.
Видишь, щёлочка в мир иной – нас разве оттянешь за уши?!
Лучше рядом ляг, ляг рядом со мной, и будем как залежи
драгоценных металлов, покрепче руками глаза держи!

Видишь – тот, кто любил тебя, сходит со сцены в сумерки.
Видишь тех, кто не знал тебя, тех, что давным-давно умерли,
а после воскресли, и плача не слышно сиротского.
Видишь Бродского на простынях, не из камня, Бродского

в телогрейке казённой, в далёкой забитой Норенской,
видишь, там, на полях моей книжицы первой, новенькой
чьи-то каракули, эльфы, принцессы, гномики,
чьи-то корявые, новые крестики-нолики,

нолики...

крестики...

Кресты над пустыми могилами.

Ничего, что вчера, и сегодня, и завтра погибли мы!

Вон она, наша вечность, за кадром, летит за крышами,
за земным закатом, и держит глаза закрытыми.

АННА ГРУВЕР

КРОТ ГОВОРIT «ТРИ»

АХИЛЛЕСОВА ДЕВОЧКА

Его сердце приковано кентервильской цепью – порт
верен ему. Взгляд его – сталь. Взгляд его пристален.
Трубач баюкает футляр на пристани, а он – насвистывает.
Его грубые губы обветрены. Он – отчалил, отчаялся, но пока фьорд
любит его, он уверен, упрям, упёрт.

Горе било его под дых, горе целилось в солнечное сплетенье,
укрывали горы от грома, горы ночью скалились тиграми.
Игры с кинжалами остаются беззвучными играми, тихими играми.
Ахиллесова девочка, точка возврата, не ходи за ним тенью,
белой немой ускользающей тенью –

помни – солнце уходит вечером и забирает тени с собой.
Ахиллесова девочка, развяжи его сети и возвращайся к нему –
танцуй для него на песке underavioletoomoon.
Слушай дыхание ветра и зверя. Слушай морской прибой,
заплети в волосах венки – пламя и зверобой.

Трогай раны его языком, ахиллесова девочка, девочка-медь.
Расширай зрачки его, не диктуй правил, не ставь границ,
уведи его из забытых снов, укради из пыльной клетки страниц.
Девочка-медь, люби его. Люби его, девочка-плеть,
он выпьет тебя до дна, не бойся дотла сгореть.

*Только – не подавай виду,
что любишь её...*

РАС-КАЯ-НИЕ ГУМБЕРТА

(виновен)

1.

God, save the Queen!

*Моё сердце – грот, пустой и гулкий, доставшийся мне в наследство.
Я единственный принц её! – избалованный, глупый, брошенный.
«Он подкидывш. Дурная кровь! Вот его зеркальное королевство.
Вот его чёрная рать, вот его конница – деревянные лошади».*

... Я отпускал тебя каждую зиму. Я не чувствовал рук от ожогов льда,
не осталось ни неба, ни расколотой на материке земли,
я распахивал настежь окна, я просил: ну же, милая, заходи, беда,
заходи и целуй, беда, и с капризной гримаской с ног вали.



отвяжи мои лодки
пристрели собак
и сожги письма, сожги корабли

«... Мой заплаканный Кай,
вот проклятье твоё, вот твои коньки. Не ищи меня, Кай,
полюби волков, берегись людей, не показывай шрам, оставайся один,
не ходи к мосту, в воду чёрную не гляди, и беги, беги, как наступит май,
мальчик мой, ледяной Пьеро, пылью, дымом дыши, воздух твой – кокаин,

я люблю тебя, маленький мим
стань немым
будь невидим и невредим...»

Я любил ружьё, как не любят женщин. Я старел и прятался в книги
и в чёрный лес, умолял об амнистии.
И всегда возвращался назад –
сосчитал все звёзды сквозь дыры в тающей крыше, слушал крики
воронов, заключённых в преданности тебе, как и я, навеки, над

моей головой
над умершим домом
чертивших квадрат

2.

– *Mein lieber, она ведь?.*
– *Она непременно состарится раньше.*
Знай: голос хриплый, глаза прищурены, смех грубый,
и в чёрных кудрях красная лента, привкус фальши
и дешёвого вина. Ночью придёт к тебе и вопьётся в губы.

когда достанет нож
перехвати руку
ребенок мой глупый

И чем больше зим оставалось за спиной моей,
тем острее я ждал –
острия ножа, взгляда зверя израненного, яда улыбки кривой.
Я носил в одном кармане пальто часы, а в другом – кинжал,
я кричал: заходи, беда, я готов, беда, я всецело твой!

я смотрел на луну
и слышал ночами смех
слышал ночами вой

Я менял имена, города, и в одном из них я забыл и гордость свою, и сон.
Я снимал квартиры в домах живых, покосившихся грязных домах.
Запирал все засовы и все замки, но меня всё толкало вон,
всё гнало меня прочь, по пятам за мной чёрной тенью метался страх,

затаившийся пауком
в каждой комнате
в тёмных углах

3.

... я устал и изношен, разбит, развинчен и сломан. Верю ли я! (верю?..)
Я впервые заметил, как следит она из окна, когда перехожу дорогу.
Как приносит мне чай, молча запирая за собой ворчливые двери.
И однажды она спросила меня, глядя в глаза неотрывно и строго:



сегодня воскресенье
Гумберт, а Вы
верите в Бога?

Вот показала язык, а вот в присутствии матери чинно руки сложила.
Эта дочь хозяйки носит мужскую рубашку, которая ей велика.
И сдувает чёлку со лба, и съезжает вниз по перилам.
Она смотрит на меня исподлобья, я отрываюсь от своего дневника:

имя Гумберт похоже на Гулливер
тогда Вы – великан
– так она мне заявила

Вечером я выходил в сад и курил, прислонившись спиной к стене.
Она вешала на бельевую верёвку летние платья, линияльные простыни.
становилась на цыпочки, держала губами прищепку. И мне
было ясно: я слеп, я знал её тысячу лет, в каждой девчонке, просто не...
не видел:

эту тонкую шею,
эти острые локти,
эту гибкую спину
и этот завиток у уха,
который хочется всё время неслышно
трогать.

...Гумберт, верите ли Вы в Бога?..

4.

От камней моих по реке – крути. Я – последний принц – умираю здесь.
Я бежал от крыжков, а попался в сеть, не уехав в май.
Этим утром в кладовке повесилась Герда Гейз.
Здравствуй, Герда. Здравствуй, маленькая моя, здравствуй, Смерть.

Ты спасла меня.
Навсегда твой Кай.

ПАМЯТЬ

Он чихнул от пыли, встряхнув усталость.
И спросил у зеркала «сколько нам осталось».
Приколол булавкой гagespecies старость,
пойманную в сачок.

И сентябрь плевался дождём и злостью,
когда шёл он, разбив на осколки тростью
лужи грязных улиц, когда крыши уносит
и срывается потолок –

и над Гамельном в трубы печные, как в дудку,
крышелов свои сказки прошепчет. «Шутка»
заиграет в шкатулке шута. И которые сутки
ему снится неба клочок,

и в колодце гулко и тесно. В колодце сыро.
Он налил вина, а мышам дал сыра,
на стене календарь, из него год вырос,
просочился сквозь пальцы песок.

Поезда по ночам превращаются в колыбели.
Он провёл рукой по окну, встав с постели.
Память Ло перепутала с Анабель и
у неё истекает срок.



ТИШЕ

Боже, выходил из этих дверей – пьяный. Вернулся – седой.

Это яд мой.

Это боль моя, моя одичавшая, пугливая боль –
на потолке,
в уголке в паутине пугается, как девчонка в чужой фате,
выпавшей из ветхого шкафа, вылетевшей на свет –
выцветшей, как горе, выгоревшей, как моль.

Я не знаю, как это – не слышать ночами вой.

Я не знаю, как это – любить детей.

Так ребёнок заталкивает сломанный шпингалет
под кровать ногой,
так тряпичную куклу теряет в траве
(что щекочет колени, целует небо и пачкает белые шорты)
и считает одной из прочих.

И хохочет,

и хоронит загадки и сны в темнице, в тюрьме –
как афиши заклеивают друг друга на фонарном столбе,
так кружатся влюблённости в его голове –
всё быстрее, и пальцы бегут по клавишам, forte!

И она забывает меня,

пока листает книгу, мучает пианино, отбивает мяч.

Остаётся лишь на себя пенять,
как ребенок заметит пропажу –
услышишь плач.

И прошепчешь:

ну, тише... тише...

РАЗ. ДВА. ТРИ

Выросшая Дюймовочка прыгает на ступеньку ниже.

Ваша Дюймовочка прыгает и говорит: «раз».

Ей дарят болтливых кукол вместо сторевших книжек.

Учат стрелять глазами и парочке пошлых фраз.

«Эй, Дюймовочка! Да не дрожи, подойди поближе,

бей же по струнам, детка! детка, бей ашер-вальс!»

Ей корона крапивы с репейем пристала к стрижке,

ваша Дюймовочка прыгает и говорит: «раз».

... Сквозь паутину трещин – тетрадные клетки плит.

Крестики-нолики через разбитые окна. Всё – слова.

Вишневый lane. Лабиринт самой запутанной street.

Маятником, метрономом раскачивается сова,

хохот звенит ключами: «allyouneedislove, allyouneed».

Стук дырявым зонтом в чердак: «ты там ещё жива?»,

и дом откликается так, что подвал под ногами дрожит.

Ваша Дюймовочка прыгает и говорит: «два»...

А стежки у неё на ладонях – беспутная карта дорог.

А её не зовут. Никак. Ей – нисколько, нисколько! лет.

«До свидания, взрослые». Её платье – дырявый мешок.

И умеет она говорить «спасибо». И умеет: «спасибо, нет».



И вдыхает, зажмурившись, пыль, выдыхается – порошок,
и она разбивает сердца и фарфор, ворует кларнет.
«Дайте мне табуретку, я выучила для вас стишок».
Выбейте из-под ног. У неё петля из атласных лент.

Выросшая Дюймовочка прыгает. Крот выигрывает пари.
Ваша. Ваша Дюймовочка прыгает. Крот говорит: «три».

ВОЛК

Сколько ночей, Волк, ты провёл у её постели, сколько ночей?
Волк, ты заменил не одну добрую сотню сиделок, врачей,
да ты, разрази тебя гром, был заботлив, будто бы моя мать!
До времени поседевшая – она заправляла мою, Волк, кровать,
мерила лихорадку мне, осени и шажочками нашу клетку –
а там, Волк, поверь, ты и шага не ступишь – выпей таблетку,
миленький, маленький, маленький, миленький, что тебе стоит,
Волк, посмотри мне в глаза, Волк: она без тебя не завоюет!

Сколько миль, Волк, ты волок её на своей спине, сколько миль?
Волк, очнись, Волк, у тебя во взгляде – полный штиль и пыль,
рыболовная сетка, узор на скатерти, паутина, Волк, на ресницах,
Волк, ты ещё веришь, что она тебе померещится или приснится?
Я увезу тебя за сотню морей, Волк, там водная гладь да тишь,
Волк, прекрати дрожать, Волк, я не выношу, когда ты дрожишь,
Волк, если ты дрожишь – значит, всё кончено, навсегда, значит...
Волк, ты не изменишь этого, Волк: она без тебя не заплачет!

Сколько писем, Волк, ты написал в пустоту, сколько писем?
Волк, ты знаешь ломаную геометрию с её биссектрисами,
захлёбываешься книгами, но ты, Волк, непроходимый дурак,
если готов согласиться и снова, Волк, погляди, догорает маяк,
Волк, ты ведь был старый грубый моряк, помнишь время, Волк?
Мы выкуривали все печные трубы портовых городов и фолк
звучал из каждой дыры на нашем гордом добрейшем корыте,
Волк, когда ты поймёшь, Волк: она с тобой разрывает нити!

Сто лет одиночества, Волк, сто лет и два с половиной месяца.
Сто лет одиночества, Волк, в тёмной камерке под лестницей.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

КОГДА ДОЖИВЁШЬ рассказ

Евгению Голубовскому

Он вспоминал – сухой цвет софоры шелестит под ногами так же, как сухой цвет акации, катальпы или каштана.

Из вагончика подвесной дороги море в дали синее, как небо. А внизу на пляже – никогда. Чёрное море зелёное, серое, бурое в жару от водорослей. Синее – только из вагончика канатной дороги.

Когда разговариваешь с Лёлей – становится прохладно, словно за щекой ментоловая лепешка. И жалостливо становится, птичку жалко.

С Лёлей лучше не разговаривать, не видеть, как она ёжится, вздрагивает и в глаза не смотрит виноватым взглядом, а смотрит под ноги, и голос тихий.

Почти не слышно, что говорит. Но когда долго не видел, начинал вспоминать – шелестящий осыпавшийся цвет деревьев, синее море Отрады, в котором плавает, покачиваясь, подвесная дорога. Становилось одиноко, рука тянулась к валидолу в нагрудном кармашке.

Лёля. Узкая и зеленоглазая, с мальчишеской стрижкой, с маленькой Лялькой на руках.

Спросил, откуда взялась Лялька, услышал невероятное:

– Родилась.

Когда успела, ведь не виделись всего-то ничего, три дождя и до первой сирени. Постеснялся спросить чья, но Лёля поняла, виновато ответила:

– Только моя.

У Ляльки щёки толстые, ротик рыбий, уголками вниз. Грустная Ляля, копия Лёли, только рыженькая и с кудряшками.

Осторожно потрогал девочку. Замер, прикоснувшись к локтю матери.

Лёля смотрела в упор. Сказала, тревожась и потому громко:

– Никогда.

И он вдруг заохолодел. Попрошались, разошлись.

У Лёли была гордая спина, когда оглянулся. Она не оглянулась. Сидел на бульваре, прикрыв глаза, чтобы не узнавать прохожих. Всё равно услышал:

– Григорий, привет!

Открыл глаза.

Дмитриенко начинался с живота, потом сразу усы и вопрос, как там с тиражом.

Махнул рукой, лень было разговаривать. Дмитриенко понял, ушёл без ответа.

С моря тянуло йодом.

Очнулся возле филармонии – о чём думаю? Думал о рыженькой рыбке Ляльке. Повернул вправо, к «Детскому миру». Вспомнил, когда Лёля просыпается, сначала просыпается рот, улыбкой. Потом узкие глаза взглядывают и убегают. Потом она говорит:

– Опоздала.

И только потом:

– Привет.

– Куда? – спрашивал Григорий.

– Что куда?

– Опоздала куда?

– А, – отвечала, – это я так, по привычке.

У них ничего общего не было, кроме просыпания. Засыпали молча, а то, что предшествовало засыпанию, было настолько негармонично, что вообще не ясно, было ли.

Выходит, один раз получилось гармонично.

Григорий купил куклу. И маленькие ботинки, курносенькие. Стал вспоминать про гармонию и не вспомнил.

Когда оказался у Лёли с Лялькой, увидел: за столом сидел седой, похожий на него, Григория, только старше лет на сорок. Ну, двадцать. В таком возрасте не понятно, двадцать, сорок... Старик сидел.



Рассказывал его, Григория, историю. О том, как в горах перевернулись и уцелели, побились только слегка. Потом ещё что-то из жизни его, Григория, как из своей собственной.

Григорий возмущился. Попытался вступить за свою жизнь, и замер, разглядывая старика. Что-то было не то. Не так.

Лёля руку на затылок старику положила, а ощущал её руку он, Григорий. Старикпил водку. Пьянел Григорий.

Григорий себе тоже налил.

Утром, когда завтракал, смотрел на пустое место за столом, и Лёля сказала:

– Тебе показалось.

– Что показалось?

– Всё, – строго сказала Лёля.

Заплакала Лялька. Лёля вышла. Вошел старик, налил себе кипяточку. Удивлённо посмотрел на Григория:

– Ещё здесь?

Григорий тоже удивился. На старике были его, Григория, пиджачок, и синий галстук такой же, в клеточку.

Григорий решительно поднялся, но старик предупреждающе выставил ладонь:

– Ты, – сказал он, – ты расслабься. Ты не пытайся понять. Доживёшь – вспомнишь. – И ещё сказал что-то, чего Григорий осознать не сумел.

И вот прошло время.

Лялька пошла в школу. Григорий слёг с инфарктом. Страха у Григория не было. Потому что пиджак и синий галстук в клеточку всё ещё висели в шкафу. Потому что он помнил, как старик говорит:

– Доживёшь – вспомнишь, а сейчас расслабься.

Григорий расслабился, понимая, что всё ещё не дожил. Когда пришла Лёля, спросил:

– Ты про старика скажешь?

Лёля не удивилась.

– А что говорить, что надо сказать тебе?

– Не понимаешь, – сказал Григорий, – ну скажи, как его имя?

– Ох, – сказала Лёля, – глупо как. Зачем тебе быть глупым? То, как ты знаешь, правильно.

– Хорошо, – сказал Григорий, – давай распишемся, наконец.

– На какой конец? – хмыкнула Лёля, – Давай супчик похлебай.

– Я не увижу его больше?

– Хорошо, – сказала Лёля, – я передам.

Старик пришел за полночь. Сел на Лёлин стул, ссутулился. Был он в белой рубахе, а ниже в чём – Григорий не видел. Такой же рубахе, бязевой, что на Григории. Молчал, потом сказал:

– Ты ведь не боишься. Чего хочешь?

Григорий не ответил. Старик сказал примирительно:

– Не суетись, не время.

Григорий замер. Без голоса сказал:

– Время придёт, подсучусь?

– Нет, – ответил старик, – посуетишься.

Утром Григорий доктора оповестил, что всё, пора «по коням». Доктор согласно кивнул головой.

Через неделю Григорий с Лялькой и Лёлей спускался в Отраду на подвесной дороге, под вагончиком топырились листья и свечки каштанов. Море синело вдали внизу, сливаясь с небом, ветер тянул солёной горечью. Лялька вдруг сказала:

– Он умер только что. Дожил до ста.

– Девять дней не дожил до ста, – замирая, сказал Григорий.

Лёля положила руку на локоть Григория:

– Согласна.

– С чем? – спросила Ляля.

– С ним, – ответила Лёля, – я решила сделать подарок папе в день рождения, выйти замуж. Ты как, одобрям?

– Одобрям, – ответила Ляля матери, – я одобрям.

– А ты? – И она уставилась на Григория узкими зелёными Лёлиными глазами.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

ЛИЦО НЕКРАСИВОГО ПАРОВОЗИКА

мини-повесть

1. РАССВЕТ

Вдоль линии моря, сначала параллельно Приморскому бульвару, а затем, искривившись, словно турецкий ятаган, протянулась маленькая улочка – Воронцовский переулок. Знаменит он был тем, что в отличие от остальных улиц Одессы, вдоль его тротуаров не росли деревья, и тем, что один дом, если на него посмотреть слева, казалось, состоял только из одной стены. За этой стеной непостижимым образом жили люди, горел свет, виднелись какие-то шкафы, откуда постояльцы квартиры доставали одежду, всё это было видно с улицы, но стоило пройти несколько шагов и снова возникало ощущение ирреальности – дом состоял из одной стены!

Одесситы возили туда гостей города, демонстрировали загадку и с затаённым чувством превосходства спрашивали. – Ну что, у вас-то такого небось, нету?!

Такого не было ни у кого.

Дом одесситы так и называли «дом-одна-стена». На самом деле боковая стена дома просто резко уходила направо под острым углом, что и создавало такой эффект, если смотреть на здание с определённой точки, но всё равно, гордиться было чем. А главное, загадка одной стены придавала всему крохотному переулку налёт странного волшебства, какое возникает в Новогоднюю ночь, но здесь ощущение чуда не покидало прохожих круглый год.

Где-то посередине переулка притаился магазин игрушек. Это было тоже странным. Других магазинов на этой улочке не было. Наверное, здесь больше пришёлся бы магазин хлеба и других насущных продуктов, но по какой-то чиновничьей прихоти, единственной лавкой во всём Воронцовском переулке оказался этот магазин. Ещё одна странность – в нём вместо девушки, что было бы привычно увидеть в таком месте, работал худой высокий продавец средних лет. В общем, сплошная мистика. А вот в чём мистики не было, так это в самых обычных наборах игрушек тех лет: куклы с волосами из белой пакли, пластмассовые лошадки, плюшевые мишки и зайцы, металлическая курочка, которую надо было завести ключом, и она прыгала по столу на железных лапках и клевала воображаемые зёрнышки.

– Инна, иди сюда, одеваться будем, – позвала дочку мама.

Девочка подбежала к ней. Со вчерашнего вечера она ждала этой прогулки с папой. Обычно она ходила гулять с бабушкой в ближайший сквер. Бабушка отвечала на её вопросы, рассказывала всякие истории, сажала Инну к себе на колени, подбрасывала кверху и пела: «Трынды, брынды, коржи з маком...». С бабушкой было привычно и уютно. Но слишком обыкновенно. Папа – другое дело. Прогулка с ним выходила за рамки обычного дня. Это было редко, но зато с папой они уходили далеко от дома, бродили по любимой Одессе, им обязательно встречался какой-то дядя, папин знакомый, которых у него было множество, они разговаривали о своих взрослых делах, а Инна любила взрослые разговоры больше, чем сугубо детские разговоры с ней. Она была развита не по годам и жадно впитывала информацию об окружающем мире. Она даже раздражалась, когда папины знакомые с Большого Фонтана приводили с собой дочку Марину, тех же лет, что Инна, потому что родители заставляли её развлекать гостей, а Инне было с ней безумно скучно, и она с нетерпением ждала, когда гости уйдут, и можно будет снова погрузиться в свои собственные мысли пятилетнего человека.

На этот раз они встретили дядю Семёна, старшего папиного брата. Взрослые принялись обсуждать свои семейные проблемы, отношения с жёнами. Для Инны не было пиши в их разговорах, и она принялась обдумывать свои планы. На её детском столике у белой кафельной стены бывшей печки-грубы остались книжка-раскраска и коробка пластилина. Вечером можно будет заняться то ли одним, то ли другим. Из пластилина хорошо бы вылепить посуду для куклы Сони. Мисочки, кастрюльки, это нетрудно. Или закончить раскраску книжки, там осталось всего две страницы.



Маленькая группа из трёх человек, не спеша двигалась вдоль Воронцовского переулка, с удовольствием вдыхая влажный тёплый воздух, набегавший с моря.

Дядя Семён повернул голову влево и заметил невесть как оказавшийся в этом месте магазин игрушек.

– Смотри, Глеб, – удивлённо сказал он. – А я его здесь никогда не замечал.

Из любопытства группа шагнула внутрь. В лавке было полутемно, потому что из трёх рожков-плафонов люстры горел только один. Позади прилавка и вдоль боковых стен располагались полки с игрушками. Картонные коробки стояли друг на друге, железные автомобили теснились вперемешку с подъёмными кранами. Отдельное место занимали пистолеты, пластмассовые сабельки и шпаги. Целые полки кукол в нарядных платьях с кружевами, с блестящими закрывающимися глазами и кукол попроще, у которых глаза были просто нарисованы, а платья из грубой ткани топорщились, открывая бледно-розовые негнувшиеся ноги.

– Давай что-то купим ребёнку, – сказал дядя Семён.

Братья принялись выбирать подарок. Одному нравилось одно, другому иное, продавец суетился, выкладывая на прилавок различные игрушки, которые считал предназначенными сутубо для девочек. Видимо, покупатели забредали сюда нечасто.

Отец выбрал большую куклу с белыми волосами. Глаза у неё не закрывались, но она была высока ростом, и даже в сидячем положении производила впечатление настоящего ребёнка. На коробке было написано «Кукла Анжела». Дяде больше нравился целлулоидный голыш с набором одёжек и миниатюрной коляской впридачу. Мужчины заспорили, каждый аргументировал свой выбор лучшим знанием детской психологии. Спросить мнения самого ребенка никому не приходило в голову.

Продавец решил покончить со спорами и вытащил коробку с маленькими пуговичками, вернее гвоздиками разного цвета, которые втыкались в картонную подложку, образуя различные рисунки.

– Вот, это совершенно новая игра, мозаика. Только поступила. Очень развивает цветоощущение и пространственное видение.

Сама Инна стояла в растерянности. Ей не так часто покупали игрушки, и она боялась ошибиться в выборе, понимая, что следующий шанс наступит не скоро. Но в принципе, она склонялась к покупке куклы Анжелы. Такой роскошной игрушки у неё ещё не было. «Настоящая принцесса, – думала Инна. – А вдруг, когда я вырасту, я буду такой, как она? Такой же красавицей, буду носить платье из красного бархата с поюсом на пуговичке. Наверное, нет, я же не принцесса. Но у меня есть возможность заполучить эту принцессу себе домой. Папа купит её, и она навсегда останется у меня, и как только захочу, я смогу взять её в руки. Она будет моей навсегда. Правда, тот малыш с коляской тоже интересная вещь. Его можно переодевать и катать в коляске, как настоящая мама. Можно будет даже самой шить ему одёжки».

Взрослые начинали нервничать. Им хотелось поскорее покончить с надоевшим процессом.

Тут Инна заметила, что из-под кучи сваленных в углу пустых картонных коробок виднеется что-то деревянное. Она подошла и выгатила оттуда модель паровоза. Это была старая игрушка, краска местами облезла. В основном она облезла спереди, и её подкрасили вручную, пририсовав фары и решётку, так что они образовывали как бы глаза и рот. Казалось, что у паровоза есть лицо, и это лицо было обиженным и плаксивым, потому что неумелый рисовальщик придал решётке неправильный наклон, опустив её концы, вроде скорбно опущенных углов губ.

– Поставь на место, девочка, – сказал продавец. – Эта игрушка идёт на списание, её уже никто не купит.

– Девочки не должны играть с паровозами, – назидательно произнес дядя. – Это игра для мальчиков.

– Инна! Он некрасивый и старый, выбери что-нибудь другое, – нетерпеливо добавил папа.

Инна была в замешательстве. С одной стороны перед ней открывалась замечательная перспектива – настоящая принцесса Анжела с роскошными волосами, голубыми эмалевыми глазами, в бархатном платье. Её старая кукла Соня годилась Анжеле в мамы. Так и можно будет играть, Соня – мама, Анжела – дочка. С другой стороны, продавец правильно сказал, эту старую облезлую игрушку уже никто не купит. Она пойдет на списание. Что такое списание, Инна не знала, но понимала, что это что-то нехорошее. Вроде как разломают её на части? Единственный шанс на спасение паровоза – купить его сейчас. Но зачем он ей? Она не знала, как можно будет играть паровозом. Если бы к нему шли вагоны, можно было бы посадить в них зверюшек, но сверху на один паровоз никого не посадишь.

– Инна! Тебе предлагают очень хорошие игрушки, брось паровоз и выбери, наконец, что-нибудь, – с нарастающим раздражением произнёс отец. Ему не терпелось выйти на воздух и продолжить беседу с братом.

Паровоз можно было бросить. Но он пойдёт на списание! Какое-то страшное непонятное списание! А если и не пойдёт, то ведь правильно сказал продавец, никто его не купит, это точно. Другие игрушки будут разбирать, они поедут к разным детям домой и найдут там свою семью, а этот паровоз с унылым, плачущим лицом, так и останется лежать под ворохом коробок. Сейчас они уйдут, все вместе, с присоединившейся к ним куклой Анжелой, такой нарядной, такой красивой, а этот жалкий калека останется лежать в углу, ожидая своей печальной участи.



Инна крепко сжала в руках паровоз.

– Хочу это, – сказала она.

– Мда, – протянул продавец, – у ребёнка нет вкуса. Плохо дело.

Отец смущённо покраснел. Он выгнал кошёлёк, расплатился, и все трое вышли на улицу.

Дома отец рассказал домашним о происшедшем в магазине. Мама сокрушённо поцокала языком.

– Инна такая упрямая, как вобьёт себе что-то в голову, ничем не выбьешь, – сказала она.

– Хуже другое, – ответил отец. – Мне было неловко, когда продавец сказал, что у неё вкуса нет.

«Какие же глупые эти взрослые, – думала Инна. – Ничего не понимают в жизни. А ведь они должны учить меня, воспитывать. Как они будут меня воспитывать? И что же из меня вырастет, если меня некому будет воспитать? Что будет со мной?»

Инне стало грустно. Она уложила паровоз в старую коробку из-под кубиков, предварительно выстелив её мягкой тряпочкой. Кубики давно все потерялись. Инна и так знала уже все буквы и самостоятельно прочла «Почемучку» и «Золотой ключик». Паровозу было уютно в коробке. Инна решила, что завтра она возьмёт какую-то краску и попробует поднять ему углы рта.

Она была довольна собой, своим поступком. Она спасла паровоз от неминуемой гибели, или, по крайней мере, одиночества, хотя чуть-чуть переживала о том, что упустила блестящий шанс, который попадается человеку раз в жизни. Но понимала, что взяла на себя ответственность за судьбу паровоза и чувствовала себя почти взрослой оттого, что совершила такой самостоятельный поступок. До сих пор Инна не смела перечить отцу или матери, это был первый раз, когда она настояла на своём мнении, и потому впервые в жизни ощутила сладкий вкус победы над своей детской беспомощностью.

Два года назад в жизни Инны произошел случай, сыгравший определённую роль в том, что случилось сегодня. Она не могла вспомнить точно, как это было, но ощущения того, что произошло, остались в ней навсегда.

Они тогда сидели с бабушкой в сквере, бабушка держала Инну на коленях. Подошла какая-то женщина, спросила у бабушки, как пройти к школе. Заглянула Инне в лицо и сказала:

– Какое живое, подвижное личико у этой девочки, только очень уж некрасивое. Жаль.

Бабушка взвилась, как тигрица.

– А ну, иди вон отсюда! Некрасивая. Сама ты некрасивая. Ещё увидишь, какая красавица из неё вырастет. Иди вон, сказала!

Инна не поняла, что так взволновало бабушку, но ощущение обиды от слов женщины осталось на уровне чувства. Её интуиция подсказывала ей, что женщина сказала что-то нехорошее и бабушка вступилась за неё, защитила. С тех пор она твёрдо усвоила, что надо защищать тех, кто слабее, и не может сам постоять за себя.

Дни шли за днями. Исправить ошибку рисовальщика Инне не удалось. Акварельные краски стекали по гладкой деревянной поверхности, а масляных у неё не было, и она оставила попытки придать лицу паровоза более весёлое настроение. Достаточно было того, что он лежал у неё в коробке, и ему ничто не угрожало.

Постепенно старые игрушки сменялись новыми, уходили либо на свалку, либо в подарок другим детям, у которых и таких не было, в те годы мало у каких детей на Молдаванке были дорогие игрушки. Но паровоз Инна не отдала никому. Он продолжал лежать на мягкой подстилке в коробке из-под кубиков. И когда Инна открывала коробку, её охватывала нежность к этой старой некрасивой игрушке, потому что она символизировала для неё близкого друга, спасённого ею. Первый, совершённый ею, крохотный самостоятельный поступок.

Шли годы. Однажды она, открыв коробку, увидела в ней не близкого друга, а просто деревянный паровозик с нарисованными фарами и решёткой. Просто игрушку. Она поняла, что выросла. И ещё она поняла, что все события в жизни людей, все чувства, которые возникают у них, всё-всё на свете взаимосвязано. Женщина, которая обидела её в сквере и покупка ею паровозика с некрасивым лицом и всё, что ещё произойдёт – это всё одно целое, неразделимое, одно вытекает из другого, и одно не существует без другого. Как бабушкин вязанный платок, состоящий из множества нитей, если потянуть за одну из них, то потянется весь платок.

Инна положила паровоз в коробку и отнесла его в самый дальний угол на антресоли.

Потому что он больше не был её другом, но остался частью её жизни.

Навсегда.

2. УВЕРТЮРА

На старых обоях лежал косой квадрат утреннего солнца. За окном тихонько шевелились зелёные ветки цветущей липы, по ним прыгали шумные воробьи. Инна уже проснулась, она разглядывала блики солнца на стене, слушала воробьиный гам, и её губы невольно трогала лёгкая улыбка, а сердце колотилось радостно и свободно, как только оно может биться в день, когда тебе исполняется пятнадцать лет; за окном начало лета, а впереди целая жизнь. И жизнь эта, в её представлении, конечно же, будет бесконечной и сияющей, наполненной будущими радостями и глубоким смыслом. Девушка откинула лёгкое одеяло, спрыгнула с кровати и подбежала к трюмо. Ей казалось, что про-



шедшая ночь должна была произвести какие-то перемены в её облике.

Со вчера перемен не было. Но, взглядевшись в изображение, Инна застыла. Впервые она заметила, как она красива. «Я красивая, это так! — думала она. — Какое счастье!»

Она сосредоточенно смотрела и отмечала и благородный изгиб губ и смоляные брови... Нежная грудь под тонкой рубашкой вздымалась в такт учатившемуся дыханию. Что-то должно произойти вскоре, она чувствует это. Об этом говорили и солнечные зайчики на стене, и возня воробьёв, необычная, радостная, как никогда. Атмосфера ожидания была разлита в воздухе, а может быть, Инне так казалось, потому что сегодня она впервые заметила свою красоту и красота эта была взрослой. Исчезла детская припухлость щёк, глаза стали глубже, и во всём лице появились соразмерность и строгость линий.

Инна расчесала волосы, сбежавшие по спине тугой тёплой волной, стянула их на затылке резинкой и отправилась на кухню, откуда слышались старческое шарканье и потрескивание греющейся духовки. Там была бабушка, она пекла что-то вкусное, тёплый уютный запах доносился через длинный коридор старого дома.

— Не ходи в кухню, — послышался бабушкин голос. — Тесто упадёт.

Это Инна знала. Нельзя входить в кухню, когда подходит тесто, оно падает, словно пугается шагов, замыкается в себе. Но вечером бабушка, наверное, поставит на стол пышный, посыпанный орехами торт, с наведенной глазурью надписью — «15!»

Зачем бы ещё она его пекла сегодня. И вообще, вечером они все сядут за стол, мама, папа, бабушка и будут праздновать её день рождения. Мама скажет ей что-то очень ласковое, и папа тоже. Наверное, так: нашему солнышку сегодня исполняется... или что-то такое же. А бабушка? Наверно, скажет, как в детстве, «цветочек мой». Интересно, что ей подарят. Хочется бусы из бирюзы, как у Лили. Такие голубые, яркие, они обхватывали шею одноклассницы на школьном вечере, и на неё смотрели все мальчишки. Вот такие бы и ей, Инне. Мысленно она уже видела свою тонкую длинную шею в кольце из бирюзовых бусин, и ей это нравилось.

Но все мальчишки ей не нужны. Ей нужен Гена. Он один. Это началось год назад, когда в их двор въехали новые жильцы. Они сносили в квартиру тюки, баулы, а сверху, с машины их подавал мальчик, её ровесник, загорелый, крепкий, с яркими карими глазами. Когда он повернулся за очередным тюком, Инна увидела выгоревший от солнца завиток на его затылке, и с ней что-то произошло. В груди заныло, ноги ослабели. Что это, она не поняла, но с тех пор думала о Гене часто, каждый день, то есть всегда, когда не думала о чём-то, что было необходимо думать прямо сейчас. Если она решала задачу по математике, то думала о задаче, а потом шла на химию и думала о реакциях, но между задачей по математике и задачей по химии был Гена. Между двумя думаниями о чём-то всегда был он. Если она чувствовала враждебность внешнего мира, она убегала в эти мысли, как в шалаш от дождя. Они были легки и приятны, а главное, необходимы. Без них ей было бы одиноко и неудобно. Они держали её, как корсет держит спину.

Гена учился в параллельном классе, и они встречались только изредка во дворе. Здоравлились кивком головы, и проходили молча. Но однажды, на школьном субботнике ей понадобилась лопата. Инвентарь был в подсобке. Она подождала, пока туда же отправился Гена, и пошла за лопатой. Они были вдвоём в полутёмной подсобке, заваленной лопатами и граблями.

— Я помогу, — сказал Гена, выгаскивая из-под вороха инструментов лопату с тонкой ручкой. Передавая ей инструмент, тихонько взял Инну за руку и подержал её. Смотрел как-то лукаво, с насмешкой более опытного в таких делах подростка. Инна руку не забрала, она бы и не смогла. Горячая волна залила щёки, дыхание участилось. Ей казалось, что от руки Гены идёт электрический ток и наполняет всё тело. Постояв так минуту, ребята расцепили руки, и вышли во двор. Но с тех пор, когда Инна думала о Гене, она всегда вспоминала эту полутемноту, запах высохшей земли, шедший от инструментов, то необыкновенное парение над землёй, которое она ощутила, когда её пальцы обхватила тёплая юношеская ладонь.

А сегодня день начался не с мыслей о Гене как обычно, а с того, что она, стоя перед зеркалом, впервые увидела себя почти взрослой, красивой девушкой и поняла, что в её жизни начинается новый этап. Она не предала свои обычные мысли о нём, а просто прибавила к ним новое ощущение себя. Гена всё равно оставался внутри, в ней, постоянной величиной, константой, которая никуда не уходила и не девалась. Просто на время отодвигалась более насущными проблемами, а потом возникала вновь. И она думала, что вот это и есть счастье, и больше ей ничего не было нужно. Мама и папа рядом, на кухне шарканье бабушки, а это означало, что она ещё жива, и тот страшный момент, когда её не станет — далеко, а пока жива бабушка, можно не думать о смерти родителей, ведь они настолько моложе. А внутри — мысли о Гене, и когда она ложится спать, она думает о нём и видит его сидящим на краю её кровати, и он рассказывает ей что-то из прочитанных книг. А больше ей не надо ничего. Пусть только будет так, не хуже, молвила она про себя не то себя саму, не то Бога, не то какое-то далёкое космическое сочетание планет, от которого зависело её будущее.

Вошла мама, одетая как для улицы, и позвала Инну на базар. На базаре мама покупала продукты, торговалась, складывала их в корзину. Инна шла за ней и несла эту корзину, мама пыталась научить её выбирать хорошее мясо, но ей было всё равно, и житейская наука не лезла в голову.



Когда вернулись, отца не было дома, он ушёл на работу. Мать и бабушка осмотрели покупки, посетовали на дороговизну. День прошёл, как самый обычный. Когда вернулся с работы отец, Инна подбежала к нему, может именно сейчас он вручит ей именной подарок, ведь с мамой они ходили вместе, и мама ничего не покупала. Но отец, ничего не сказав, завалился как всегда в уютное кресло перед телевизором в ожидании ужина.

На ужин мама подала жареную картошку с колбасой. Потом чай. Торты не было.

— Ба, а когда мы будем есть твой торт? — спросила Инна.

— Завтра, — ответила бабушка. — К нам Лида, сказала, зайдёт.

Лида была её невесткой, женой второго сына, и бабушка перед ней благоговела, даже чуть-чуть побаивалась. Лида была не из обычной, а из «очень хорошей семьи», её отец был генерал в отставке, и бабушка всегда с гордостью рассказывала новым знакомым, что её Сеня женат на генеральской дочке.

После ужина, убрав со стола, мать села раскладывать пасьянс, бабушка принялась подшивать простыню, отец погрузился в телевизионные дебаты. Инна несколько раз прошла перед телевизором, но её усадили на место, велев не мешать отцу. Часам к одиннадцати она окончательно поняла, что именин не будет. Неприятная, холодная, скользкая, как слизняк, догадка вползла в сознание. «Они забыли! Они не помнят!»

Этой весной праздновали день рождения одноклассницы. Это было в ресторане, она позвала, чуть ли не полкласса. Богато накрытый стол, много шампанского и сияющий от радости отец, производящий каждые 20 минут тост за любимую дочку. Инна на такое и не рассчитывала, её день рождения всегда праздновался скромно, но хоть как-то.

— Ну почему же, почему? — спрашивала она себя. Вот в прошлом году ей исполнилось четырнадцать, это же не такая замечательная дата, а всё-таки был накрытый стол и поздравления. Даже бабушка забыла, а ведь она самая любящая из всех троих.

У Инны была отдельная комната, выше на пол-этажа. Когда-то там была антресоль и жила чужая старушка, когда она умерла, родители Инны пробили окно и сделали для неё комнату. Наверх вела железная лесенка. Там она смогла дать волю слезам. Тихонько, чтоб не слышали взрослые. Напоминать им и требовать внимания она не стала. Не помнят, ну и не надо. Зато у неё есть Гена. Она закрыла глаза, и в кресле у окна возник Гена. Он поздравил её с днём рождения, пожелал счастья. Потом Инна решила на то, чего ей давно хотелось, но она боялась думать об этом, из какого-то суеверия, боясь спугнуть свои видения. Мысленно она подошла к окну и уселась на подлокотник кресла, а Гена обнял её крепкой мальчишеской рукой, обвил талию и прошептал в самое ухо: «Моя родная».

Это было компенсацией за обиду. Ей уже не было так страшно и одиноко жить во взрослом мире, как пять минут назад. Она вспомнила, как зимой мама вышивала очередную подушку, и Инна попросила сделать такую же вышивку на её блузке, а мама отказала резко и даже с какой-то злостью. Словно ей не всё равно, на чём вышивать. Значит, просто не хотела именно для Инны? А почему, ведь Инна всегда была такой хорошей дочкой, как она ни старалась, не могла найти, в чём себя упрекнуть. Тогда она тоже долго плакала ночью. Начиная с восьмого и даже седьмого класса, все девчонки начали приходить на школьные вечера нарядами и накрашенными, но Инне дома не позволяли ни краситься, ни нарядно одеваться. У неё было одно платье на выход, уже ставшее узким в груди, наливавшейся соками с каждым днём, и она ждала, что мать это заметит, но та не замечала. Сама мама не придавала одежде никакого значения, могла ходить подолгу в одном и том же, и всю женскую одежду называла «тряпками» с подчёркнуто презрительной интонацией. Это было её право, но ведь Инна другая, она так любит красоту, почему же ей отказано в этом? Однажды на остановке она заметила женщину лет сорока, ожидавшую трамвай. На ней была красная в клетку юбка выше колена и белая водолазка. Точно такой наряд Инна придумала для себя, но он ей был недоступен, своих денег у неё никогда не было. И вот она увидела его воочию, и оказалось, что она была права, это очень красиво, только не на ней. У неё даже заныло в груди от желания быть в такой же одежде, перехватило горло от обиды. Разве в таком скромном наряде есть что-то неприличное? Но ей не купят, а если она попросит, мать скажет со злостью: «О тряпках думаешь!? Об учёбе надо!» А отец вообще не расслышит. Он занят своей работой, своими чертежами, у них на заводе проблемы с выпуском продукции и сейчас ему не до Инны. У бабушки нет денег. Да Инна и не просит никогда у неё ничего.

Как хорошо, что есть Гена и она может представить себя рядом с ним в любом наряде с бусами из бирюзы на загорелой шее. Он поймёт, он не скажет «тряпки», а будет любоваться ею, Инной. А потом скажет ей что-нибудь ласковое, «мое солнышко», или «моя малышка», например. Так говорят в кино. Долго они так будут ходить мимо друг друга по двору? Он ходит на море с мальчишками и никогда не зовёт её с собой. А она пошла бы. Она так здорово умеет плавать. Почему он никогда её не зовёт? Она точно знает, что нравится ему, он же не скользит по ней безразличным взглядом, а всегда смотрит внимательно и долго, и слегка улыбается. И ещё тот случай в кладовке школы! Может, самой подойти? А что она скажет? Неважно, что она скажет, важно, что он при этом подумает. А что он может подумать? Она же ничего неприличного не скажет. Где уж ей сказать неприличное, такой затворнице. Тут Инна даже рассмеялась вслух. Мама всегда говорит: «С нашей Инной никаких проблем, она у нас такая домашняя девочка».



Прошёл месяц, прежде чем Инна решилась заговорить первой. Она лежала животом на подоконнике, высматривая, когда Гена пройдёт, затем очень быстро сбежала вниз. Он зашёл к Ваське, а Ваську она видела уходящим со двора минут десять назад. Значит, сейчас Гена выйдет. Она опрометью сбежала по лестнице, выбежала за ворота, отдышалась и сделала вид, что только сейчас входит в ворота, чтобы якобы нечаянно столкнуться с Геной. Манёвр удался.

Но дальше всё пошло наперекосяк. Инна забыла заготовленную приличную фразу, судорожно вспоминала несколько секунд, а потом, понимая, что время уходит, вдруг выпалила: «Гена, пойдём вместе на море». Испугалась своей откровенности. Но он смотрел на неё с интересом, в глазах у него зажёгся огонёк.

— По-о-ойдём, — протянул. — Только не там, где все купаются, а за скалками. Где дикий пляж, знаешь?

Этот пляж знали все, но это же не место для первого свидания. Инна растерялась

— Зачем? — спросила она и поняла, что это глупый вопрос.

— Затем, — весело ответил он. — Нам свидетели не нужны.

Она молчала, а он протянул руку и погладил её по голове.

— Хочешь со мной встречаться? Что ж раньше не сказала? А про тебя все говорят, что ты недотрога ненормальная.

— Я нормальная, — быстро сказала она. — А может сначала в кино?

— Нет, — жёстко ответил он. — В кино потом пойдём. На боевик. Так что, придёшь? Давай завтра в двенадцать часов.

Инна ничего не ответила: ни да, ни нет. По её виду он мог понять, что она растеряна, но отрицательного ответа он ведь тоже не получил.

Вечером она мучительно думала, что же ей делать. Ей никак не хотелось встречаться с Геной на диком пляже, лучше бы просто поплавать там, где все, насобирать мидий и вместе спечь их на костре. Но если она откажется прийти на тот пляж, он вообще больше не захочет с ней встречаться. Будет думать, зачем мне такая ненормальная. Становиться же нормальной было страшно. Хотелось его поцелуев, объятий, но не больше. Она загадала, если мама раскладывает пасьянс, она пойдёт завтра за скалки, если нет, не пойдёт. Вошла в общую комнату — мать раскладывала пасьянс, бабушка, как всегда, что-то шила, отец смотрел телевизор.

— Мама, — сказала Инна, — отложи карты, мне надо с тобой поговорить.

Она, конечно, не думала посвящать мать в свои раздумья, она бы рассказала ей что-нибудь из школьной жизни, но ей так хотелось, чтобы мама положила карты обратно в коробку, и Инна смогла бы тогда никуда завтра не идти.

— Давай попозже, — сказала мать. — У меня тут не складывается.

— Сеня звонил, жаловался на начальника, тот его совсем заел, — обернулся отец. Мать отложила карты, и они принялись обсуждать дядины Сенины дела, его начальника и какую-то Елену Анатольевну.

«Вот так каждый вечер, — подумала Инна. Они заняты своими разговорами, а её словно не существует, — я в лесу среди деревьев...» — пришла ей в голову подходящая фраза. Она твёрдо решила пойти завтра на свидание к Гене у диких скал. Воображение рисовало ей, как он обнимет её, будет гладить по волосам и скажет: «Моё солнышко». После «такого» он не сможет не полюбить её по-настоящему. Он будет целовать её, расспрашивать о делах, называть ласковыми именами. А потом, когда им исполнится по восемнадцать лет, они поженятся. Инна даже представить себе не могла, что они могут и не пожениться. Она просто не видела для этого оснований, а потому такая мысль не приходила ей в голову. Наутро она собрала в сумку купальник, очки от солнца и пляжный коврик. Завтракать не стала, от волнения у неё сжималось горло. «Я стану сегодня совсем взрослой, — думала она. — Как это произойдёт?»

Она не помнила, как добралась до пляжа, повернула по обрыву направо. Растущие вдоль тропинки кустики жёсткой травы кололи ноги, она смотрела на дорожку, чтобы не упасть, и навсегда запомнила красноватую глиняную тропинку и кончики своих белых туфель, мелькавшие на ней. Прежде чем спуститься за скалу, огляделась. Привычный пейзаж замер в ожидании. Она смотрела на рыжие скалы, заросли дикой маслины, высокие облака в серовато-голубом выцветшем небе. «Как странно, — думала она. — Сейчас я такая, а через час такой уже не буду, я стану другой, а эти скалы, кусты и облака останутся такими, как есть. Я изменюсь, а они — нет. И им абсолютно безразлично, что я изменюсь. Им это всё равно, потому что они уже видели миллионы людей, которые изменялись, а сами эти скалы не меняются никогда».

И ещё она подумала, что никогда не забудет эту минуту, когда она вот так стояла у начала спуска, и что, возможно, когда-нибудь будет это вспоминать и думать, вот бы вернуться в тот момент, и снова оказаться в том месте и в том времени, когда ещё есть возможность выбора. Потому что вскоре его уже не будет. Она тянула время, чтобы продлить эту возможность выбора. Пока у неё был выбор, она чувствовала себя сильной. Но более тянуть было уже нельзя.

Вздохнув, она побежала по тропинке вниз.

Гена ждал её, сидя на валуне. Встал навстречу, обнял и прижал к себе. Что-то твердое надавило ей



на живот. «Должно быть, пряжка его пояса, — подумала Инна, — но почему так низко? И потом ведь пряжка плоская, а это нет».

Мысль о пряжке мелькнула и исчезла. Гена впился губами в её губы, и у Инны потемнело в глазах. Ноги подкосились, и она обмякла, повисла на его руках. Ей казалось, что она летит со скалы, полёт был необычным, укачивающим. Туман, боль.

Гена встал, сказал, усмехаясь: «Ты не бойся, я без последствий».

«Что это значит? А, поняла».

Гена подобрал свою спортивную сумку, закинул за плечо и, потрепав Инну по щеке, отправился за скалы, на общий пляж. Она осталась наедине с теми же жёлтыми камнями, кустами дикой маслины, которых призывала в свидетели полчаса назад, только облака на небе поменяли свою форму и место.

«Вот оно и случилось», — стучало у неё в голове. И на душе такая тоска, что впору броситься на землю и выть. Ну почему он ушел? И никаких слов, что она так ждала от него, никаких ласк. В ней погас огонёк, что грел её целый год, когда она устав от равнодушия родных, окуналась в свои девичьи мечты, и стержнем этих мечтаний был только *он*.

Прошло несколько дней, таких же серых и скучных, как первый день после *того* дня, который она ждала, как самый знаковый в её короткой жизни, и который окончился таким разочарованием. Гена не появлялся, не звал её никуда, а она даже не выходила во двор, понимая уже, что он никогда не скажет ей тех слов, что она так ждала от родных, от него, и которые ей были необходимы как воздух. Это ей нужны такие слова, а ему только то, что он уже от неё получил.

Мать ворвалась в комнату с перекошенным лицом, схватила её за руку, поставила перед собой.

— Ты, ты! Ты что, ходила с Геной за скалки!? Отвечай, когда мать тебя спрашивает!

Инна обомлела от страха, стыда, неожиданности. Хотела крикнуть «Нет!», но слова застряли у неё в горле.

Мать по её виду поняла всё. Отпираться было бесполезно.

«Как она узнала?» — мелькало в голове у Инны.

Мама увидела вопрос в её глазах.

— Думаешь, благородного рыцаря нашла? Он на весь двор сообщил, что «распечатал недотрогу» — это у них термин такой. А ты дура, дура, дура! Сколько раз это у вас было, говори!

— Один, это правда, мама.

— Ты думаешь, с одного раза нельзя забеременеть? В подоле хочешь принести!

Мать потащила её в ванную, срывая по дороге с неё одежду. Вбежала перепуганная бабушка.

— В чём дело? Чего вы кричите?

— Вот, мама, полюбуйтесь на внучку, с каких лет начала! Я ей сейчас горячую ванну сделаю, если подхватила, то горячая ванна сорвёт. Главное, чтоб не было поздно.

Инна хотела сказать, что Гена предупредил: «Ты не бойся, я без последствий», но никакая сила не могла заставить её произнести эти слова, казавшиеся ей такими интимными, личными, связывающими её и Гену в одно целое. И в то же время она инстинктивно ощущала их грязными и циничными, какими-то механическими подробностями того, всё-таки знаменательного, на её взгляд, момента в её жизни, и открыть матери эти подробности она не могла.

В ванну с шумом полилась горячая вода, в воздух поднялся пар. Инна стояла окаменевшая. Мать потащила её по направлению к ванне, она, не сопротивляясь, полезла туда и вскрикнула, когда ощутила жжение. Ноги сразу стали красными, она боялась сесть, но мать толкнула её вниз, и она, поскользнувшись, хлопнулась на дно ванны. Горячая вода достигала груди, жгла, щипала кожу. Тяжело дыша, она выдержала назначенные матерью двадцать минут. Вылезла из ванны пошатываясь, накинула халатик, кожу жгло и под халатом.

И тут вошёл отец. Инна стояла, задыхаясь, вся красная, волосы намокли и слиплись. Скрыть то, что произошло, было невозможно.

С неохотой мать рассказала ему, и Инна была ей благодарна хотя бы за то, что она делала это неохотно. Она и не могла рассчитывать, что мама скроет, у них с отцом секретов друг от друга не было. Все годы брака они прожили как единое целое, вот только дочери не было в их союзе даже малюсенького места.

Отец выслушал, замер, раздумывая, что же теперь делать. Затем, размахнувшись, вклепил Инне гульку пощечину.

— Шлюха! — закричал он.

Девушка отлетела, хлопнувшись спиной о дверь кухни, сползла вниз, взмахнув руками, как паяц на верёвочке.

— Не трожь ребёнка! — рванулась бабушка.

Инна вскочила, и, запинаясь, пугаясь в полах халата, бросилась по железной лесенке вверх, в своё убежище. Накинула шеколду и рухнула на кровать.

Её жгёт стыд, жгли кожу полученные в ванне ожоги. Ей было стыдно и за предыдущую сцену, и за ту жалкую, нелепую позу, в какой она упала на пол.

От рыданий кровать тряслась, и эта её девичья кровать, которая раньше казалась самым безопас-



ным и уютным пристанищем, теперь тоже была враждебна к ней, при каждом движении она скрипела и ворчала: шлюха, шлюха.

Инна рыдала горько и безысходно. Но затем она устала, всхлипы постепенно утихли, и, наконец, она уснула, сомкнув опухшие от слез веки.

Инна спала, а вокруг постели толпились ангелы, баюкая её на своих крыльях, укачивая, передавая друг другу, смотрели на неё с любовью, жалостью и состраданием, и тихонько шептали друг другу: «Ш-ш-ш, тихо, пусть спит, ведь её взрослая жизнь только начинается...»

3. ПИСЬМО ПОД НОМЕРОМ «385»

Инна открыла дверь ключом, внесла тяжёлую сумку и поставила у порога. Она так устала, что решила разобрать покупки позже, хотя в сумке было то, что требовало немедленного водружения в холодильник. Прошла дальше по коридору, сняла туфли, потёрла друг о друга зудевшие от долгой ходьбы ноги, с удовольствием сунула их в тапочки. Вымыла руки и рухнула в кресло перед телевизором.

Всё! Можно передохнуть. На всех украинских каналах шла реклама, но больше пятнадцать минут она не продлится, а когда началась, неизвестно, может давно, так что она подождёт. Кабельного с российскими каналами у неё не было.

В ожидании сериала, который она ежедневно смотрела в качестве лёгкого, не требующего напряжения, отдыха, Инна прикрыла глаза.

Завонил телефон. Она вдруг ощутила непонятное щекотание в груди, почувствовав – сейчас что-то произойдёт. Взяла трубку.

В трубке зазвучал неуверенный мужской голос: «Добрый день, можно Инну Глебовну?»

– Слушаю вас, – ответила Инна. – А вы, простите, кто?

– Моя фамилия Лукьяненко. Валентин. Вы меня помните?

У Инны подкосились ноги. Его голос был таким же, как 20 лет назад, и если она не узнала его, то только потому, что не могла себе представить, что он позвонит.

– Так вы помните меня? – продолжал голос.

И тут же перешел на «ты».

– Инна, можно я зайду? – это уже было сказано с вопросительно-просительной интонацией.

Инна взяла себя в руки.

– Помню. И хочу тебя видеть. Только сегодня я занята. Давай завтра, часа в три.

Это была ложь. Инна была незанята. Но, во-первых, она не могла так сразу. Она должна была прийти в себя. Во-вторых, показаться такой после двадцать лет разлуки? Ни за что! Надо было покресить волосы, уже сколько седины повылазило. Привести себя в порядок. Забежать в магазин и купить новые колготки. Все старые со стрелками, с дырками. Убрать квартиру. «Боже, о чём я думаю? Он приехал, он придёт, как это? Невозможно, невозможно. Но вот же, по телефонным проводам донеслись его голос, его слова».

Ближайшие сутки она провела в каком-то чаду. Ходила, разговаривала, общалась с парикмахершей и маникюршей, убирала квартиру, но все мысли были только о нём. Купила колготки. Когда Саша сказал, что уезжает на два дня на участок копать огород, была счастлива. Не до него сейчас. Только будет мешать. Хотя, конечно, понимала, что он ни на какой огород не поедет, а возьмёт дружков, и они все вместе поедут за город бухать. Раньше бы закатила скандал, попыталась удержать, но сейчас такие его планы были ей на руку.

С Сашей они прожили восемнадцать лет. Не сказать, чтобы счастливо, но не хуже других. Если б он ещё не пил... Когда они с Валентином расстались, Инна несколько лет не могла прийти в себя. Казалось, жизнь кончена. Она просто не представляла себе, что можно ходить по улицам, дышать, есть, пить, когда мозг сверлила одна и та же мысль – его нет и не будет. Ей рассказали, что после их последней встречи, он сразу же женился на красивой и богатой девушке, дочери его преподавателя, но Инна не могла найти в себе никакой ревности. Боль потери была настолько невыносима, что заглушала все другие эмоции.

До его прихода оставался час. Она была полностью готова. Но понимала, что главное – не закрасшенная седина, не пудра «Лореаль» с тонким ароматом, главное было – собраться, заставить успокоиться дыхание, не выдать своего волнения.

Ей было восемнадцать, когда она поступила на первый курс технологического института. Стипендия маленькая, Инне хотелось иметь свои карманные деньги, но родители помогать ей не могли, и Инна пошла в Художественное училище позировать по вечерам студентам. Поначалу было очень тяжело высидивать на стуле неподвижно сорок пять минут, делая вид, что читаешь открытую книгу. По-настоящему читать её нельзя было, потому что нельзя было двигать глазами и переворачивать страницы. Но постепенно она привыкла, и боли в спине стихли. Её рисовали студенты третьего курса, потом к ним присоединились четверокурсники.



Однажды, выходя в коридор на десятиминутный перерыв, Инна столкнулась в дверях с новым студентом. Она подняла голову и посмотрела на него снизу вверх, потому что он был намного выше. И обомлела. Стояла, не в силах пошевелиться. Он тоже смотрел на неё пристально и удивлённо. Протянул руку и погладил её по голове. Они разошлись, но Инна твёрдо знала, что с этого дня в её жизнь вошло нечто новое, столь значительное, что с этого момента она будет всё делить на «до» и «после».

Она спросила у кого-то из ребят, кто тот парень с русыми волосами и жёлтыми глазами, и ей сказали, это Валька Лукьяненко, с живописного отделения. Учится на четвертом, весной заканчивает.

Она сидела на стуле, глядя в книгу, но ей безумно хотелось повернуть голову вправо и смотреть на него, не отрываясь. После пары он подождал, пока она переоденется в свою одежду и уже на выходе из училища подошёл. Сейчас Инна смутно помнила, что он говорил тогда. Что она отвечала. Всё было словно в тумане. Он предложил пойти в горсад, посидеть на скамейке. Она, конечно, согласилась. Несколько дней они после занятий ходили в горсад, сидели на скамейке, ставшей уже «той скамейкой». Потом он позвал к себе, посмотреть свои работы. Валька не был одесситом, он снимал комнатёнку в развалюхе, на улице Серова. Это было недалеко от Косвенной, поэтому они домой шли вместе. Когда Валька пригласил Инну к себе, она всё поняла, она ждала этого. Думала, посмотрит работы, а потом... Но получилось не так. Едва войдя в комнату, они повернулись и посмотрели друг на друга. Затем, одновременно, резко рванулись навстречу. Валентин подхватил её на руки, прижал к себе, понёс на кровать. Она не чувствовала своего тела, оно словно парило в невесомости. Не помнила потом, как он раздел её, как приник.

Очнувшись, когда он, задыхаясь, уронил голову на её волосы, разметающиеся по подушке, и она услышала громкий глухой стук его сердца, ощутила его своей грудью.

С того дня не было вечера, когда бы они не бежали бегом по Серова, стремясь туда, в нищую комнатёнку, бывшую для них райским садом, роскошной обителью их любви. Инна не успевала за быстрым шагом Валентина, и он тащил её за руку, крепко сжимая в своей, так что ей было больно, а на его лице с львиным профилем играла хищная улыбка зверя, влекущего в своё логово желанную добычу.

Они не произносили высоких слов, но оба знали, что время для них ступило и существовало только там, в комнатёнке, когда они были вдвоём. Всё остальное было непонятно что: лекции, вечерний рисунок, столовая со стаканом молока и бубликом на большой перемене, всё, что могли позволить себе студенты. Разговоры окружающих, замечания преподавателей в институте и в училище, судьбы других людей – всё это было чужью, незначительной ничего не только в их жизни, но и в мире вообще.

Дни бежали за днями, прошёл Новый год, зимние праздники, наступила весна. Они ходили на выставки, в кино, в зимний, а потом весенний парк. В гости не ходили никогда, потому что на выставке и в парке они всё равно были вдвоём, а в гостях пришлось бы отвлекаться на кого-то ещё.

Он часто рисовал её, обнажённую, лежащую на кровати, или сажал на стул на фоне драпировки, на столе накопилась гора зарисовок карандашом, углём, сангиной. Но больше всего Инна любила ту, написанную простыми малярными красками картину, на которой она лежала в позе Гойевской Махи. У Вальки не было денег на хорошие краски, он взял зелёную краску для ремонта стен и белила, и сочетая одно с другим, написал лежащую Инну. Получилось в одном колере, от тёмно-зелёного до светло-зелёного, но сходство было потрясающим, а от её обнажённого тела веяло любовью и покоем.

Однажды Инна решила попробовать себя в живописи и нарисовала небольшую картинку. Тёмный мрачный лес, поляна, на поляне растёт ярко-красный цветок, а рядом ползает на коленях девушка, что-то ища. Валентин покритиковал колористику, неточность в рисунке кистей рук девушки. Инна удивилась, что он не заметил главного – философской наполненности этой вещи, она имела в виду, что счастье рядом, а мы прилагаем страшные усилия в поисках его, не замечая яркой его красоты в двух шагах. Впервые она чуть-чуть огорчилась не то чтобы его душевной грубости, а недостаточной тонкости в понимании.

Наступил июнь, пора выпускных экзаменов в Художественном училище, Инна переживала за Валентина, нервничала в ожидании «обхода», когда все студенческие работы выставлялись у стены мастерской и синклит преподавателей всех курсов, строго хмурия брови, давал окончательную оценку выпускнику.

Диплом Валентин защитил на «пять». Уехал в Москву, поступать в Художественный институт, а Инна переживала, чтобы поступил, потому что это нужно было ему, и в то же время желая, чтобы не поступил, потому что тогда он остался бы в Одессе.

Утром позвонила почтальонша и вручила телеграмму «Поступил воскл воскл воскл».

Затем он вернулся в Одессу, ждать осени, когда начнётся учебный год.

Снова они ходили на пляж, плавали рядом в тупих волнах до буйков и обратно. Снова прижимались друг к другу на тесной железной кровати Валькиной комнаты на Серова, где на стене, на вылинявших от времени обоях, писали углём свои мысли, планы на ближайшие дни, а Валька свои планы чаще всего зарисовывал в картинках. В качестве символа его главной в жизни победы на стене красо-



вался Кремль со звездой. Символ столицы.

Однажды, глядя на Кремль, улыбаясь, он сказал:

– Москва, Москва, столица мира, город, где я непременно буду жить. . .

Его улыбка была какой-то затаённой, и Инна почувствовала, что он имел в виду не студенческие пять лет, а жизнь вообще. Он собирался стать москвичом навсегда, но как? После выпуска его в столице не оставят. Она полежала ещё минут пять, раздумывая, потом встала, переступила через его могучее загорелое тело, сошла вниз, оделась. Он удивлённо следил за ней, но вид у Инны был очень строгим, не располагающим к вопросам. Она ушла.

Назавтра пришла снова, как всегда, улыбалась, шутила.

Лето пролетело, и он уехал учиться, а в жизни Инны главным человеком стала почтальонша тётя Таня. С утра она выглядывала её у ворот, когда бежала в институт, если не было с утра, после лекций опрометью бежала к почтовому ящику. Письма она получала каждый день, крупным размашистым, яростным почерком, с длинным падающим росчерком буквы «я». Она пряталась в своей комнатке, читала по нескольку раз, тайком от родителей, чтобы не задавали лишних вопросов, потом отвечала старательно на каждую фразу, изливая на бумаге все те нежные слова, что накапливались в ней за сутки. Потом клала его письмо обратно в конверт, ставила на нём цифру, номер, для того, чтобы после можно было перечитать, не пугая, какое письмо пришло после какого. И складывала его письма в старую кожаную белую сумку. Сумку прятала у себя в комнатке, в потайном месте.

Однажды она сказала родителям, что было бы здорово, если бы она смогла уехать к Вальке в Москву, если они поженятся, её переведут в московский вуз. И тогда они смогли бы жить вместе. Но родители возразили, что семейных в общежитии не держат, значит им придётся снимать для молодых комнату, а это дорого. У Валентина одна мать, отца нет, она ему помогает не в состоянии. Ничего страшного, потерпят пару лет. Через два года окончит вуз Инна, сможет найти в Москве работу и сама оплачивать их жильё. Бабушка к тому времени уже умерла, и Инне даже некому было излить горечь родительского отказа.

Так пролетел первый учебный год Вальки в Москве.

На Первое мая он приехал в Одессу, три блаженных дня они провели вместе, родители хмурились, мол, нечего вместе спать, пока не расписаны, но молодые делали вид, что не замечают неодобрительных взглядов. И не секс их манил, а просто невозможность расстаться на ночь, если можно было спать рядом, вытянувшись на кровати, рука в руке, ощущать дыхание другого, как символ присутствия самой жизни.

Наступил июнь, Валька сдавал свою первую сессию, но всё равно Инна каждый день получала письма крупным почерком, отвечала на каждую фразу и складывала в сумку под следующим номером.

Шестого июля он не приехал, как было запланировано. Девятого пришло письмо, всего на полстранички. Инна вздрогнула от предчувствия беды. Полстранички вместо обычных четырёх! В нём он писал, что очень занят, договорился встретиться с преподавателем в вестибюле Эрмитажа, убегает, опаздывает, напишет позже. Странное письмо.

Она схватила полученную на днях стипендию, пересчитала. На билет хватит. Ещё можно взять деньги, отложенные на новые туфли. Помчалась на вокзал, купила билет, и тут же дала телеграмму – встречай.

Когда поезд подходил к перрону, увидела его в окне, но спокойствие не наступило.

Валик вошёл в вагон, взял её сумку, они вышли на перрон, он был как-то странно официален. На перроне стояли двое – парень и девушка лет двадцати, модно и дорого одетая. Они смотрели на Инну с насмешливым любопытством.

«Странно, – подумала она, – они же меня не знают, что во мне такого, чтобы насмешничать». И тут же забыла об этом.

Валька отвел её недалеко, в привокзальный сквер. Они сели на скамейку и он сказал, что это хорошо, что она сама приехала, что он имеет возможность сказать ей в глаза, не поручая бумаге, что пожениться они не могут. Он полюбил другую, женится на ней через несколько дней, это она с братом стояла на перроне. Они хотели на неё посмотреть.

– Ты устроил из меня цирк?! – побелевшими губами спросила она. Он смутился.

– Маргарита настаивала, – сказал он. – Я не мог отказать, я же живу у неё.

– Когда? – закричала Инна, – когда ты успел у неё поселиться? Неделию назад я получила от тебя письмо, в нём не было никакой Маргариты! Была только я, я, я! Ты жил у неё и врал!

– Хорошо, что ты приехала, – упрямо повторил он. – Я могу сказать всё и сразу. Щенку надо рубить хвост одним махом, а не отрезать по кусочку, ему ж будет больнее.

Внезапно для себя Инна протянула руку, ухватила кусочек кожи на его груди в вырезе рубашки, круганула, он вскрикнул от боли.

– Я тебе не щенок, – прошипела она.

И тут же обмякла.

– Это невозможно. . . Я не выживу, Валька, я не выживу. . .

Он встал, сбросил её руки, судорожно вцепившись в отвороты его рубашки, и резко зашагал прочь.

Через несколько часов Инна встала со скамейки. У неё был адрес знакомых в Подмоскowie, она



уехала туда. Они её ни о чём не спрашивали, вид у неё был, точно с креста снятая. Она пролежала неделю на старом топчане в летней кухоньке, почти не поднимаясь. Других свободных помещений в доме не было, но Инна была рада, что она там одна. Возвращаться в Одессу и отвечать на вопросы родителей не было сил.

Но вернуться пришлось. Другого дома у неё не было.

Спустя два года, прожитых с постоянной, не оставляющей тупой болью в сердце, она случайно встретила на улице Сашу, бывшего однокурсника Валентина по одесскому училищу. Он проводил её до дома, и больше от неё не отходил. То, что он любил её ещё при Вальке, она знала, все это видели.

Он сделал ей предложение. Инна подумала, что не любит его, но будет ему самой преданной и верной женой. Потому что другой женой она быть не могла. И ещё подумала, что Саша станет для неё той самой защитой и убежищем от родительского деспотизма, которое она искала когда-то в первой своей детской любви к однокласснику Гене. Она дала своё согласие.

Раздался звонок в дверь. Инна встала, сама не заметила, как оказалась у двери, открыла.

Он почти не изменился, но чуточку раздобрел. Был дорого одет и пахнул изысканно. Чем-то французским или английским. В остальном, те же жёлтые зрачки, львиный профиль, густые русые волосы. Они стояли несколько минут, вглядываясь друг в друга с удивлением и восторгом узнавания.

Инна первая очнулась, словно бы обычного гостя провела Валентина к столу. Стол был уже накрыт. Не праздничный, а просто обед, но обед изысканный. Ей не хотелось принимать его слишком торжественно, но и ударить в грязь лицом как хозяйка, она не могла.

Потекла беседа, нарочито светская. Вроде бы ни о чём.

— А ведь я всё знаю о тебе, — вдруг сказал он. — Я наводил справки. Ты вышла замуж за Сашу, детей у вас нет, никаких особых событий в жизни тоже.

— Зачем тебе это? — спросила Инна. — Зачем было наводить обо мне справки? И когда ты успел?

— Я списался с Витькой Гараниным. Он мне всё сообщил. Инна, послушай, я приехал к тебе с предложением, — он смущённо улыбнулся. Не решался сказать. Она вопросительно смотрела на него, но сердце у неё забилось в предчувствии чего-то неожиданного.

— Инна, ты живёшь серой обыденной жизнью. Она не для тебя. Ты утончённая, красивая женщина. Ты достойна лучшего. Такая красавица должна блистать в обществе, а не прозябать в старой халупе на копейки. Я приехал за тобой.

— Вот как? — Изящные брови Инны изогнулись от удивления. — Да ведь ты вроде бы женат, или мне солгали?

— Я был женат. Мы разошлись.

— А то, что я замужем, имеет какое-то значение? — спросила Инна с иронией в голосе, в то же время замирая от нахлынувших чувств.

— Этот брак для тебя та же халупа, Инна. Я сейчас богат, у меня своя галерея. Работы в зарубежных музеях. Я много езжу по миру. Ты будешь счастлива со мной.

Он замолчал выжидательно. Она тоже молчала.

— Почему ты вообще вспомнил обо мне?

— Я скажу тебе, хоть может, тебе это и не понравится. Ты, наверное, предпочла бы, чтобы я всё время о тебе помнил. Но это было не так. Первые полгода мне было больно, это честно, а потом стёрлось. Но два года назад, я ещё был женат на Маргарите, мы с ней были в новогодней компании. Все выпили, Маргарита куда-то вышла, а ко мне подошла девушка двадцати лет, как ты, когда мы расстались. Она села ко мне на колени, прижалась головой к груди. У неё были чёрные длинные волосы, как у тебя, такая же атласная смуглая кожа. Она заговорила, и я вновь услышал этот южный украинский говор, протяжное «г». Мне стало жарко, я держал на коленях тебя! Память тела оказалась сильнее психологической памяти, которая выгеснила насильно на задворки то, что в данный момент не было нужно, мешало. Больше я не мог забыть, я всё время думал о тебе, я продолжал тебя любить, Инна!

Он протянул руку и сжал своей ладонью её ладонь.

— Между мной и Маргаритой что-то нарушилось. Начались ссоры. И через полтора года мы расстались. А я стал наводить справки о тебе. Я боялся, что ты вышла замуж удачно и не захочешь ко мне вернуться. Когда я узнал, что ты живёшь в бедности, что брак у тебя не удался, обрадовался.

— Лучше бы ты продолжала меня любить тогда, — прошептала Инна.

— Ничего не поздно исправить. Никогда ничего не поздно. Мы любим друг друга. Я же знаю тебя, я понимаю, что ты однолюб, что Саша для тебя ничего не значит. Уйди со мной. Ты будешь счастлива. И я.

Инна молчала, но по её лицу Валентин видел, что он далёк от её согласия.

— Ты боишься перемен? — спросил он.

— Нет. Но я не могу причинить такое горе Саше. Потому что я знаю, каково это. Ты не знаешь, а я знаю. Это невыносимая боль. И он её не заслужил.

— Всё можно оправдать любовью. Мы любим друг друга и любили раньше, чем он. И ради нашей любви пойдём на всё.



– На что пойдём, на то, чтобы причинить боль другому? На «всё», это причинить боль себе. А если другому – то это не «всё» это просто жестокость, и ничего больше. Ты считаешь, что у нас любовь, а у него что? Любвишка? Чем она меньше твоей или моей? Чем она хуже?

– Он не пара тебе. И вы оба это знаете.

– Да. Но мы «не в паре» прожили восемнадцать лет. Пусть плохо, но прожили, куда их деть? Зачем ты поступил тогда так? Чтобы сейчас что-то менять, исправлять?

– Если б я тогда так не поступил, мы бы сейчас оба жили в этой халупе. Я бы здесь ничего не достиг.

– Понятно, – процедила Инна с легкой насмешкой. – Ты вложил свой «достоинство» в очень выгодное предприятие. И сейчас пожинаешь дивиденды. Роскошные дивиденды. Странно. По идее, каково вложение, таковы и наработки. А тут наоборот.

Валик густо покраснел, но сделал вид, что не заметил скабрзности.

– Я предлагаю тебе разделить эти дивиденды со мной.

– Значит тогда, когда меня осматривали на вокзале, оценивая, с насмешкой, я тоже вкладывала в наше будущее. Вкладывала свое унижение. Уничтожение себя. Только против своей воли. Даже не зная, что готовлю себе богатую старость. А если б та девушка не села к тебе на колени, ты бы не вспомнил обо мне?

– Твое право меня упрекать. Но я прошу тебя подумать, не лишать нас обоих счастья, пусть позднего. Я ошибся. Я влюбился в Маргариту без памяти, думал, что настоящая любовь прощает любые проступки, но это оказалось не так. Каждый человек имеет право на ошибку.

Инна вынула свою ладонь из его руки. Тихо сказала.

– Ты лжешь. Ты с самого начала знал, что женишься только на московской прописке. Вот почему ты никогда не заводил со мной разговоры о нашем совместном будущем. Вот почему однажды у тебя вырвалось: «Город, в котором я непременно буду жить...» Ты спал со мной и лгал мне, зная, что однажды бросишь меня ради штампа Москвы в паспорте. Сколько метров ты заработал тогда? Не сейчас. Сейчас я понимаю, твои метры по-настоящему заработаны тобой, а тогда, первые твои метры, которые ты получил, целуя её руку, сколько их было в пересчёте на душу населения вашей квартиры? Ты уложился в санитарную норму, или получилось чуть меньше?

Валька распахнул глаза.

– Так ты знала! Почему же не ушла, не бросила меня сама!?

– Не смогла...

За окном темнело. Двое сидели у стола, не зажигая света, молча, погружённые в свои мысли. Валентин поднялся, глухо произнёс.

– У меня самолёт. Завтра я должен быть на худсовете. Я не могу остаться.

Он ещё постоял, ожидая, что она станет возражать, но не дождавшись возражений, пошёл к дверям. Инна пошла за ним. У дверей он обернулся. Схватил её в объятия, прижал к себе. Инна охнула, прильнула к нему. Те же ощущения его тела, тот же стук сердца в его груди, словно не было прошедших двадцати лет. Он обнимал её, впивался поцелуями в лицо, шею, она не отвечала на поцелуи, но и не отталкивала его. В голове билось: это он, он, он...

Она стояла, прижавшись лбом к оконному стеклу, и смотрела вниз. В воротах показался Саша. Он шёл, загребая ногами опавшие осенние листья, чуть пошатываясь. «Так я и знала, опять выпил», – вяло и почему-то без раздражения, подумала она. И не спешила к дверям. Через пять минут раздался звонок, резкий, неприятный. Инна открыла дверь, впустила мужа. Пошла на кухню, разогревать ему обед. Он, изображая из себя хозяина дома, как было всегда, когда приходил домой выпивший, попытался прикрикнуть на неё, чтобы быстрее поворачивалась, но Инна, явно отсутствовала на этой маленькой кухне. Её лицо, глаза, показались ему незнакомыми, какими-то значительными, и он умолк. Молча муж и жена поели, умылись, легли спать. Словно ничего не произошло. Но Инна знала, что сегодня она перешла какой-то рубеж. То унижение, которое она пережила много лет назад, отпустило её. Но вернулась боль. Загнанная силой воли в подземелья памяти, она снова поднялась на поверхность – жгучая, неутолимая тоска по нему, любимому, единственному на всей земле...

Спустя две недели, в почтовом ящике она обнаружила письмо. На конверте стоял обратный адрес «До востребования. Валентин Лукьяненко».

Уйдя в ванную, чтобы избежать Сашинных вопросов, открыла конверт. Словно не было прошедших лет. Тот же почерк, буква «я», крупная с длинным падающим вниз прочерком. Прочитала: «Любимая, любимая, любимая моя! Какую ошибку я совершил! Не могу простить себе, не могу смириться. Как я жил без тебя? Зачем – без тебя? Как мог это сделать? Двадцать лет, двадцать лет, ушедших в небытие, глупых и монотонных, абсолютно бессмысленных, ничем не окрашенных, а я не понимал, я был слеп и вот так я наказан за глупость!

Трудно есть, трудно пить, работать, ходить, больно дышать.

Если б ты знала, как плохо мне! Пожалей, прости, ведь никто не знает, сколько ещё нам осталось, чтобы попытаться вернуть то, что было утеряно по глупости, по молодости... Прости...

Не могу без тебя. Не могу.



Сжался, прости...

Валентин».

Инна сидела на краю ванны долго-долго, глядя в эти буквы, такие знакомые, ничуть не потерявшие своей яростной силы. Думала о том, что всего лишь дней пять назад, может меньше, его родные, дорогие ей пальцы, сжимали ручку, и она бежала по бумаге, чтобы донести до неё его раскаяние, отчаяние, его мольбу. Она задыхалась, по лицу бежали слёзы.

Раздался стук в дверь ванной.

— Инна, что ты там, я опаздываю, — донёсся Сашин голос. — Мне выходить пора.

Инна сложила письмо, вложила его в конверт, сунула в карман халата, ополоснула лицо водой, и вышла из ванной. Накормила мужа, отправила на работу. Потом вылезла на антресоль, нашла старую белую сумку с письмами. Взяла оттуда последнее письмо, пожелтевшее от времени. На нём стоял номер «381». Инна вынула из кармана письмо, полученное сегодня, аккуратно расправила конверт, карандашом написала «382». Положила в сумку, затянула молнию и вернула сумку на место.

На дворе стоял ноябрь. Жить ей оставалось ровно десять нояблей.

Пробежали они быстро. Когда её, скончавшуюся от неумолимого гепатита с кодовым названием «С», привезли из больницы, гроб поставили во дворе, на скамейке. Подходили соседи, прощались. Соседей было немного. Будний день, почти все на работе. Баба Франия настояла на церковном отпевании. Саша послушался. Хоть был атеистом, но не знал, как отнеслась бы к этому сама Инна, вроде она была верующая.

— Хуже не будет, — подумал он.

Отпевание продолжалось долго, соседи устали стоять со свечками в руках, постепенно расходились.

Подъехал чёрный катафалк, внутрь внесли гроб. Саша и батюшка сидели по обе стороны его, и Саша отметил про себя, что у батюшки усталое лицо. Проехав несколько кварталов, батюшка попрощался с Сашей и вышел.

От ворот до могилы нести гроб на руках было некому, пришлось ехать машиной по кладбищу, но Саша вылез из катафалка и пошёл за ним пешком, отдавая жене последнюю дань. Он нёс венок с мелкими цветочками и чёрной ленточкой с надписью «Любимой супруге от скорбящего мужа». За гробом шёл он один, с этим единственным венком, загребая ногами жёлтые листья, и пошатываясь, как всегда, когда был пьян, но сегодня он ещё не успел выпить, просто ослабел от переживаний.

Когда набросали холмик, поставили в головах крест и табличку с именем покойной и датами рождения и смерти, Саша расплатился с гробовщиками, раздал мелочь набежавшим нищим, и отправился домой, где на антресолях, в углу, прятались старый деревянный паровозик и белая кожаная сумка, а в ней ещё три, прибывшие десять лет назад письма, с номерами на конвертах «383», «384» и «385».

После письма «385» не получавший ответа Валентин перестал писать.

ЭПЛА ЛЕУС

БОНСАЙ рассказ

Этот подарок вызвал у Эрика недоумение. Зачем ему дерево в горшке? Пусть даже японское и диковинное, но что ему с ним делать? До своих тридцати пяти он никогда растений дома не держал. Лучше бы приятель ящик пива купил на день рождения!

– На кой мне эта икебана? – благодушно возмутился Эрик.

– Не будь болваном, их и без тебя хватает! – парировал приятель. – Это же бонсай, декоративное дерево, вечнозелёный кипарис. Бонсай теперь в моде и, говорят, счастье приносит. Хочется верить, что не только в Японии.

Дерево было забавно скрюченным и совершенно не вписывалось в обстановку загромождённой компьютерной техникой комнаты. Но каким-то непостижимым образом оно придало помещению жилой вид. Его сочно-зелёная густая крона плотно облепила верхушку конусообразного волокнистого ствола. Эрику почудилось, что его холостяцкая берлога преобразилась: серый цвет угас и появился зелёный, радостный. Сначала это его раздражало, но он быстро привык к деревцу и стал даже иногда с ним разговаривать.

– Здорово, Бонсайчик! Что у тебя нового? – интересовался Эрик, чокаясь чашкой кофе с керамическим краем горшка. – У меня пока всё в порядке, но ты об этом и сам догадался, не так ли?

Жаль, что все вопросы Эрика кипарис оставлял без ответов, наверное, считал их слишком наивными.

Внезапно давно устоявшиеся привычки Эрика начали меняться. Он, обычно по-рыбьи молчаливый, переступив порог квартиры, громко произносил: «Я вернулся!» Кому предназначались эти два слова, он толком не знал. Наверное, всё-таки кипарису – больше некому. И ему казалось, что деревце приветствовало его едва слышным шелестом своих маленьких ветвей.

Эрик регулярно поливал бонсай и удобрял согласно инструкциям, вычитанным в интернете. И кипарис чувствовал себя отменно, недаром его глянцева зелень оставалась свежей и яркой.

– Сударыня деревяшка, – ласково обращался Эрик к деревцу, – растёшь, не зная печали. Меня вчера чуть с работы не уволили, а тебе хоть бы хны!

Однажды Эрик заболел и с ужасом подумал, что его вирусом может заразиться деревце, а он не в силах будет ему помочь. С человеческими болезнями всё понятно – глотни таблетку, закапай нос, компресс на горло, чай с малиной и лежи, выздоравливай. Но кипарису аспирин и мёд наверняка не помогут.

Уже выздоровев, Эрик заметил, что кипарис пожелтел, да и крона его потускнела. С той стороны, где больше была на солнце. Эрик запаниковал, заметался в поисках средств от этой напасти. В интернете он ничего не нашёл и тогда принялся звонить знакомым. Бывшая его соседка Белла Самойловна дала разумный совет:

– Возьми растение и зайди в ближайший цветочный магазин. Там тебе наверняка помогут.

Эрик схватил горшок с кипарисом и рванул в большой торговый центр, находящийся в нескольких кварталах от его дома.

На душе было тревожно. «Нужно побыстрее, – подгонял он себя. – Деревцу, наверное, больно и каждая минута на счету!» Эрик почти бежал. Он замедлил шаг только перед магазином. Ему казалось, что все прохожие глазают на него, обнявшего увесистый горшок. Плевать ему на них! Главное – выручить деревце, а всё прочее не имеет значения.

Вот наконец-то и нужный отдел. В просторном помещении – сыро и тихо. Между длинными рядами растений неторопливо прохаживается несколько покупателей.

Симпатичная черноглазая продавщица-консультант, одетая в новенькую униформу, скучала у кассы. Она улыбнулась Эрику. Эрик, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, поставил перед ней деревце. Девушка явно ждала ответной улыбки Эрика, но он этого не понял. Он был слишком взволнован, даже побледнел.

– Вот! – выпалил он. – Что-то с ним не так! Оно пожелтело! Видите, какой у него унылый вид?

– Кто заболел? – удивилась она и пошутила: – Неужели у куска пластика поднялась температура?



– Всё было хорошо... А потом... Пожелтело... – Эрик подумал, что девушка близорука, а очки не носит. – Боюсь, я сделал что-то не так. Может, укол сделать? Кипарису моему.

– Кажется, вам укол надо сделать. Искусственные деревья не болеют. Пластмасса, выгорев на солнце, изменила цвет. Только и всего.

– Искусственное? Не может быть! Я вам не верю! – Эрик не заметил, что перешёл на крик. Его лицо покрылось испариной. Пошатнувшись, он схватился за полку с вазонами. Продавщица вскочила и подвинула Эрику табуретку.

– Вам плохо? Пожалуйста, присядьте! – Она схватила рекламный проспект и замахала им, как веером. – Может, вам валерьянки накапать? Что это вы, молодой человек, надумали в обморок падать, будто у вас случилось горе? Никто же не умер.

– Умер? – переспросил Эрик. – Ну да, неживой – значит, мёртвый. А мне что теперь делать, без кипариса?

– Господи! Другой купите, настоящий, вон их у нас сколько! Главное, что вы пришли в себя. А хотите, я сделаю вам скидку как члену общества любителей живой природы. Могу провести экскурсию по нашему отделу. Только для вас. И вы выберете себе какой-нибудь бонсай.

– Нет! Ещё заболает, а я буду страдать вместе с ним!

Он взял свой горшок с кипарисом.

– Мы, пожалуй, пойдём домой. Спасибо вам, простите за беспокойство.

– Я буду вас ждать! – пообещала девушка. – Ожидание – самая дорогая вещь на свете...

Дома Эрик водрузил кипарис на прежнее место, внимательно осмотрел каждый листочек и хмыкнул:

– Пластиковый! Тоже мне проблема. У каждого из нас свои недостатки.

Он взял лейку и, заботливо полив дерево, уселся за компьютер.

Эрик до сих пор регулярно поливает кипарис.

Всякий раз, входя в квартиру, он произносит: «Я вернулся!». Постоянно желает кому-то вслух доброго утра, приятного аппетита, сладких снов. И думает, что так будет всегда. Во всяком случае, привычки свои менять он пока не собирается.

КОНСТАНТИН ЧЕБАНЮК

STURNUS VULGARIS

БУРНАС

Странные здесь имена. . . Ладно ещё Аккерман, а то Бугаз, Буджак, Алибей, Хаджидер. Или вот — Бурнас. Странные мысли ворочаются в моей голове. . . Всё это от ожиданий чуда и разочарований на берегах степного лимана. Лежу вот, в ста двадцати километрах от дома, в пяти — от моря.

Над костерком небогатым уютно пищит чайник из консервной банки, дым стелется, подворачивает вниз по лиману, к морю. Конец октября 197. . . Солнце греет ласково, тишина, — впору вздремнуть. У костра моего мельтешат комахи, стороною птицы летают, те, что посмелее — проходят и над головой. . . А вот следом за дымом паутинка плывёт, колеблется на медленных струях воздуха. Она с пассажиром, однако: на белёсой нити чуть заметным утолщением паучок устроился, на соразмерном летательном аппарате едет по воздуху, куда надо. Сам себе смастерил, сам и пилотирует. . .

Самолётом Одесса-Тузлы-Татарбунары прилетел я на Бурнас угок стрелять. Планы, тягучие сборы, дальняя дорога, — всё позади, «теперь моя пора», теперь — гулевай, казаки! На два дня выволоч я сам себя в припонтийские пампасы! Всё наносное далеко за горизонтом оставлено.

На пустынном берегу лимана нас двое сегодня. Напарник мой ушёл в разведку боем. Он из сталинских соколов, под «миллион двести тысяч» попал бывший командир ТУ-4. На удивление легко и быстро освоил премудрости судоремонта в нашей морской конторе, и опыт ночных бомбардировок Берлина совсем не мешает ему. За глаза авиатор у нас — Боря-Лётчик. . . Сходя с трапика АН-2, умудрился я потянуть стопу, теперь вот дневалю у костра со слегка подпорченным настроением. . .

Но Буджак ведь. . . Ведь где-то здесь причудились Пушкину песни Мариулы. . . Великолепная осень. Сияет полдень, на небе ни облачка. По прибрежному откосу пологому зеленеет трава, широкая полоса у воды сплошь в бурой поросли солончаковой. Из-за гривок на том берегу выглядывают, сползают к воде языки сочной озими. Пряные запахи лимана в степном воздухе, яркие цвета, тихий шелест воды, подзабытые голоса птиц и никаких признаков долгого людского присутствия. Если забыть о пахоте за моею спиной, то легко представить самого Овидия на берегу Бурнаса. Правда, великому изгнаннику было бы не до красот осени: божественным Августом на лютую гибель определён был Поэт в наши края. Он не подсел бы к моему костерку, побоялся бы дикого всадника, который мог вылететь невесть откуда, и Скорбные элегии римлянина не томили бы в веках сердца поэтов. Но сегодня у истории здесь каникулы, угомлённая боевыми воплями тысячелетий, отдыхает она на припонтийской равнине. Тучные чернозёмы исправно вознаграждают мирные труды у земли, с воловьим упорством свершают здесь люди нескончаемую работу, — подгоняемые неспешной сменой сезонов, не наблюдают они времени. Ни суеты, ни мельтешения. . .

Я таки задремал: выстрел раздаётся неожиданно, и я «возвращаюсь». Боря стреляет куликов. Смотрю на часы: до субботней охоты час почти. «Невелик и грех», — возразит Борис на вялый упрёк мой. Армейская дисциплина Лётчика избирательна, иные ограничения для него — выдумки гражданки. Всё это я знаю заранее, но когда охотничек швыряет к костру целую вязку куличков, я конечно же ворчу.

— Да ладно, — тянет Борис. — Подшевели костёр, полные три шампура гарантирую. . .

Час-полтора, и поспекает мужской обед на свежем воздухе. Тут коллега — явный лидер, а моё дело — сушняком из посадки огонь поддерживать. Кулики ощипаны, выпотрошены, вымыты в лиманской рапе и — млеют над углями, на витых шампурах из нержавеющей стали. В каждой тушке кусочек солёного сала, соль-специи, кружками помидоры и лук тоже нанизаны, даже о синих авиатор не забыл. Наркомовские сто грамм — ясное дело — предусмотрены. Кулинар только сетует, что в маринаде мясо не выдержано, что не по полной форме. . . А я лишь носом повожу.

На пахоте замечаем гостя: через осенний перевал идёт местный. Моего возраста, сапоги, фуфайка, зимняя шапка; побриться в самый раз. Здоровается настороженно, сразу выделяет Бориса:

— Митя! — протягивает ему руку.

— Ты бы ещё Митяем назвался. . . — ошарашивает капитан мой деревенщину. — Ты именем ужасным ополчён!



– Да бросьте вы цитировать, Борис Фёдорович! – вступаюсь я за гостя.

– Бросьте... При упоминании его имени содрогалась Русь! От Белого моря до моря Хвалынского! – не унимается любитель истории. – Не Митя ты, но Димитрий!... Борис... – представляется наконец. – Ты подсаживайся: ужин у нас, шампур аккурат предусмотрели!

– Подсаживайся... – ворчу я. – Опарашили человека, набросились, что твой Годунов...

– С Годуновым ты неудачно, Николай. Борис Фёдорович татарин, а мы не из Казани – из Нижнего мы... Да садись ты, Димитрий!

Митя садится – полуложится, опираясь на локоть, – и становится похож на человека в кресле у камина.

– Достань-ка пивка, – показывает Борис на мой рюкзак...

– Пиво! – Митя смотрит на меня, как на фокусника. Он встаёт, идёт к пахоте, несколько раз ковыряет сапогом землю и – выкатывает в борозду арбуз. Заходит в кирзачах своих в воду, споласкивает арбуз, вытирает о фуфайку; кладёт к «столу», на кусок плёнки.

– Баштан тут мы с сыном заорали перед Покровой, до Нового Года кавуны в земле не спортятся, – объясняет Митя, с удовольствием видя наше удивление. Мы – с удовольствием заедаем ужин десертом из пахоты... Славно у костра. Вяло журчит беседа.

Далеко за полдень, однако. Великолепный день трогают первые признаки увядания. Всё так же тихо и тепло, но солнце в полдуба уже. Над водой зарождается дымка, в полном безмолвии чуть поодаль пролетают криквы, мелькают чирки, чирки по-Митиному. Высоко проходят королевские кроншнепы... Вот в тишину врзается пульсирующий, свистящий шум. Верчу головой: невысоко, вдоль лимана летит пара лебедей. «Красиво идут, – комментирует полёт авиатор. – Уступом вправо!» Немыслимое зрелище! Лебеди летят действительно парой, в полуметре друг от друга. Напряжённая работа длинных крыльев кажется недостаточной для удержания в воздухе огромных птиц. Но легко и ровно летят лебеди, и досадно быстро стихает рыпение вспоротого воздуха, а птицы растворяются в дымке, будто привиделись.

– Хорошо тут, – говорит Митя. – Из города?

– Да, девятичасовым.

– Автобусом?

– Нет, самолётом.

– Так не летают же!

– Отчего ж, три рейса!

– А, вы из Одессы, – догадывается Митя. – А я думал из Белгорода: Одесса – то далёко...

– Охота пуще неволи, – поучает Борис. – Как тут, северная подошла уже, не знаешь?

– Кто?

– Северная, говорю. Утка.

– А, не знаю. Зайцев у нас тут много!

– Мы по перу нынче: заяц закрыт ещё. А мяса мы в Дивизии купим, на следующие выходные Алибей намечаем. Далеко тут?

– Как вы говорите, Алибей?

– Ну, лиман же, – показывает Боря на запад. – Не знаешь, что ли? До ярмарки в Дивизии далеко?

– А!.. Лиман та й лиман, а то... Я рахитом своим час еду, километров двенадцать.

– Что за рахит-то?

– Т-24. Я у Шевченки трактористом. Механизатор широкого профиля.

– Совхоз что ли?

– Колхоз, что украл – твоё.

– Да, формула известная, – мрачнеет лётчик. – А цены в Дивизии как? Картошка, куры там, яйца...

– Яйца... Смитгё! – обижается Митя. – Кто тут яйцами торговать вам будет? У меня коло хаты пятьдесят курок; может, сто. Десяток яиц или скоко там – каждый день? Машину зерна в июле, вот это, завёз, – целый год тебе несутся!

– Мне... Как это ты – завёз? – цепляется Борис к человеку.

– Так сам же, в уборочную! Сутками комбайнуем и возим, с сыном. С армии в город метит. В Белгород. И как вы там живёте?.. У нас тут тихо, чисто. А Шевченко – справный дядька: с любым выпьет! Начальства б поменьше...

– Подальше от начальства – поближе к камбузу? – ехидничает Борис.

– А то! Понаедут и токо дай! С района, с самой области. А так – жить можно.

Костёр догорает. Меркнет день. Пора выступать нам. Засобирался и гость наш.

– Спасибо, хлопцы! Пойду я. Зашли б завтра – индюка зажарим: о то дичина! – косится Митя на Бориса Фёдоровича. – Хорошо у нас тут, отдохайте от своего асхальта. Моя хата – крыша жёлтая, одна на всю Босогляновку. Прямо о так риллэй, а там – озимка под самые сады. Возшла этот год – ковром идёшь. А пахнет как!.. Заходите когда, жёлтая крыша под орехом... – И Митя идёт вдоль пахоты, выкатывает арбуз и – ступает на перевал, шагает, как по тротуару. Наискосок, чуть в гору, в невидимую свою Босогляновку, где так просто ему живётся. Странно подействовали на меня разговоры механизатора, тихая зависть к мирной жизни в доме на краю озимого поля оборачивается во мне досадной неприязнью к городской суете нашей. Хорошо бы оживить костерок да послушать степь в одиночестве...



Однако, небо уже поблекло, близкие сумерки торопят. Заметно посвежело, но обычное к ночи предчувствие неуюта не угнетает меня. Я на прекрасной земле, хорошо здесь не мудрствующим лукаво... Как и нам ныне.

— Шо вкрадэш — то твое... — цитирует вдруг Боря тракториста. — Механизатор, приводной ремень сельхозпроизводства... С воровской философией своей он нас накормит!

Ладно, на охоту приехали, не буду комментировать... Пора идти уж.

— «Вот сыростью холодной с востока понесло». А, Николай?

— Да, Борис Фёдорович, только с моря, оно здесь на юге...

— Я уже сориентировался, надо бы камышики испытать, там она может держаться... Ходьбы-той всего ничего тут...

...Ружьё, патроны, то-сё — сколько тащишь на себе, три дня потом плечи болят, как оттоптаные... Выступаем, расходимся, я — вверх по лиману, Боря — спускается к морю... Стою без выстрела до темноты. Борис тоже возвращается ни с чем, хотя и стрелял в стороне... Вот уж действительно «в тихие ясные вечера охота на перелётах недобычлива», кажется так у Сабонеева. Развожу костёр. Разбор полётов, наметки на утро — всё, как обычно. Снова и снова «поздно вышли, не там стали, у камышей вся шла»... Я, напротив, умиротворён. Надышался свежим воздухом, малость подустал. Отдохнём до утренней зари, послушаем степь и лиман, а там — снова пытаться неверную нашу удачу. У камышей, где «она вся шла»...

— Да ладно, Борис Фёдорович! Прекрасный день, прекрасный вечер, впереди прекрасная ночь у костра. Давайте вашу кружку: чайку попьем! — останавливаю я оратора.

— Заболтались с твоим Митяем и с выходом завозились... Машина зерна, это ж... — вдруг снова вгрызается лётчик в тракториста. — Пять тысяч булок, на год хлеба целому селу!

«Негушки, не заведёте, Борис Фёдорович...», — думаю себе лениво и вспоминаю о завтрашнем дне... Завтра нам домой добираться с рюкзаками, с ружьями. Перемазанные все, заросшие. А там ещё понедельник, будь он неладен. Нет! В этом году не поеду больше.

Ночь. Костёр догорает. Хорошо бы соснуть...

— Я тоже против известных строгостей. Действительно — за дюжину-то колосков, как говорят. — Борис Фёдорович подбирает слова, он знает о моём неприятии «известных строгостей» и разбуженное механизатором представление своё о строгом порядке и справедливом законе старается выразить помягче. — Но ведь не воровала моя мать! Отец в тридцать втором ушёл вниз по Волге за жратвой и сгинул, а мы с братом по сю пору живёмхоньки...

— А мы с сестрою не подошли в сорок шестом только потому, что мать макуху у колхозных свиней воровала! Отец тоже сгинул. Но в сорок четвёртом, да ещё и «без вести» умудрился. На государственной макухе жировали: мне десять, сестре пять! Что с нами было делать, особенно с матерью преступной, а? Её — в тюрьму бы, нас — в детдомы в разных концах Союза... Настоящими гражданами выросли бы, с правильным отношением к державной макухе! — таки завёлся я...

Боря — умолкает, нервы у него моих покрепче... Вот уж сказано: всё своё ношу с собою...

За правым плечом повисает бледный огрызок луны. Будто высочил из-под горизонта. Серый, безмолвный; бесполезный. Что твой соглядатай, приходит мне в голову вычурное слово и зловеющий образ. Догорел костёр, остатки тепла едва сочатся из-под пепла. Одежда напитывается влагой. Не согреться и не уснуть толком, хоть и не ложись.

— Вот ты кричишь, но ведь пять тонн пшеницы! Это ведь называется в особо крупных размерах!

— Да что вы к бедному Митяю прицепились? Может, он полуторку завёз, а не студебеккер, и, может, по квитанции. И не пшеницы вовсе, а полбы?

— Ты то кричишь, то шутишь, а вот пару-тройку таких ловкачей расстрелять в той же Дивизии, и порядок быстро навели бы! — решается лётчик на крайние меры против Мити, пока тот мирно спит под жёлтой крышей.

— А вы сами стрельнуть готовы?

— Да я-то тут причём? Отработана процедура, определённая служба организована...

— Видите, как невинно у вас: процедура, служба, а говорим о бандитском убийстве в застенках... Так что, сыну вашему — ПППП в руки, машина с песочком для гигиены, как в Китае...

— Всё, Николай, спим. Ложись давай! Утреннюю зорю прозеваем...

Какой там сон... Ветер запохаживал. На луну напозлают ключья прозрачных облаков. Среди раздутых углей вдруг ярко вспыхивает что-то, огонь слепит, и всё вокруг костра погружается в промозглую тьму. Мрак подступает к самому бивуаку нашему, окружает на расстоянии вытянутой руки, и мне мучительно хочется оглянуться. Я знаю, за спиною нет узкоглазого лучника в кожаных штанах, но чувство опасности холодит некую точку между лопаток. Где бубнового туза нашивают...

Пыгаюсь заснуть, но странные топонимы снова завертелись в голове. Тузлы, Буджак, Бурнас...

— Борис! А, Борис! — цитирую вдруг Юродивого. — Читал я где-то, что из-за скрипа телег и рёва верблюдов не слышно было человеческого голоса на площадях осаждённого Киева...

— Спи давай! Снова ты о татаровях, не к ночи будь помянуты. С чего бы это?

— Да вот — «Бурнас, Бурнас». Да и вообще тут...

Неуютно тут. Непокойно, голо, сыро. Плоско. Как на ладони сидишь. Ещё и стопа ноет... Неуютная, противно хлопает вода. По дурному кричат и кричат птицы. «Глупый пингвин», — вспоминаю вдруг дурацкое ударение... Да, ребята, «всё своё ношу с собой».



МОНАСТЫРСКИЙ ФУНИКУЛЁР

Старинный мой приятель является из Ленинграда всегда неожиданно, без всяких предупреждений.

– А в Архангельске скоро черёмуха зацветёт, – слышу я от калитки.

– Юра! Заходи! А что, на Неве – отцвела уже?

– За вами не угнаться! Клубнику уже съели! Я в самолёте от мужика услышал и аэрофлотовской конфеткой подавился. В раю живёте, никак не привыкну. . . На море, нимало не мешкав! Утром автобус на Николаев, дела на «Носенко». Пошли!

– Пошли-пошли, мне пора сезон открывать!

– Ты это всерьёз или одесские шуточки?

– Юра, какие тебе шуточки: помидоры непасынкованы! Но подождут, идём!

Утощая северянина гостеприимным морем, непременно водил я его на поповский берег, как называли на Фонтане, дальнем одесском пригороде, уютную заводь под монастырём, прикрытую отрубистым мысом от ветров северной четверти. Ещё после войны ходили мы туда через монастырь, спускаясь по узкой тропке с крутого обрыва глиняного. Но со временем всё изменилось: образовалась патриаршья дача, восстали заборы, запретительные указатели, и ходить «к попам» стали мы через разрушенный при румынах санаторий. . . И вот, мы внизу, у воды, тихой, «как в кастрюле». В программе у нас – помимо купания до одури – мидии в собственном соку. Пару раз слазили в свежую воду, надёргали мидий, запалили костёр. На огонь – кусок железа, и жаровня готова. Теперь – мидии ровненьким слоем. Сидим, усердно помешиваем. Дыма от влажного плавника предостаточно, но закуриваем: ритуал! Ждём и посматриваем на Сяву, а он из-под ног бычков таскает поминутно. Он здесь, говорит, с рассвета: «Вчера Кацапчик пришёл сигарету стрельнуть и сказал, что бичок берёт пострашному. Пришёл проверить», – объясняет Сява и как бы оправдывается, – ловля бычков ему не по рангу. Сява под тридцать, но он едва ли не со школы обладатель угромого опыта, засвидетельствованного наколками и фиксой жёлтого металла справа сверху. Напористая говорливость сразу располагает к невысокому ладному парню, но постоянная улыбка не вяжется с внимательным взглядом из-под приспущенных век, и всякий в общении Сява остаётся на определённой дистанции. С пренебрежительной медлительностью поворачивается Сява в нашу сторону и шутит по поводу возни у костра. Но дело у нас серьёзное, и уже потянуло пряными ароматами дозревающего деликатеса. У нас ещё и пара бутылок чешского пива, прилетевшего утром из Ленинграда. . . Я доволен: угощение морем и мидиями рафинированного интеллигента с берегов Невы ещё и колоритным Сявой расцветивается.

В пятидесяти метрах от нашей жаровни спускается вагончик монастырского фуникулёра. Из вагончика выходят две молодые женщины и мальчик лет десяти. Направляются в нашу сторону. Женщины с зонтами, у мальчика через плечо бинокль в чёрном футляре. Рассматривать странноватую компанию не с руки, но сразу видать: издалека товарищи. Мальчик в коротких отутюженных штанишках и матроске, как я на довоенной фотографии, к тому же разговаривает он то по-русски, то по-французски. . .

– Добрый день! – говорит одна из женщин. – Мы, извините, рассматривали сверху ваш костёр, и молодой послушник не смог нам объяснить, а вот наша французская гостья интересуется, что это вы затеяли с устрицами?

– Это мидии, мадам, – учтиво говорит из воды Сява и слегка улыбается, чтоб только великолепная фикса чуть показалась. – Это во Франции устрицы с лягушками, а мы мидии кушаем! – нагло лыбится Сява, а женщины тихо разговаривают по-французски.

– И что, вкусно?

Я вынимаю изо рта порезанный при нырянии палец, но Сява опережает меня:

– Пять минут – и можно будет пробовать!

Русская переводит, французженка, как я понимаю, искрится от восторга. Мы шевелим мидии, они уже полураскрыты, пахучий сок пузырится с тихим шипением. Сява лезет из воды, швыряет на песок кукуан с полусотней бычков и, не вынимая изо рта сигареты, пробует.

– Готово, берите! – приглашает Сява гостей к нашим мидиям.

– Подожди ты, Слава, пусть малость проварятся, – вставляю, наконец, и я слово.

– А что ждать, они же их сырые едят! – возражает Сява.

Пробуем. Гости под Сявины объяснения оттопыривают мизинчики, а мальчик воздерживается после мягкого французского настояния русской. В ход идёт пиво из Чешских Будёевиц, но женщины отказываются: бокалов нет у нас, а «из горла» они не умеют; тем более, что у нас две бутылки на троих. . .

– Мы спрашивали, но молодой послушник не знает: скажите, какими машинами соорудалась траншея для фуникулёра?

Французженка слышит родное слово «траншея» и оживляется, что-то уточняет и даже говорит не безызвестное нам «о, ля-ля». Я сам толком ничего не знаю о машине, да и палец у меня во рту. Но Сява знает всё и объясняет незамедлительно.

– Машинами? – блеснит Сява фиксой на французскую гостью. – Володя Недбайлык лопатой прокопал!



– Лопатой? – удивляется наша переводчица.

– Да-а. Легко и просто, даже выкидалки не надо, земля прямо в море сама летела. Лопата с подножкой и сапоги ещё, – подтверждает Сява с уточнением.

Русская запинаясь переводит, указывая на Сяву. У неё очевидные сложности: как я понимаю, она говорит женщине с берегов Луары что, по заявлению вот этого человека, траншею в стометровом обрыве прорыл некий Владимир Беззаботный. Садовой лопатой с каким-то приспособлением для ноги.

– Один! – вскрикивает француженка и показывает Сяве красноречиво оттопыренный указательный свой пальчик.

– Он хотел, – врёт Сява дальше, – но не вышло.

– Да-да, о, ля-ля, – понимает Сяву мадам. – Такая работа!

– Та нет, – тянет Сява и картинно морщится. – За канаву эту монахи выставили два ящика водки. Недбайлык прикинул: копанки дней на десять, самому выпить тяжело будет; он собрал бригаду, и за неделю справились.

– За неделю! Сколько же человек? – визжит француженка.

– Ну, считайте: сорок бутылок водки, пусть пять дней, так? Человек пять, – тщательно высчитывает Сява.

– Это невозможно! Лопатами! – и наша быстро что-то тараторит по-французски.

– А что тут такого, – Сява, ни разу не державший в руках лопату, уже и сам себе верит. – Инженер отмерил, Володя каблуком наметил и – вперёд, ребята. Ну, может, шесть человек, не больше, – определяет Сява окончательный состав землекопов.

Наша читает целую лекцию мадам и мальчику. Она жестикует, копает, тычет рукою в сторону широкого наклонного жёлоба, разрезавшего почти вертикальную стену жёлтого обрыва. Оттуда на осыпь внизу сползают по шпалам рельсы к бетонной площадке у самой воды. . . А Сява расстроен, ему тяжело выпасть из центра внимания.

– Кушайте же мидии, устрицы сварились, мадам, – расшаркивается Сява, надавливая на шипящие, и гости наши отдают должное незамысловатому блюду диких одесских пляжей. Сява сверкает фиксой, поминутно подправляет кок великолепной своей канадки, – жизнь продолжается. . .

– А что это за Недбайлык? – спрашивает вдруг молчаливый мой ленинградец.

– Володя! В клёше парусовом ходит, усы казацкие. Водолазом или кем на Балтике служил до войны. Его на Золотом каждый день можно встретить: он там по вечерам пьёт контрольную кружку водки и стаканом пива запивает. За обкомовской дачей живёт, – Сява говорит об очевидном только для местного, и я обещаю Юре показать вживе нашего Недбайлова, который живёт над Золотым Берегом в маленьком домике, явно не по росту двухметровому хозяину. Француженка участливо кивает на мой палец, напоминает, что нужно перчатками пользоваться. Мы узнаём, что она из французских православных, что гостит у представителей нашей миссии во Франции, что у них сейчас отпуск. Великолепный день в разгаре, завязался лёгкий бриз, и слегка посвежело. Но на воде нет и ряби; странное слово «бунация» говорят у нас о таком море. С мидиями, между тем, покончено, иссякло пиво, и Юра сует бутылки в наш рюкзачок, – я, было, отбросил стеклянную тару на осыпь. . . Визитёры благодарят нас, прощаются, и скоро открытый вагончик фуникулёра втягивает их по склону «траншеи» в жёлтую глиняную прорезь, увозит в непонятную жизнь в параллельном мире.

Однако, Юра мой откровенно томится, ни остатки пиршества собирателей, ни прелести июньского Эвксина не интересуют северянина, голова его отвёрнута в сторону фуникулёра. «Пойду-ка гляну», – говорит он, наконец, и направляется к черноризцу, который дневалит на нижней площадке; долго говорит с монахом. Они наперебой тычут руками вверх по склону. Юра человек дотошный, он поднимается по лестнице вдоль рельсов, спрыгивает на глину и рассматривает стену, даже шупает иссушенные солнцем откосы.

– И что он там забыл? – пожимает плечами Сява. Плечом, сказать поточнее. . .

Юра возвращается. «А ты знаешь, ведь и впрямь лопатами прорыто», – говорит.

– От ты даёшь! – удивляется и Сява. – Лопата с подножкой – вот и вся тебе техника.

– Какая работа! Нас, Николай, размерами не удивить. Ты же был в корпусах Молотовского завода, как пирамиды торчат над Белым морем. А поперечный спуск на Красной кузнице, а плавучие доки в четверть километра. . . Но сложно мне представить, как подходит человек к самой кромке обрыва, смотрит вниз, кричит славянам, чтоб поостереглись на песочке, и вонзает лопату в землю и начинает невообразимую, бесконечную работу. . . И всё это «без чувства упадка и уныния», за два ящика водки. Какая отвага!..

Сява подвязывает к цветастым плавкам кукан, лезет в воду. В уголке рта сигарета. Вот Сява поворачивает голову, смотрит через плечо на фуникулёр, и его скула и плечо двигаются друг к другу: Сява недоумевает, его жесты красноречивы. «А ведь, действительно», – как бы говорит Сява. . .



НОЧНОЕ

Из опасных забав, подброшенных нам Войною, самой безобидной была реактивная порошин.

...От пушки с военэра берёшь трубку, – в карманах в школу приносили. Как карандаш, чёрная такая, гладкая, – зелёные не годятся, зелёные не летают. А чёрную – подпалил и наступаешь ногой, где горит. Порошина тухнет, но дымит и шипит, потом начинает летать, по земле и по воздуху. Девочки кричат и смешно подпрыгивают... Конечно, лучше бросить в костёр запал или патрон винтовочный. Незаметно. Правда, глаз может выбить: сидим же вокруг. А вот автоматный или от ТТ патроны почти не опасные, только стреляют в костре слабо. А лучше всего кидать в люк гранаты, немецкие с длинной ручкой. Как рванёт – камни с пылкокой на двадцать метров из дырки вылетают, потом токо смотри. Но это не в школе, это, когда корову или козу на военэре пасёшь. Кидали со старшими. Слива говорил, что прибьёт, если гранаты кто найдёт, а ему не отдаст, – если сховаешь от него, чтоб самому кинуть. Павка Рега в люк не попал, так Ивана Шамо наповал, ещё троих – покалечило. А Павке ж давно четырнадцать. Сам он упал, ему только подошву от американского ботинка разрубало, и он похромал дня три. На военэре много такого валялось, в подземных ходах под пушками, в развалах, – даже целые снаряды! На винтовочную пулю похожие, только здоровые. Совсем, даже взрослый не подымет. Их без гильз заряжают, потом только порох ещё добавлять надо, в белых мешочках. А стреляло всё равно здорово, даже до Очакова добивали. Сам Шурик Ангелов рассказывал. Шпугину.

Что и говорить, впечатления что надо, на всю жизнь... Но сколько игр, просто игр настоящих затевали мы на широкой Рыбачьей, на правом склоне нашей балки! Плавню вьётся она, бывшая река, вьётся-скользит к Золотому берегу. По руслу – наносы, песок в промоинах, в жару – трещины. За Амундсена, дальше большого моста тёмное ущелье в скале водою промыло. Ещё бы! – после сильного дождя целая речка к морю и бежала. В ущелье шум, воду несёт – страх один. А когда зимою много снега падает, и талая вода стоит потом, балка наша совсем раскисает, болото целое. Чтоб в школу идти, по маленькому мостику, под тётей Килей ходили.

Но блеснёт солнце, обсохнут склоны и – пошло-поехало! «Сало», румынское «мясо», цурки, отмерной, как стемнеет – жмурки. А зимой!.. Холодно только, зимой холодно... Шум, смех, а ещё качели, гигантские шаги, – мамы не дозвутся, бывало. Бывало и влетало нам: дома ж работы – успевай поворачиваться. Полоть, сапанка, когда вода в кране есть – поливать, потом опять сапать. А бабушке фрукту рвать – с лета аж по ноябрь, до первых каникул... А с шестого или седьмого класса ребята в колхоз, насовсем уходили. Трудодни взрослым добавлять, чтоб норма выработки получалась, а то требовали.

Но из всех полузабытых игр, изо всех забав и забот наших выделялась ночная пастьба коней. Колхоз 20-летия Пролетарской Революции доверял ребятам табун лошадей пасти! В сопровождении, правда, Штели, Васьки Штеляка из нашего класса, но он три года в Войну потерял. Посидел с нами до весны и ушёл насовсем, до Сиволапенки в конюшню. Он коней не боялся, особенно когда стреноживал, когда пригоним: надо же прямо под шею подсесть, чтоб поводом ноги перевязать, прямо над копытами. Васька как крикнет «прымись, ножку», так лошадь сама ногу подаёт, как собака! Он всех коней по имени знал, а на кобылах ездить не разрешал нам, потому что они жеребные...

Надвечер – гоним табун. По Цыганской, сразу через рельсы, от Амбатело – уже полями... За Гириных, за бабушки Гани землянку... И глинище позади остаётся. Всё дерезою взялось, не видно, где залезать... Мокро там, темно даже днём, а ночью не то что подойти – вспомнить страшно. Там вон, слева, Червоный. А сразу за садами, через балку – Ульяновка. Её у Роты какого-то забрали. У него дед Саша окулировать научился, а потом по рублю в день зарабатывал. Но это совсем давно, до Японской ещё... А так вот если прямо, далеко-далеко, там с вечера молодой месяц сел, – Штеля деньги ему показывал, – там стоит в темноте хутор Тайберт. Только и слышно в колхозе: под Тайбертом, за Тайбертом. В косовицу снопы оттуда гарбами возят. На гарман, и день и ночь, под молотилку прямо... Там в колодец столкнул бык ульяновскую тёлку. Она с головой потонула, а по ночам слышно, как стонет.

Человек шесть вокруг костра, один ещё – спит на соломе. Слушал, слушал наши разговоры, и – сморило, заснул, чуть в костёр не упал. Штеля сказал ему, чтоб лёг на солому, что до коней сам ходить будет... Лошади, хоть и в путах, – разбредаются попаски, и мы ходим их наvertать. По двое. Жутко от тёплого огня спускаться по росной траве в низину. Темно – глаз выколи, а глинище ж рядом, и дреза ещё, выше роста... Хоть бы собака гавкнула. Смотришь, слушаешь, но ничего, слава Богу... Начинаем скучать. «Ну что! – весело заговаривает Штеля. – Картошки никто не притырил? А хлеба?»

Картошка давно съедена. Хлеба ни у кого и не было... Иссякли страшные рассказы. Далеко за полночь. Мёртвая тишина. Иногда лишь доносится пофыркивание и тяжкое переступание лошадей.. Ночное не забава, но тягучая пастушья работа, даже среди подростков ночное на любителя... Все подустали, куняют. Один только Штеля с постоянным «пойду глянуть» часто исчезает ненадолго в темноте...

– Вася! Слышишь, Вася? – говорит кто-то резко.

Все повернули головы в одну сторону. И слушают, и слышат. Пьяная песня? Или жалоба цепного злюки? Или – вой... Невнятный заунывный звук лишь угадывается. Как когда юнкерсы подлетали: и



не слышно, а слышишь... А через минуту вспыхнут прожекторы, заревут, завоюют зенитки вокруг. Тут же засвистят бомбы... По Одессе, а кидали над нами. И жутко, смерть над головою и вокруг...

– Волк! – говорит Штеля громко. – За Тайбертом.

Тайберт... Опасные места. Ещё и тёлка в колодце... Там и шныряют они, голодные. Ему коняка на один зуб... Все придвигаются к огню, а Штеля идёт во тьму, глянуть... Сзади – завозился один, сел на соломе, смотрит... И вскакивает, и с криком бежит... Никто не бросается следом, не останавливает его. Нет у костра взрослых, нету бабушки Саши. Никто лунатика не перекрестил, не разбудил тихой настойчивой скороговоркой: «Проснись. Господь с тобой, Господь с тобой, Господь с тобой. Проснись»... Все молчат, даже о волках забыли. Слушают невнятное бормотание в балке. Вот и Штеля возвращается, наконец. Снова уходит, и скоро возвращается. Сам... Не нашёл...

Но вот по небу над морем муть разливается, – ночь на исходе. Лошади не пасутся, придвинулись к людям. Стоят понурясь, шумно вздыхают. Обходим табун. Подогнали кого и натолкнулись на спящего беглеца. Свернулся калачиком на сырой траве, а будить надо осторожно. Не помнит ночного наваждения, смотрит, удивляется. «Пошли, пошли, Кева»...

Замечательно быстро, весело развидняется. Даже вроде потеплело. Все громко разговаривают, ночные страхи ушли вместе с остатками противной мути предрассветной. Виднеются Гирины за дере-зою глинища, бабушки Ганина землянка. А вон же дяди Алёшин виноградник! Сразу за посадкой, с куренём, со сторожами, – что ж тут страшного... Домой! Там тепло и сухо, у мамы под утро – жаровня запеканки из кормовых буряков и макухи, малай ещё называется. Вкусно, когда захолонит – только дай!

Уже потом – рассказы, воспоминания, и продлятся они всю жизнь, – чья подлиннее, чья покоро-че... А одному из нас, весело едущих за табуном верхи, не намеряно и малого... Как же звали его, как выглядел он... В какое старьё был одет?... Но завтра – гнать ему череду на военэр, и там станет он вывинчивать из противотанковой мины крышечку медную. Хорошие биты для «пожара» получаются, если ещё и свинцом залить... И никогда больше не поехать ему в ночное. Видели только, как забежал в блиндаж и как рвануло... Теперь на военэре – Мемориал. Батареей у нас называется. А когда-то говорили – военэр.

STURNUS VULGARIS

Заезжать на хутор Гайгер Николай Ильич не планировал, но притормозил, когда из старого парка донесли до трассы соловьиные трели. В шумной компании воробьино-скворцовой молодежи пел соловей. Как тут было не удивиться и не обрадоваться: так поздно, в июне соловья услышать!

Николай Ильич решительно развернул велосипед и по подъездной аллее покотился к старому дому. Спешился, потащил машину свою через кусты, прямо на голос. Чтоб поближе было. Соловей замолчал, Николай Ильич расстроился. Постоял, постоял и пошёл к дому. Прислонил велосипед к стене, защёлкнул замок на заднем колесе, поднялся на крылечко в две-три ступени. Через пустой дверной проём вошёл в коридор.

Вошёл, и постоянный здесь дух нежилья, запустения окружил Николая Ильича. Проёмы без коробок, выломанные полы, вскрытые стенные дымоходы, чёрные, в смрадной саже... И мысль о дикости изменений, обрушенных зачем-то на мирный степной хутор, как всегда раздосадовала Николая Ильича: «Лучше б уж на хибары свои, на сараюхи разобрали. Смотреть больно. И чего заходить было». И Николаю Ильичу тут же захотелось выскочить, уйти куда подальше от давно умирающего дома, как от постели тяжелобольного, который уже и сам себе не рад...

– А вы тут шо? – за спиной Николая Ильича мужик с ночи нечёсанный; топор в руке, откровенно рассматривает гостя в соломенной шляпе.

– Да нет, я соловья слушал, – Николай Ильич смотрит на топор и сразу с толку сбивается.

– Соловья? В хате? – иронизирует нечёсанный. – О тут о-о? – уточняет, поводя топором – рука у самого лезвия ладно лежит на топорнице.

– Да нет, там вот, у штабовой софоры...

– Де-де? – переспрашивает нечёсанный подозрительно. А по коридору, между тем, понесло человеком, концентрированным духом перегара. Николай Ильич – интеллигент в первом колене, тяжёлый запах этот для него не то что знакомый – родственник. Но Николай Ильич переходит на дыхание ртом: несколько отвык...

– Понимаете, я прогуливаюсь, катаюсь на велосипеде тут...

– Тут! – поводит мужик топором.

– Да нет же! Через Люстдорф до Бурлачъей, мимо Таирова, я и туда иногда заезжаю, за ихним фирменным...

– Это где, на массиве? – оживляется мужик.

– Да нет, институт это, над Сухим лиманом. Виноградорства и виноделия. Изучают, понимаете?

– Ясное дело, изучают, – откровенно разочаровывается собеседник Николая Ильича.

– У меня день рождения вместе с Пушкиным. Если не по старому стилю, а по новому, то совпадает... – Николай Ильич понимает, что и сам бы из слов своих ничего не понял, и поправляет очки.

– Вы что, до революции родились? – тарачится мужик.

– Да нет же, это Пушкин!



– Пушкин! Пушкин – ясное дело!

– Я на девятой по двадцать девятому трамваю живу, уже домой поворачивал. Я тут на велосипеде кругом катаюсь и по Люстдорфскому шоссе...

– Де соше, а де Тайберт! – указывает мужик на очевидную нескладуху, топором...

– Так это же я гулял. Прогуливался! – у Николая Ильича слово «моцион» всё время на языке вертится, но он просто поправляет очки и сдерживается и, не дыша, проскальзывает мимо топора на свежий воздух. – А тут слышу – соловей поёт! А ведь июнь уже: потерял, видно, самочку, другую зовёт...

– Котяра сожрал! – мужик решительно тычет в пространство топором.

– Вообще-то соловьи невысоко гнездятся, иногда и прямо на земле...

– Эта тварь скрозь достанет. Скоко я перебил их тут.

– Кошек?!

– Петлэй ловлю, с телефонного провода.

– Ну да, жалко только.

– А то не! Такого голуба забрал перед майскими вот это, – и мужик показал топором, когда это перед майскими. – Я сам собирался голову ему скрутить, так забрал, скот...

– А вы что, своих голубей едите?

– А то чих же! Такой пилаф – за ухами трещит! Я уже и рису купил кило, цыбуля-морква... Он, тёхкает.

Николай Ильич повернулся в сторону жеста, соловей снова пел. Чёткие рулады солиста не смешивались с нескончаемым гамом жёлторотой молодежи. «Как голос Шаляпина над хором», – подумал вдруг Николай Ильич.

– Поразительно: соловьиная пора ведь миновала, они сейчас уже тургеневскую Орловщину веселят... Пойдёмте к софоре, послушаем... – понизил голос Николай Ильич.

– Не, надо коз перепнуть.

– Коз? А вы что здесь?

– Так это, сторож.

– Сторож? А что тут?

– Так дом же: покинь – мигом растаскают.

– Да-да... Какая кладка! Лет сто тридцать ракушняк стоит! Без шпукатурки: туфа не надо! – оживляется Николай Ильич. – Крышу подновил, столярка, полы, и живи двести лет ещё!

– Кто! Кто тут шо делать будет? Какие там полы! – ухмыляется сторож.

– Кто? Хозяин! Был ведь!

– Кто? Может ульяновские – хозяева? Понагораживали клетунчиков, дымоходы по всех стенках нарубали, – сколько раз горели!

– Да нет! Вот вы говорите Тайберт, а правильно – Гайгер! Хутор этот построил Владимир Гайгер, немец-садовод. Слыхали? – Нет, сторож не слышал ни про какого садовода. – Саженцы по всей России рассылали, контора в городе была. С телефоном! А все говорят Тайберт...

– Тайберт-шмайберт – какая разница!

– Ну, знаете, за именами судьбы людские!

– А вы, часом, не родич того немца?

– Да нет! Хотя тётя моя была в первом браке за сыном хозяина.

– От, я как знал! – обрадовался сторож. – Тут одна с месяц как была тут. Тоже говорила, что племянница, и – на тебе, ещё один племянник!

– Да нет же! Это даже не тётя моя, это жена дяди Алёши, дяди моего, – поправил Николай Ильич очки и зачем-то добавил, – крёстная моя, тётя Наточка покойная...

– Всё равно получается, что племянник! Как та. Сирень вон копала. Ей говоришь, что поздно, что цветёт уже, что не прійметса, а она копает. Копает и плачет. На Урал куда-то повезла, на память, говорила. От же смешная баба: копает и плачет.

– Да-да, – Николай Ильич нашарил в кармане ключи и пошёл велосипед отстёгивать. – Какая кладка: швы по два миллиметра, туфа не надо!

– Да! Я тут на сарайчик простенки все ульяновские – совхозные – развалял, плиты тоже, с дымоходов все кирпичи повыбивал. Хорошие, довоенные, видать. А стенки попробовал – куда там, только искры от лома, – и сторож демонстративно ткнул топором в желтовато-серый ракушняк, вырезанный из-под молодой Одессы, когда город не гордился ещё великолепной своей лестницей.

– Что, не берёт? – осмелел Николай Ильич и на топор кивнул.

– Та, тут и так фатает: я он с какого-то памятника тоже кирпича набрал.

– Это же военная могила! Братская...

– Всё, уже кустами взялась.

– Да-да... До свидания, товарищ сторож. Пойду к софоре, послушаю.

– А где это как вы говорите?

– Да вон же: японская плакучая софора – на европейской привита. Видите, какой штамп высокий, теперь так не прививают, больше ста лет дереву! Собственнокорневые тоже у нас растут: не обращали внимания, возле оперного?

– Возле какого?



– Возле оперного театра, справа от входа. Не бывали . . . там?

– Слышал. Как-то автобусом заехал, заснул с перепоею. Сын ещё смеялся с меня, говорил, что надо было на театр пойти посмотреть.

Нечёсанный зевнул, потянулся. «По некоторому размышлению», – с неприязнью поморщился Николай Ильич, и решил, что самое время ехать: разговор на разных языках утомил его. . . И хотя соловей возобновил состязание с молодью, Николай Ильич подумал, что не с руки слушать великолепные трели под дурацкий аккомпанемент скворцов желторотых. «*Sturnus vulgaris*», – с неприязнью подумал Николай Ильич о скворцах, как если бы латинское их имя было бранью. . . И слышал лишь удары топора по паколу и шум машин на «соше». Николай Ильич нажал на педали и покатил по просёлку, вдоль дальней межи городского кладбища. Гримаса досады не сходила с лица именинника, и он ловил себя на невнимании к дороге под колесом.

ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ

КТО НА ТАЙВАНЕ, КТО В КРЫМУ

ЦЕЛИ, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, И ЗАДАЧИ

1.

Страна нуждается в разброде,
чтоб сообразно полюсам
крутоворот войны в природе
расставил точки по местам,
чтоб явлен в обрамленьи клира
всему и ничему не брат,
очередной спаситель мира
дал искупительный парад,
чтоб разгулялся не особо
простой народ и, наконец,
чтоб невзначай не встал из гроба
туда отправленный мертвец
и самовыражался прах
в каких-нибудь иных мирах.

2.

Теперь ежу понятно, вроде,
а вместе с ним тебе и мне,
зачем при всём честном народе
страна нуждается в разброде,
а мы нуждаемся в стране,
когда не в этой, так в другой,
дай Бог была бы под рукой.

3.

А если есть миры иные,
то, чувствую, нужны мы там,
как позапрошлогодний иней,
да и не по моим летам
являться в зеркалах кривых
и верить в атомы другие, —
я к нашим атомам привык,
мне тут хватает ностальгии
по мною покинутым мирам,
и пусть ничуть я не тиран,
порой зализываю раны —
ранимы, Бог ты мой, тираны...

4.

... неужто правда светит солнце?
Ну как там индекс Доу-Джонса?



ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

Без чувства долга исполнения
уходит наше поколение
ни в чём особо не замечено, —
зато времён блюдя финифть,
не слишком век давил на плечи нам,
чтобы себя не уронить.

Нам фарт был брат, и прямо смолоду
мы не попали в лапы голоду,
с войною как-то обошлось,
а если были войны малые,
на них обычно генералами
ровесники срывали злость.

И не пугая мир кокардами,
мы мирно подвизались бардами,
а тот, кто с этим завязал,
ворочать начал миллиардами
и — за него, конечно, рады мы —
то купит яхту, то вокзал.

И вот сидим дождливым вечером,
материально обеспечены,
кто на Тайване, кто в Крыму,
донашивая души вечные,
всё так же миром незамечены,
хрен его знает почему.

БРЕМЯ

Отставить, что ли, жалость —
пускай трепещет враг,
нам покорить осталось
ещё народов сорок,
а, может быть, и меньше,
или, допустим, больше —
возьмем себе их женщин,
хотя не в этом соль же,
не в мороке победном,
удушливом, как детство,
но даже если в этом,
нам никуда не деться.
Что ж, господа — под знамя
и с песнями на гадов,
тем более, что знаем,
чего от нас им надо.

ИНТРИГА

Испанцы проиграли,
а немцы не успели,
и вот опять мы в зале,
где все полишинели —
и каждый вдох наш ценен,
и каждый выдох тоже,
и лишь для нас на сцене
зло лезет вон из кожи,
и вдохновляясь нами,
оно уже дар Бога,
и мы пока не знаем,
куда кому дорога.



ЧУЖАЯ ВОЙНА

В знак протеста хоть умри, да
 есть на свете лишь коррида
 и коллегия ЧеКа —
 я болею за быка,
 потому что, правда, Петь,
 за кого еще болеть?

В мокром деле явно спец
 хомо сапиенс-подлец —
 хорошо бы для почина
 замочил его, бычина,
 прежде, чем сложить рога —
 жаль не выйдет ни фи́га.

Здесь не так себе актёры,
 но от Бога живодёры
 всем упрекам вопреки,
 и похоже, что таки
 правы граждане Мадрида:
 возвышает дух коррида,
 как ни жаль мне вас, быки.

ВЕСЕЛИЕ РУСИ

Пусть жизнь пока не изумруд,
 а смерть подавно,
 в России взятки не берут,
 причем исправно.

Бывает, взятка хороша
 и взять несложно,
 и за душою ни гроша —
 но разве можно?

Нельзя — конечно же, нельзя,
 помилуй Боже —
 и не мздоимствуют князья,
 лакеи тоже.

Кто их морально подковал,
 что замесило,
 нам не понять, но какова
 традиций сила!

МОЛИТВА

Господь, на вещи глядя здраво,
 даруй нам крепостное право
 и заводской верни гудок
 на веки, а не на годок, —

глядишь, и не уронят марки
 помещики и олигархи,
 попы, вояки, всякий сброд
 и мы, им преданный народ.



ПОСЛЕ ФИЗИКИ

В ушах звенит, в зубах навязло,
в глазах практически погасло,
и не особенный секрет,
какое Бог добавит масло
в почти законченный портрет,
который он со всей любовью
определит в свой кабинет —
и с благодарностью сыновней,
давай же выпьем за здоровье,
поскольку лучше тоста нет!

ЗАПИСКИ НЕ ВРАЧА

Чтобы сделаться медбратом,
он поклялся Гиппократом
и остался в преисподней,
потому что так народной,
а ведь мог бы в облаках
делать стойку на руках,
только кончил он врачом —
жаль, что я тут ни при чём!

Мне бы тоже в амбулансе
день и ночь кружить, как в вальсе,
развозя не для полочки
граждан, что дошли до ручки,
мне бы, как процесс ни труден,
ставить капельницы людям,
шины класть на переломы,
да выгаскивать из комы,
и была бы лишь работа
чистить почки у кого-то,
подключая к аппаратам,
только я не стал медбратом.

Не хочу лечить чуму,
сам не знаю почему,
и холеру не хочу —
видишь очередь к врачу,
хоть в натуре, хоть во сне:
помни — это не ко мне!

ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ

Кто угопил Муму
и кто распял Иисуса?
Счёт предъявить кому,
зависит лишь от вкуса,
и кто б ни правил бал,
будь, жизнь, хоть в том права ты,
что те, кто пострадал,
ни в чём не виноваты.

И молодая, и старушка,
глупей она или умней,
конечно, женщина — игрушка,
и доиграешься ты с ней.



Ишача в поисках кормушек,
 порою даже сыт вполне,
 я первым делом раб игрушек —
 без них на кой свобода мне?

Не дай Бог твякнуть не в ту степь,
 поймешь, что ты за цаца —
 дана команда сесть на цепь,
 и псы на цепь садятся,
 а скажут — в ключья разорвут
 условного паяца —
 чему же удивляться тут,
 чему не удивляться?

RATIO

От всего живого толку
 никакого никому,
 звёзды светят втихомолку,
 потому что потому.

Продолжение банкета,
 словно сам в себе вещдок,
 но давно не верит в это
 дорогой товарищ Бог.

Он и впрямь такой же древний,
 как любое мастерство —
 первый парень на деревне,
 где что с Ним, что без Него.

ВЕЧНЫЙ ПРОЛОГ

Время пустит с молотка,
 море слижет языком, —
 жизнь вселенной коротка,
 что ж волнует дурака,
 колокол звонит по ком?

Но в припадочном дыму
 на воздушных, словно взвесь,
 поглощая тьму саму,
 звон по Богу твоему,
 если ты, конечно, есть.

ДОВОЛЬНО СКОРЫЙ

Намечается концовка,
 от чего не отвертеться —
 это что за остановка?
 Это остановка сердца.

Может, сыты вехами,
 может, нет — да важно ли —
 все равно приехали,
 выходите, граждане!

РИТА БАЛЬМИНА

НА БРУКЛИНСКОМ/КРЫМСКОМ МОСТУ

Я просто иду домой
По улице неродной,
По городу неродному
К такому чужому дому,
К родному чужому мужу,
Который небрит, простужен
И ждёт из другой страны
Письма от своей жены.
Я просто иду с работы,
Минуя большие лужи,
Уже прохудились боты,
И нужно готовить ужин
Больному чужому мужу,
Который устал от каняля,
Которому стало хуже,
Которому тоже страшно.

Все двери давно закрыты,
Двуногие спят в тепле.
Дворняга по кличке Рита
Прижалась к чужой земле.
Ни шороха и ни звука —
И думает вслух она:
«Бездомная злая сука,
Не вой на меня, луна!..»

Песочные часы идут без боя,
А бой в песках идёт не первый час,
В песок стирая камни под собою,
Не ставшие надгробными для нас.
Глаза песком забрасывает страх:
Его частицы в воздухе протретом
В стекло спеклись, оплавясь на кострах,
Под целящимся в небо минаретом.
И пахнет мясом — жареным, горелым.
На минарете снайперы засели —
И тишина чревата аргобстрелом,
А смерть не пролетает мимо цели.



И мир уже висит на волоске
 Из бороды языческого бога,
 Которому опять приносят много
 Напрасных жертв, лежащих на песке
 Часов песочных, где проигран бой,
 И время замкнуто самим собой,
 И, перевёрнутое, сыплется обратно...
 Когда песок сомкнётся над тобой,
 Гордись, герой, уставной несудьбой —
 Не кратной времени, отвратно-ратной.

Корявый пень, замшелый, заскорузлый,
 И свет давно угаснувшей звезды,
 И древней речки высохшее русло,
 И допотопных ящеров следы,
 Старинный герб на выцветшей купюре,
 Лет двести пролежавшей в тайнике...
 И в будущих веках и их культуре —
 Поэзия на русском языке.

На самом деле было хорошо
 Спать у костра в обнимку с чужаком,
 И в ледяную воду — нагишом,
 И по безлюдным скалам — босиком.
 И падая в косматую траву,
 На варварском наречье этих мест
 Шептать ему, что грежу наяву,
 Что здесь мне никогда не надоест.
 Но твердо знать, что это эпизод:
 Через неделю, если повезёт,
 За мной сюда вернётся вертолёт
 И на Большую Землю заберёт.

ЛИШНЕЕ ЗАЧЕРКНУТЬ

Всё утро
 в объезд добиралась на работу
 из-за аварии
 на Бруклинском/Крымском мосту.
 Весь день лепила
 ангелов/орлов/львов/тельцов,
 покрывая золотом/лаком/матом.
 Весь вечер
 уговаривала сына
 не драться в детском саду/
 не курить марихуану/
 не разводиться с женой.
 Всю ночь снился
 недавний/возможный теракт
 в школе/в ресторане/в кинотеатре
 за океаном/за углом.

ПАВЕЛ ЛУКАШ

ДУША РЕИНКАРНАЦИЯ НИРВАНА

СНЫ И ПРОБУЖДЕНИЯ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Приснилось, что за мной бегут слоны.
А впереди ни дома, ни жены,
и ничего... и никуда не скрыться.
Глубокий страх меня не покидал...
И Африки я раньше не видал –
какая-то чужая граница.

Культуры нет, архитектуры нет,
и каждый – обязательно брюнет...
Себя во сне мне было очень жалко.
Очнулся – перепуганный дебил...
А лунный свет подушку теребил,
и, в самом деле, было очень жарко.

Мне снилось лето, музыка, закат
и самый знаменитый музыкант –
из тех, кого мы помним и поныне.
У каждого свой Моцарт, потому
я тоже обратился к своему
словами: «Дорогой мой Паганини!

Пожалуйста, сыграй на скрипке мне,
и, если можно – на одной струне
и что-нибудь такое, если можно,
поскольку я от музыки далёк...».
А он купюру спрятал в кошелёк
и мне ответил: «Это нам не сложно».

Я пробудился, получив ответ.
А за стеною трепетал рассвет,
ушла жара, и воздух стал чудесен.
Автобусы пока ещё в депо,
и все виденья по Эдгару По
развевались под звуки птичьих песен.

Но было не уснуть, и наяву
я вспомнил, что неправильно живу –
не то чтобы в невежестве и страхе –
могу жалеть, могу не обижать,
а чтобы впрямь кого-то уважать,
так это не заставят и на плахе.



Всё правильно: с какой-то стороны
авторитеты – те от сатаны,
с другой – не сотвори себе кумира.
И всё же (как полцарства за коня),
будь целый мир в запасе у меня,
я отдал бы кому-нибудь полмира.

А, может быть, всё это суета:
не голод и прикрыта нагота,
сказать точнее: сыты и одеты...
Я высших идеалов не сберёг,
и сам прагматик вдоль и поперёк.
Кумиров нет – одни авторитеты.

Познанием тайны маня,
от роли своей хорошея,
сказала одна ворожея,
что ангела нет у меня,

но, в общем, я выкручусь сам.
Поскольку сей факт обнаружен,
на то, что мне ангел не нужен,
не стоит пенять небесам.

И всё же досадная весть:
пока человек полагает,
что кто-то ему помогает,
то ангел, наверное, есть.

Он был. И тогда посреди
теперь уже прежней печали
звучал шепоток за плечами:
«Поверь, позвони, приходи...»

Но это сказал бы любой,
кто попросту ополоумел.
Мой ангел, наверное, умер –
возможно, покончил с собой.

У меня наихудшее лето
за последнюю тысячу лет.
Я любителем стал бы балета,
если б ты танцевала балет.

Я взобрался бы даже на крышу
ради нашей любви неземной.
Но приходится слышать и слышу,
что тебе хорошо не со мной.

Замираю от сказок и басен
про любовь лебедей и китов
и на всё, что угодно, согласен,
но, конечно, на всё не готов.

Понимаю, тебе не годится
жить во лжи, ты не хочешь – во лжи,
и права, можешь этим гордиться.
Что неправому делать? Скажи...



А на вопрос: «Придёшь на именины?»,
один ответ — я отвечаю: «Нет».
Мне противопоказан яркий свет,
дым сигарет, вино и мандарины...
Гулянок не люблю — не то, что ты.

Мне всё равно сегодня до изжоги
курить и пить вино до тошноты.
И вспоминать и подводить итоги:
раз не живу среди твоих пенат,
без публики и всяческих прелюдий,
и не вхожу в твой маленький сенат,
где все смешались в кучу — кони, люди...

Владею креслом — пристань кораблю —
от пуфика для ног до изголовья,
а пью когда хочу и что люблю
и неизменно за твоё здоровье.

Утро осеннее — иго монгольское.
Бродит собака-калека...
Муторно вдруг — на душе что-то скользкое —
я не люблю человека...

Время, по-своему, очень не своё —
время хандры и потерь.
Я четверть века любил человека
и не люблю вот — теперь.

Холодно-холодно — видишь дыхание? —
не середина июля...
Утро осеннее, утро нахальное,
да и собак не люблю я.

Где обделяли милостью природу,
в другом миру, в этнической смеси,
я вдруг поверил (через пень-колоду):
Барух ата еси на небеси —
душа реинкарнация нирвана —
что очень странно, и — не очень странно,
какая, впрочем, разница — Спаси...

Сменились время, место — что осталось?
Работа-волк? Но в лес не убежишь...
И вот опять поверилось — под старость —
что Это — есть любовь... и это — жизнь!
Как мальчик во саду ли, в огороде...
Ной говорил по пьяни что-то вроде —
с той, что тебя несчастней, не ложись.

А ты была несчастной и... уютной,
в какой-то мере сделалась родной,
и всё же ты была сиюминутной,
для ирреальности — непроходной:
пусть у тебя тех жизней — что у кошки,
игривый нрав, пленительные ножки...
Но тут — не меньше вечности одной.



В той жизни – ты мне что-то уделила:
духовность? страсть? ажурное бельё?...
О, нет! Не Саломея, не Далила...
Всё очень мило – только не моё...
В той жизни ты любовь сжила со свету,
и я, признаться, следуя совету:
дышите глубже – задушил её.

Я хочу приготовить тебе романтический ужин:
электрический свет, бутерброд с колбасой, алкоголь.
Шутка, блин! – ведь умею, когда не запойно-простужен
и доподлинно знаю, откуда взялась эта боль.

Чтоб горела свеча откровенно и судьбоскрещённо –
поминальная, блин! – та, что целые сутки горит.
Будет тихая ночь, словно после отстрела чечена,
даже не просечём, как с звездой звезда говорит.

Как насчёт неподдельных икры, коньяка и лосося?
Хорошо бы блинов, только плитка хреново печёт.
Мне сейчас уже двадцать – сказала бессмертная Зося.
Ей сейчас уже сто – как стремительно время течёт...

Хватит реминисценций, и больше браниться не буду.
Предпочтенья бывшие и давний жаргон тербя,
говорю лишь о том, что пора бы довериться чуду,
и пора бы понять, что оно это я – для тебя.

В когда-то сожжённый, затем перекопанный сад,
не шлю приглашений: «пожалуйста, будьте любезны».
Куда тебе можно скабрёзные письма писать –
в какие такие твои виртуальные бездны?

Хотя не один на писательской ниве пашу
(надеюсь, толково, а может быть, чуть бестолково),
но, не сомневайся, такое тебе напишу –
другие тебе никогда не напишут такого.

Достаточно им создавать муляжи в мираже
уверенности, будто что-то придумали сами.
Но плохо всё то, что другие умеют уже,
лишь то хорошо, что ещё никогда не писали.

По этой причине порой вообще ни гу-гу,
пусть месяцы, годы, но в этом одно из отличий,
что даже плохое я плохо писать не могу,
маньяча по поводу литературных приличий.

ИННА БОГАЧИНСКАЯ

ПОД ДОЖДЯ СТЕНОГРАММУ

РОЖДЕНИЕ ДНЯ

Отправляется в Лету,
Как в бессрочный вояж,
Предрассветных молекул
Ненасытная блажь.

Задержавшись некстати,
Как хмельной космонавт,
Эту тайну зачатья
Подсмотрела Луна.

И прикинулось прошлым
То, что было вчера,
Будто точечный профиль
На картине Сера.

Заподозренный в грешном,
Беспричинно пока
Недозревшей черешней
Покраснеет закат.

Проливается мглистость
В подсинённый бокал,
Будто ночь-фаталистку
Разукрасил Шагал.

Пробивается хрипло
Сквозь рассветную щель
То ли облако-скрипка,
То ли – виолончель.

Потянувшись спросонок
На виду у миров,
Зажигается Солнце
В исполнении Миро.

В человеческом стиле
То в слезах, то шутя,
От совместных усилий
Появилось дитя.

СТИМУЛЯЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Под дождя стенограмму,
под говор компьютерный,
Под тюремность больниц,
под крахмальность гостиниц,



Я никак не пойму,
понимая, как будто бы,
Для чего меня
жизнью земной угостили.

Обращаюсь к святым
и к зачитанным классикам,
К преуспевшим, к потерянным,
к вещим, и к лишним.
Мне одни говорят,
что всерьёз меня сглазили.
А другие советуют
выпить «Столичной».

Я, выходит, одна,
как бездарная школьница,
Завалила экзамен,
ответов не зная.
То прямые искала пути,
То — окольные.
Но свела меня с толку
дорога земная.

Соблазняюсь её парусами
и пальмами.
Хлопочусь с чудаком.
Завожусь с попугаем.
Голосую за рвань.
Славлю поросль опальную.
И, помимо мышей,
никого не пугаюсь.

Породнившись с потерями,
с магией поиска,
На посланья с Небес
не устала молиться.
И, хоть вирусом вакуума
щедро наполнена,
Остаюсь
неразменной
максималисткой.

Не терплю полумер,
получувств, полудоблести,
Оборотистых туш
с пародийным апломбом,
Инкубаторский лик,
отмороженный добела,
Но с дежурным набором
рецептов салонных.

Зарядили меня
чем-то очень неназванным.
Так приёмный покой
Заряжён ожиданьем.
Так всегда в эпилоге
приходит признание,
А на взлёте, как правило,
Голос бодают.

Все сюжеты недаром
выходят испетыми.
Механизмы не старились.
Схемы менялись.
Так же шли на костёр.
Так же бредили петлями...
Вот кого-то к барьеру зовут.
Не меня ли?..

ЧТОБ ПОТОМ...

Будто в Космос открытый,
нырнёшь из кольчуги жилища,
От чаёв недопитых,
от кокона одеял
В мир, где кто-то корону,
кто – корень бессмертия ищет,
И где каждого кто-нибудь
вдоволь за век осмел.

Отрываем тела,
начинённые стейком и смуром,
От постельных площадок,
от снов, от гипноза TV,
И клюём по нужде
мы на беглую милость Амура,
Чтоб потом отрезветь
от глотка уценённой любви.

Замыкаемся в логове
неизъяснимых влечений,
С телефоном в кармане
и с бипером наперевес,
Наблюдая, как мир
упивается пиром весенним,
А потом на застенки зимы
распадается весь.

Воздвигаем проблемы.
Клонлируем чудо и чуждость.
За соседским забором
считаем кусты и кресты.
Неужели для счастья
нам именно это и нужно,
Чтоб потом, не раскрывшись,
на каверзной ноте застыть?

Конвертируем ложь.
Дегустируем сущность и суши.
Опаляемся травкой.
Утратам теряем счета.
И с годами становимся
овеществлённой и суше,
Чтоб потом окончательно
закостенелыми стать.

Перед сном комментируем
сводку погоды и биржи,
Кто кого разменял. Кто запил.
Кто – в Париж укатил.
Кто слагает по праздникам
вялотекущие вирши,
Чтоб потом зачислять себя
в сан мелководных светил.

Не случайно стыкуется
компас вины и причины,
И бледнеет Луна,
как проигранное пари.
Так зачем мы ломаем дрова
и поломки не чиним,
Чтоб потом донимать себя
и долгосрочно корить?..

ВАДИМ СКИРДА

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ РАСХОЖДЕНИЯ

рассказ

Он не мог понять их, они не могли понять его.

В комнате для допросов собрался целый консилиум из компетентных граждан. Во главе стола восседал майор Соболевский, Александр Владимирович, человек с жёстким, но неприметным, как это принято сейчас говорить – непроницаемым гэбистским лицом. Кроме него в комнате присутствовали ещё четыре человека, трое из которых явственно принадлежали к некоему импровизированному Синедриону а-ля Древняя Иудея, правда священником из них был только один – отец Ферапонт – седенький, атипично сухонький старец в традиционном православном одеянии и с довольно таки скромным крестиком из не самого драгоценного металла. Он сидел по правую руку от майора, по левую же расположилась симпатичная дама средних лет с умным лицом и ухоженными руками – Вера Васильевна Кузьмина, психолог, доктор психологических наук, заведующая кафедрой и прочая, прочая. Подле неё нервически прохаживался взъерошенный молодой человек, тоже доктор и, что характерно – тоже не медик – доктор физико-математических наук, физик-теоретик Владимир Николаевич Невинный.

Но центром мизансцены, несомненно, являлся пятый присутствующий, на которого в данный момент были направлены взоры остальных – странного вида человек, находившийся ровно напротив майора на противоположном конце удлинённого металлического стола типично казённого вида с наглухо прикрученными к полу ножками. Почему он казался человеком, а не полноценным участником Синедриона? По-видимому потому, что он находился в очевидно подчинённом положении на месте подсудимого или же подследственного, со втянутой в плечи головой, искоса поглядывая на своих мучителей из-под лучей прямо бьющей в глаза жёлтым электрическим светом лампы. На вид ему можно было дать смело от тридцати до пятидесяти, был он немного, что называется, лысоват и несколько подслеповат, что, впрочем, не мешало ему выглядеть человеком с открытым, заслуживающим доверия лицом и ясными глазами.

– Товарищи! – веско начал майор Соболевский, уверенно ощущая себя хозяином положения, да и кому ещё быть хозяином в настоящем не слишком дружественном помещении. – По первоначально я должен объясниться – с чем связан ваш визит в наше учреждение. А случай, я вас уверяю, действительно экстраординарный. Всё дело в этом... гражданине. По оперативным данным, он обладает, в некотором роде... всеведением. Ну или что-то типа того, что конкретно – нам с вами и предстоит выяснить. По крайней мере, нас он просчитывает на раз. А здесь, как вы понимаете, закрытое учреждение, государственная тайна! Уровень угрозы стабильности общества – беспрецедентный. А теперь-то, конечно, у нас на него свои виды. Более того – вас, а именно: Священника, Психолога и Физика заказал, то есть – попросил вызвать для облегчения коммуникации он сам. Нам же обратиться к вам помогла наша служебная картотека... Прошу не переживать, нашей организации нужно всего лишь ваше экспертное мнение. Ибо, боюсь, без вашей помощи мы не сможем адекватно понять друг друга.

Майор говорил так, будто бы пятого в комнате не было вовсе, или же он был пустым местом. Видимо, таковым он и был для майора, вернее – это майору хотелось так думать. По многолетней службистской привычке Соболевский привык рассматривать своих оппонентов на допросе в качестве неких полусказочных несуществующих мифических животных, пришедших в его мирок из своего, обычно недоступного проницанию пространства, таковыми ему казались пришельцы из-за границы, всевозможные шпионы и подозреваемые. В данном же случае он был близок к истине по своим ощущениям как никогда...

– Кстати, товарищи, пока вы можете глотнуть воды, – скупым кивком головы он показал на старомодный графин со стаканами, аккуратно расставленными на стеклянном подносе вокруг него. – Кто хочет – можете курить. Я, с вашего позволения, тоже... Итак, начнём. Сейчас я зачитаю выдержки из рапорта офицера патрульно-постовой службы, обнаружившего этого... гражданина:

«27 декабря сего (2012) года, в 18:15 мною, младшим лейтенантом Пискарёвым, при выполнении патрулирования Центрального Округа города Москвы в районе станции метро Якиманка был задержан находившийся без документов гражданин, предположительно, под действием наркотического опьянения, назвавшийся Иммануилом...»

– Как, простите? Иммануилом? – оживился отец Ферапонт, на его узком лице с юношески жиденькой седой бородкой поочерёдно промелькнули выражения удивления и интереса, впрочем, так же

быстро сменившиеся сосредоточенной самоуглублённостью. — Иммануил — это означает «С нами Бог», очень интересно...

— Именно так, святой отец, — подтвердил майор и тут же добавил, обратившись к сидящему напротив него человеку, — так ведь, Иммануил?

Человечек неуверенно кивнул.

— Интересное имя, — вступила Вера Васильевна, — натура цельная, но противоречивая.

— Если позволите, я продолжу, — с несвойственной ему вежливостью произнёс Соболевский, — так...

«...назвавшийся Иммануилом ограбил продуктовую палатку гражданина Ованесяна, заказав шаверму, даже и не пытаясь за неё расплатиться, как если бы это было делом само собой разумеющимся...»

...ишь ты, он ещё тут и в умозаключения пускается, талантливая молодёжь, ничего не скажешь, — прокомментировал Соболевский, — а, вот:

«...на вопрос: «Чем будете платить?» — он ответил: «Не знаю. А зачем? «После чего пристально посмотрел мне в глаза и сказал: «Вы человека убили. Сутки тому назад». Довожу до вашего сведения, что мной действительно был застрелен гражданин Рыбакидзе при задержании от 25.12.2012, что было отражено в рапорте того же числа. Что есть информация секретная, неподлежащая разглашению, знать которую человек, назвавшийся Иммануилом, никак не мог. На вопрос — откуда он знает, ответил: «А разве это не видно всем?» На предложение пройти в участок сопротивления не оказал. Ни денег, ни документов, удостоверяющих личность, ни холодного, ни огнестрельного оружия, ни наркотических, ни взрывчатых веществ при себе у гражданина обнаружено не было».

— Подтверждаете ли вы написанное, гражданин Иммануил? — теперь уже напрямую к Иммануилу обратился Соболевский.

— Да, подтверждаю, — впервые произнёс Иммануил. Его голос оказался таким же бесцветным, как и он сам. Либо же он намеренно хотел произвести таковое впечатление.

— Великолепно. А теперь — не соизволите ли поделиться своими источниками информации? Вы же видите каждого, не так ли?

— Так. Например, вы...

— Молчать! — резко ударил ладонью по столу майор. — Меня не интересуют ваши примеры. Ответьте чётко на поставленные вопросы! Это понятно?

— Да.

— Хорошо.

— Итак — ваши источники информации?

— Ну, если лицо человека можно назвать источником информации, то тогда это оно и есть...

— То есть — вы читаете по лицу?

— Не совсем. Скорее — по его ореолу, по впечатлению от лица...

— Так-так, исчерпывающий ответ, — разочарованно произнёс майор. — И так — уже несколько часов. Ничего более внятного извлечь из него пока что не удалось. Вы просили для лучшего понимания привести к вам психолога, батюшку и учёного. Они перед вами. С кого начнём?

— Если позволите, можно мне... — немного смягчила обстановку психолог Кузьмина. — Товарищ... Иммануил, можете ли вы не спеша, по порядку вспомнить всё, что с вами случилось? Что вы помните?

— Я помню всё, провалами в памяти отродясь не страдал, — спокойно ответил Иммануил.

— Так. Хорошо. Значит это не амнезия и не травматический шок. Уже лучше. Скажите, когда у вас началось... это? То есть — с какого момента вы начали видеть то, о чём мы только что говорили? Идёт ли это из детства, возможно — какая-нибудь травма, испуг...

— Отчасти вы правы, — сказал Иммануил, — шок действительно был. Не далее, чем три дня назад.

— Прекрасно! А до этого — вы были такой как все?

— Да. Я и сейчас такой. Разве вы — не видите?..

— То есть — вы хотите сказать, что предполагаете наличие способностей, аналогичных вашим, у всех?

— Предполагал... Теперь это очевидно не так. Иначе я вам был бы без надобности.

— Хорошо. Давайте по порядку. Опишите то, как это случилось с вами.

— Всё было как обычно... День как день. Я был — менеджером. Сейчас это страшно вспомнить — но по продажам. Неважно чего. Пока на нас всех не обрушилось это...

— Это? Что это? Финансовый кризис?

— Если бы. Хотя — и он тоже. Третьего дня назад... ПРОСТО ИЗМЕНИЛСЯ МИР. Это как если бы молния от горизонта до горизонта... И все мы прозрели. Сначала — это было чудовищно — смотреть в глаза близких людей и видеть там то, что по сути и так предполагалось, но — не в такой же форме! Нематериальный, тонкий или как его ещё можно назвать — план, до того лишь гипотетически предполагаемый, как предмет веры, духовный мир стал неожиданно виден всем без исключения. Все бесы и идолы вышли наружу, лики потемнели, и уже буквально минут через десять-пятнадцать стало возможно безошибочно различать — что лежит на душе у человека, за какой грех — какой изъян реального духовного лика. И, как выяснилось, ничего хорошего там не содержится. Очертания души изломанные и обугленные перекрыли собой плотские лица. И это — видели все! И меня! И я...



Было воочию заметно — каких душевных мучений стоили Иммануилу эти воспоминания. Психолог Кузьмина налила в стакан воды и протянула его подследственному. Тот — жадно припал...

— Светопреставление. Это — светопреставление, — уверенно и как-то смиренно-отрешённо в наступившей паузе выговорил отец Феррапонт.

— Вы полагаете? — оживился майор. — То, что было предсказано в Откровении?

— Несомненно, — подтвердил батюшка.

— То есть, перевожу на человеческий язык — Апокалипсис оказался всего лишь, если можно так сказать, некоей неожиданной видимостью тонкого мира, его очевидным проявлением. Грубо говоря — Апокалипсис видимости или видимость Апокалипсиса... Тогда почему же он утверждает, что это увидели все, но — не мы? Неужели — с нами что-то не так?

— Воистину. По грехам и награда...

— Позвольте? — вмешался до сих пор молчавший физик-теоретик Невинный. — Не знаю как насчёт грехов — сие есть субстанция пока что нами не просчитываемая, но раз изменилась видимость, то, по всей вероятности — произошло изменение спектра воспринимаемого глазом излучения. Если даже предположить, что этот тонкий, или как там его — духовный мир, есть проявление полевой формы жизни, чисто энергетической, без материального воплощения, то вот — свет, например. Он тоже есть субстанция энергетическая. И волновая, в зависимости от точки зрения наблюдателя. Наблюдатель — это мы с вами. Так вот — свет, чем вам не готовый тонкий мир? Самый что ни на есть! Просто его глаз разглядел ещё какой-то иной, другой, дополнительный свет. Расширил восприятие. Такое иногда происходит под воздействием психотропных препаратов. Но — раз таковые у него выделены не были, то... Возможно, тут всё дело в пространстве... Вернее — пространствах. Произошло расхождение оных. Какая-то аномальная склейка. Пробой реальности. Ультрафиолетовая катастрофа... Это пока что навскидку. Потребуется более точные измерения.

— Час от часу не легче, — выдохнул Соболевский. — А что на это скажете вы, Иммануил?

— Скажу, что примерно так и думал, — ответил Иммануил. — Я просто шёл по улице и вдруг понял, что здесь всё по-старому. Те же спящие лица. Та же механическая немотивированная суета... Такого не могло быть у нас. Там — всё остановилось... Деньги — перестали стоить хоть что-то, про них просто забыли на второй же день. Вопрос собственности перестал существовать. Никто не брал ничего лишнего, кроме самого необходимого. Такие понятия, как бизнес, выгода, корысть, принуждение, насилие — рухнули в одночасье, как и не было, а вспоминать о них стало стыдно и мучительно больно. По прошествии первоначального шока день на второй-третий лики людей стали разглаживаться. Стало ясно — предельно чётко и однозначно, что милосердие есть наиболее оптимальная тактика и стратегия коллективного выживания. А милосердие — это такая субстанция, которой много не бывает. Равно как и любви... Причём, если до этого кое-кто во что-то робко пытался верить, что-то там такое себе фантазировать, то теперь это просто стало известно. Самоочевидно. Механизм функционирования реальности проявился сам собой, это как кинематика — если ударишь кием по шарик — тот и покатится. Точно так же и в остальных делах: убьёшь — и уже никогда этого не скроешь, ни от кого, а не только от какого-то там предполагаемого страшного суда. Какое там! Суд здесь и сейчас. Точно так же и со всем прочим: украл — фактически изуродовал себя. Ну, можно сказать — свою карму. Только теперь она написана на лице. Причём — сразу же. Так сказать — наказание без отсрочки исполнения. Многие многое переосознали. Пересмотрели свою жизнь. Кто-то покался, кто-то попросил прощения. Кто-то простил. Я и думать не мог, что где-то есть место, где это не так. А оно — есть. И это — можете мне поверить, ужасно... Я чувствую себя не оправдавшим высокое доверие войти в новый мир, меня как будто бы отбросило назад, в какой-то провал, пропасть, расщелину между мирами...

— Очень любопытно, — после некоторой паузы сказал майор Соболевский. — Но меня в первую очередь интересует правоохранительный аспект. Вот вы говорите: украл-выпил — в тюрьму, сразу же, здесь и сейчас. Великолепно! А чем изволите объяснить своё поведение? Например, нежелание расплатиться? Вы же уже осознавали, что находитесь здесь, а не там? А тут денежки ещё никто не отменял.

— Осознавал... — ответил Иммануил. — Но я надеялся на милосердие, там у нас это работает, как часы, это уже таковая привычка, а к хорошему, как известно, быстро привыкаешь...

— К-хм... — откашлялся майор. — А что же случилось у вас там с органами власти? Они-то как отреагировали на творящийся... прошу прощения — беспредел? А как ещё назвать ситуацию, когда каждый берёт всё, что тому заблагорассудится? Работать-то кто будет? Да и регулировать как-то это всё нужно. Учёт и контроль!

— Об органах власти — ничего не могу сказать... — ответил Иммануил. — Как-то не задумывался. Я думаю, что они стали как все... Зрячими. Со всеми вытекающими.

— Так-так. Значит — хаос. Разброд и шатание. И такой дивный новый мир вы нам тут так разрекламировали? — не унимался майор. — Ладно. К этому мы вернёмся. У кого ещё какие-нибудь будут соображения?

— Иммануил, можете ли вы описать, как это было? Я имею в виду переход из вашего мира в сюда? — продолжил настаивать на своей теме физик, — Сопровождалось ли это какими-либо визуальными или слуховыми эффектами, не изменилось ли чувство гравитации, атмосферного давления?

— Пожалуй, нет... — во взгляде Иммануила угадывалась определённая симпатия к молодому человеку. — Хотя — дышать мне здесь определённо стало сложнее. Что-то давит, но я не уверен, что это

физика. Физикой я и сам интересовался. В особенности – теорией множественности вселенных Эверетта. Предполагаю, что все мы гуляем по пересекающимся ветвям событий, но никогда такой переход не давался так тяжело. . .

– Эверетт – это да, уже кое-что объясняет, – ухватился за мысль Невинный. – Для несведущих – немного поясню. Это строго математическая теория, пока что так и не нашедшая своего окончательного подтверждения в реальности, многими считается умозрительной и псевдонаучной. Она предполагает, что каждым сознательным волевым актом свободного выбора, осуществляемым человеком – вселенная расщепляется на несколько параллельных. Но – всё в рамках теории вероятностей. Например, вы думаете – закурить или не закурить. Потом – вы достаете сигарету и закуриваете. При этом вселенная разделяется на две – одна, в которой вы закурили, и вторая, в которой не закурили. При этом не может возникнуть третий вариант, в котором вы закурили сигару. Ей просто неоткуда взяться, вероятность возникновения её из воздуха асимптотически приближается к нулю. Фактически – полный запрет вероятности. Если, конечно же, эта сигара не лежала у вас в кармане рядом с пачкой сигарет. Точно так же эти вселенные могут и склеиваться, ведь вы в любом случае – и там, где вы закурили, и там где нет – рано или поздно, скажем, выйдете через эту дверь. Так вот – этот выход может синхронно сосуществовать в обоих вселенных. А поскольку природа – субстанция экономная, то ей выгоднее не два раза осуществлять ваш проход сквозь одну и ту же дверь, а один раз, общий и абсолютно идентичный для обоих вселенных. Это и есть точка склейки. Теоретически – с ними можно работать. И вот, кажется – перед нами готовый пример.

– Интересно, а рак лёгких – это тоже такая склейка? – скептически поинтересовался майор?

– Можно сказать и так. Ведь его развитие не сильно зависит от одной сигареты, особенно, если в день вы выкуриваете по пачке. Следовательно – рано или поздно. . .

– Ох уж мне это ваше «рано или поздно», пахивает какой-то обречённой неизбежностью.

– Ну не всё так мрачно, майор. Зависимость рака от курения не такая уж прямая, но – вероятность увеличивает значительно. Так вот – если уж говорить совсем общо, то картинка вырисовывается такая: общий итог каждой жизни есть смерть. Это, кажется, очевидно, не так ли? И вот эта смерть – тоже есть склейка нескольких равных вариантов жизни. Это как волосы, собранные в пучок – откуда бы ни произрастал каждый отдельно взятый волос – в итоге они сойдутся в одной точке, образно говоря.

– Любопытные у вас образы, товарищ Невинный. . . – задумчиво протянул Соболевский.

– Я, кажется, понимаю, на что намекает наш молодой друг, – вновь прервал своё эпическое молчание священник. – Вы хотите сказать, что в конце концов каждого ожидает свой локальный и неизбежный Апокалипсис – смерть называется. Это если смотреть на вопрос с нашей, религиозной точки зрения. Тут тебе и преображение, и смена видимости, и не только видимости. . . Мытарства, к примеру. Да ведь это то, чем, фактически, мы – как заправские мытари – тут и занимаемся по отношению к этому несчастному. Или – же счастливейшему из людей. . . Разве не смерть есть попадание сюда обратно, в эту *пред-апокалиптическую* реальность? Разве не крошится она, эта реальность, как мел или, допустим, ещё какой-нибудь равный алмаст у него в руках? Скажите, Иммануил, а не пробовали ли вы вернуться туда, откуда пришли?

– Я и сейчас тоже пробую. Но. . . вижу лишь вас, – ответил Иммануил.

– Ещё бы. Смерть – это такая штука, откуда нету пути назад, для всех, – подтвердил отец Ферапонт. – За исключением, конечно же, Господа нашего. . .

– Понятно. Локальный апокалипсис в отдельно взятой душе. Красивая версия. Кстати, – Невинный перевёл взгляд на майора Соболевского, – а ведь где-то здесь, в нашем мире должен бы существовать и его двойник – не пробовали его найти?

– Такая мысль к нам приходила, – улыбнулся майор, явно довольный своей проницательностью. – Но пока что безрезультатно.

– Понятно. . . Судя по всему, произошёл синхронный переход в обе стороны – наш Иммануил ушёл в. . . *пост-апокалиптический* мир, присутствующий же – наоборот, вернулся в наш, счастливо миновавший сей участи. Произошло классическое Расхождение. Они просто напросто разминулись.

– Счастливо ли? – неожиданно вернулся в обсуждение отец Ферапонт.

– Простите? – переспросил Невинный.

– Ну, вам, как человеку невинному, – в словах священнослужителя скользнула лёгкая ирония, – это простиительно. Но – вы сказали «счастливо миновавший сей участи». Я бы не был столь категоричен.

– То есть, святой отец, – снова вступил товарищ Соболевский, – вы считаете, что для исправления мира сего этого – изменения видимости, если верить словам гражданина Иммануила – достаточно? Причём, видимость-то как раз штука безусловная, в неё уже не следует верить, она просто есть и всё тут, без всяких спекуляций и домьслов. Кстати, святой отец, а не подорвёт ли таковая ясность ваш бизнес на эксплуатации веры в невидимое?

– Да какой там бизнес, так, крохи и слёзы. За такую видимость я и сам готов. . . претерпеть. Нам же доподлинно неизвестно что там у них изменилось ещё кроме видимости, – ответил отец. – Но и наличие, точнее сказать – возвращение страха Божия на Землю – уже есть неплохой симптом.

– Это всё равно, что верить в то, что неотвратимость наказания гарантировано искореняет любые правонарушения, – вернулся в свою излюбленную стихию майор Соболевский. – Преступление, и, так

сказать – наказание. Однако, если б это было в действительности – столько бы копий не ломалось. Почему вообще человек идёт на преступление? Даже прекрасно осознавая, что плохо, скверно, стыдно? Так вот – всё это лирика. А в реальности существует всего два варианта: его, извиняюсь, хлопнут или нет. И если вероятность того, что не хлопнут выше вероятности обратного – преступление совершается. А пока у нас неотвратимость наказания весьма условна, то имеем что имеем. Необходимо таки работать над раскрываемостью, эффективностью работы судов и так далее. Но вот, предположим, неотвратимость абсолютна. И не очень отстоит по времени с самим фактом преступления. И что? Многих ли это остановит? Да и для нашего человека факт наличия вертухая за спиной мало что решает. Бывали такие случаи, особенно в местах не столь отдалённых, в не самых человеческих условиях, человеческое-то как раз и мало сохраняется. Человек, теряя свой человеческий облик, становится как зверь, действует инстинктом, идёт на прорыв, напролом, нахрапом, на авось... Зачастую, просто из чувства противоречия, наперекор судьбе, наплевав на неё, что называется, с прибором, сознательно перечёркивая её в один момент – лишь бы досадить начальству, к примеру.

– Кстати – очень интересный пример, – вновь оживилась мама психолог. – Отличная аналогия существует и в детской психологии. Называется – «назло маме отморозил уши». Особенно это относится к возрасту в районе трёх-пяти лет, когда расшалившийся ребёнок просто отказывается принимать прямую и явную угрозу в виде предупредительно занесённой над ним руки родителя с ремешком, например, и продолжает свои проказы несмотря ни на что. Либо же – действует принципиально наперекор. Пробует на прочность этот мир. Война ради войны. Ещё говорят, что так в нём включается принцип Марса, но это уже немного из астрологии...

– Вот именно, – подтвердил майор. – Так что, такое бывало... далее я уж лучше умолчу.

– Сделайте милость, – сказал святой отец. – Мы же тут говорим о нормальном разумном человеке, а не пребывающем в детстве, маразме, или ещё какой-либо экстремальной ситуации заключения, острога, и всяких там ваших... гулагов. А для каждого раба божьего само наличие Господа есть аргумент похлеще родительской руки с ремнём, истинно верующему она – эта рука карающая – без надобности. Угроза – не самый эффективный метод работы с паствой. Не токмо кнут, но и пряник потребен.

– Совершенно соглашусь с батюшкой, – снова встряла психологическая дама. – У нас это называется положительная и отрицательная мотивация, оба метода эффективны только в совокупином применении...

– ...Но – нет веры, слаба она, – продолжал отец Ферапонт, демонстративно не обращая внимания на психологические поползновения. – И даже мы, священнослужители, увы – не лишены такого греха – маловерия. А это действительно проблема. Так что – нам ещё только предстоит осознать – что же на самом деле произошло с этим несчастным. Повлиял ли катаклизм, произошедший в его мире на укрепление веры? Почему, спрашивается, наш мир не задел Апокалипсиса? Тут я вижу, как минимум, два варианта: то ли мы тут все собрались безгрешные агнцы, то ли напротив – неисправимые грешники, на которых Провидение просто махнуло рукой и решило не связываться, не растрчивать свой драгоценный ресурс благодати. Угадайте – какой вариант наиболее вероятен? И что нас всех в итоге ожидает. Но вот парадокс – по словам Иммануила – там, откуда он явился присутствуем точно такие же мы, но, отчего-то, тамошним нам – повезло не в пример больше. Почему? По каким критериям произошла сепарация на достойных и не достойных? То самое Расхождение, о котором толкует нам молодой коллега.

Повисла крайне неловкая пауза. Отчётливо слышно было лишь то, как отец Ферапонт сосредоточенно перебирает чётки.

– Скажите, Иммануил, – снова тишину нарушил священнослужитель, – а не считаете ли вы всех людей добрыми? Добрыми, но, возможно – заблуждающимися, ещё не знающими о своей доброте?

– Я понимаю, на что вы намекаете, – впервые улыбка тронула уста Иммануила. – Нет, я не Иешуа, а вы, слава Богу, с товарищем полковником не Кайяфа и не Понтийский Пилат. За исключением того, что в нашем мире видно и младенцу – никакими сверхспособностями я не располагаю, и никакую новую сверхидею в мир я не несу. Всё уже давно принесено и дано. Пользуйтесь!

– Очень хорошо, – отозвалась психолог. – Значит, комплекс Мессии тоже исключается... Возможно, стоило бы произвести регрессию – регрессивный гипноз на предмет обнаружения неизжитых перинатальных воспоминаний, то есть тех, которые отложились в памяти на бессознательном уровне в момент прохождения родовых путей, а так же – зацепить что-нибудь из трансперсональной психологии – глянуть в его прошлые жизни, нет ли там чего-нибудь такого, что может пролить свет на произошедшее...

– Я бы попросил вас не богохульствовать, милейшая Вера Васильевна, – строго выговорил святой отец. – Какие такие прошлые жизни? Это же чернейший непозволительный оккультизм. Вы бы ещё погадать предложили. А равно как и ваши, молодой человек, параллельные вселенные – забудьте этот нелепейший вздор. Нет ничего, кроме как здесь и сейчас, это вам к сведению, по большому и дружескому секрету.

– А ведь верно! – очередная идея осенила Невинного физика. – Конечно же – только здесь и сейчас! А это значит – раз Иммануил находится здесь и сейчас, при этом сохраняя свои... своё видение, то его мир неотличим от нашего, нет и не было никаких двойников и переходов по вселенным. Что,

в свою очередь, означает, что произошедшее есть в чистом виде феномен мира сего. Тем интереснее он для изучения...

– Либо – провозвестник грядущего, – веско заметил Ферапонт.

– Либо провозвестник... – согласился Невинный.

– Так, так, – возвратился в тему майор Соболевский, – прогнозирование – это уже наша епархия... В смысле – тематика. Необходимо знать – к чему готовиться. Ведь это – первый звоночек. И то ли ещё будет. Копать ли новые убежища, или устоят уже имеющиеся?

– Копать, – отозвался Иммануил. – А ещё лучше – пилить. Пилите, Шура...

– Молчать! – резко оборвал подследственного майор и надавил на кнопку с обратной стороны стола. – Дежурный! Уведите. Вряд ли мы от него добьёмся ещё чего-то большего. Дальше мы уж как-нибудь сами... посоветуемся.

В комнату моментально вошёл дежурный лейтенант, всё это время находившийся прямо за дверью.

– Счастливо оставаться, – улыбаясь, прощался Иммануил. – Майору – при его органах, батюшке – при страхе божьем, мадам – при своей мотивации, а вам, Володя, я желаю скорейшего нахождения своего философского камня, чтобы, наконец, понять, что с чем сходится, а что – расходится в этом и не только этом мире. Я-то, кажется, уже кое-что понял...

Почему-то в последний момент его вдруг посетило желание дерзнуть, как если бы он поймал какую-то дерзину. Стало видно, что что-то в нём решительно переменялось, и эта перемена пошла ему только на пользу. Проявилась уверенность, а главное – готовность. Готовность к чему-то важному, беспрекословному и окончательному.

– Вы бы уж погодили прощаться, – ответил ему Ферапонт. – Авось – ещё свидимся.

– Нет, уж лучше – вы к нам! – съязвил Иммануил, поднимаясь со своего места, придерживаемый за руку лейтенантом. – Прощайте!

Как вдруг – рука лейтенанта резко провалилась в пустоту, и в кулаке у него оказался пустой рукав некогда подследственного Иммануила.

Он исчез!

Так же неожиданно, как и появился в этом мире.

На глазах у изумлённой публики.

На полу оказалась лишь его арестантская роба, горка ногтей да жидкие прядки светло-русых волос.

Но это – было только начало. Выдохнув, члены присутствующего Синедриона, наконец, встрепенулись и глянули друг на друга. Вернее – на них уже глядели не они сами, а их истинные в свете духа лица, почему-то, вдруг, приобретшие звероморфные очертания: майор выглядел клыкастой кабаньей мордой, по количеству клыков же легко угадывалось количество совершённых им грехопадений, предположительно – убийств; в лике психолога проступило нечто неуловимо лисье; святой же отец отчего-то принял и вовсе форму раздувшегося старого морщинистого гриба; и только молодой физик Невинный проявлял более или менее человеческие черты.

А впрочем – у него-то всё ещё было впереди.

ПЛАТОН БЕСЕДИН

МАЯКОВСКИЙ

рассказ

Маяковский в коричневых и белых пятнах. Птицы садятся и гадят. Метят разводами вместо цветов. Цветов мало – две гвоздики, увядшие, высохшие. Краска на памятнике растрескалась, облупилась. Солнцу космическому плевать на солнце поэтическое. Хочется защитить, спасти поэта – возложить цветы. Большой памятник, массивный. «От студентов Украины» – значит на табличке, чуть ниже памятника. Студенты Украины – ребята шедрые.

Одинокий Маяковский в пятнах. Одинокий я в слезах. В парке, напротив дороги; машины несутся, педаль до упора, хлоп-хлоп угарными газами.

Смотрю на памятник, вспоминаю её. Ушла, швырнула тарелкой в лицо, метко, как чемпион по игре в дартс. И ведь нашла слова, матерные, обидные, словно репетировала заранее. Хватал за руку, умолял остаться, – выглядел, как говорят в Украине, «жалюгідно» – но в пустоту, в оскорбления. Растрепала страницы истории, а потом ушла, словно и не было ничего.

Вымаранных пять лет. Ненавидеть хочется. И преклоняться. Потому что была она, та самая. Искали, наверное, все, а мы нашли. Рассмотрели, выкристаллизовали. А потом растратили, забыли.

Теперь сложно найти вновь. Заплывает глаз, наползает гематома. После ругани – бутылка водки; и ведь закуска хорошая: сельдь по-болгарски, хлеб бородинский, огурцы малосольные, но всё равно опьянел. А тут подошли трое: молодые, наглые. Швырнули в кусты пустые бутылки. Сделал замечание, чтобы не мусорили. И так горы мусора – на земле, в отношениях. Мы вот не выгрести, не смогли. Любовь не спасти, но планету спасти можно. Потому и влез, кинул своё «против». Не поняли, не оценили. Их трое, а я один.

Гематома, Маяковский, воспоминания, звонки. Без ответа звонки. Почему не берёшь? Пять лет ведь. Не один, не два, не три (сколько там живёт любовь по Бегбедеру?) не четыре – пять.

Водка безвкусная, как нынешняя колбаса. На рифлёной бутылке – красная этикетка, на ней – надпись «Классическая». Не врите, суки, не лгите, классика она не такая; не врите – и без того слишком много лжи. От неё, да, от неё все беды. Я врал, ты врала, мы врали.

А ведь обещали. Родителям, детям, батюшке. Помнишь батюшку? Того, что с жиденькой бородёнкой. Того, что подошёл ко мне на исповеди и сказал: «Вы уверены?» Удивился: не ожидал такого от батюшки. Но тебе ничего сказал. Потому что в тебе был уверен.

Венец, рушник, клятвы. Батюшка сказал: «Обойдите алтарь три раза». Я сказал: «В шапках?» А он смутился: «В венцах».

Кто знал, что будет дальше? Маяковский, наверное, тоже страдал. И теперь – как памятник – страдает. Только от разного г... Вышел бы кто, возложил бы цветы к памятнику поэту. Достоин ведь. Со школы помним.

Вот остановились. Длинный, белый, роскошный – лимузин. Из него – люди. Сначала толстый мужик с видеокамерой, объективом в Маяковского. Снимай, снимай, потому что и его забудут. За толстяком – молодёжь. Невеста в белом платье с длинным шлейфом. Шлейф несёт девушка в бежевом. У её платья – глубокое декольте, у девушки – огромная грудь; отодвинь лоскуток и целуй. Вся эта тусовка в духе каких-нибудь «In the VIP»: полуголые, энергичные, возбуждённые, молодые. И ни одного взрослого. Вместо них – фото-, видеокамеры. Всё на плёнку, всё на показ.

Подружки в коротких платьях – готовые. Парни с напомаженными волосами – готовятся. Невеста – почти девочка. Жених – ещё мальчик. Я и сам – повзрослевший ребёнок. Неважно, когда потеряли девственность – по-прежнему дети. Даже когда подкуривают; у мальчиков – толстые сигары, у девочек – тонкие сигареты. Даже когда общаются; девочки матерятся больше мальчиков. Даже когда пьют; мальчики поливают шампанским девочек и слизывают его с загоревших, слишком загоревших, тел.

Для чего вам это? Поступки, слова – всё тлен. Не я сказал – мудрый сказал. А другой, переверивая Библию, завещал: «Плодите, коровы, ибо жизнь скоротечна». Но это не вам.

Вы щупаете, целуете, лижете. Свидетельница, похожая на Сашу Грей. Подружки, напоминающие Елену Беркову. Вам никто не сказал, что свадьба – это чистота, преданность, вера? Напомнить? Ведь засмеёте. Потому что слова – атавизм, я – атавизм.

Вот и моя жена так говорила. Потому что не хочу денег. Потому что презираю успех. Потому что хочу любить, а не [...]. Потому что мужики решают, а я не решаю. Застыл в прошлом. Умер, ещё не родившись. И она сказала – «фининиии».

Для чего вы здесь, снимающиеся на фоне восстановленной церкви? Сияет золотыми куполами, пронзает небо крестами. И в ней – какой же я агавизм, Господи – Христос. Тот Самый, Который завещал любить, Который стал вам не нужным.

Он и мне не нужен. Потому что иначе не упрекал бы её, не оскорблял; ведь клялся ей так же, как и она мне. Да, злое, глупое, бессмысленное, пустяковое, но почему сам думал, что был лучше?

Впрочем, ребята, молодые, счастливые, не забивайте Христом голову – расслабьтесь; лучше – груди напоказ, привет MTV. Так и моя жена требовала, а я сопротивлялся. Дурак, не от мира сего.

А ты не дурак, жених, раз так похотливо смотришь на подружку невесты в коротком, подчёркивающем задницу платье. Это я глупый, потому что задаю вопросы, на которые не получить ответа; юродивый. А ты умный.

– Почему ты здесь, почему с ним, для чего?

Это мой вопрос невесте. Выхарканный кровью вопрос. Спрашиваю зло, остервенело, ведь и задушить могу. Молчишь, смотришь испуганно, как на сумасшедшего. Ждёшь, когда оттащат.

Оттаскивают. Ну почему молчишь? Хватаю за шлейф – пусть рвётся; плюю опросами – пусть бьют.

– Это не любовь, это ни к чему!

Дурак, идеалист, романтик. Похожий на религиозных фанатиков, стоящих в метро. Похожий на сумасшедших, лежащих в больницах. Разве это имеет значение, когда девочки хохочут, а мальчики превращают череп в крошку?

Играет в мобильном – как звук горна во время боя – романтическая мелодия. Её мелодия. На неё поставленная. Надо, очень надо ответить. Только сначала вырваться из частокола ног, которые мнут, топчут, будто виноград для вина.

Несколько тычков в ответ. И частокол разваливается, ноги – уже не колья, а спички. Вскикиваю на ноги, бью жениха в лицо, коротко, без замаха. Невеста вскрикивает. Жених зажимает нос рукой, по ладони течёт кровь.

Теперь надо бежать с этой свадьбы. Прощай, Маяковский. Прощайте, люди.

Мобильный ещё звонит, на ходу отвечаю. Слышу её голос, измотанный, грустный. Главное сейчас – терпение. Ответить, понять, выслушать. Потом говорить, обещать, клясться, вновь тщетно пытаясь строить царство Божие на земле.

ИРИНА ВАСИЛЕНКО

СПОСОБНОСТЬ К ДЫХАНЬЮ

матрица серых дней больше не будет лета
счастье такой пустяк но затерялось где-то
вечер достал дождём только не надо плакать
пей с бергамотом чай в рифмы упрягав слякоть

этот минор и сплин просто прогноз погоды
слышишь дыши дыши ты из другой породы
где-то внутри тебя тихо играет флейта
...дворник смешной чудак пьёт и читает Фрейда

В ГОРОДЕ N...

В городе N тихо плавится лето, обрывки снов унося с собой.
Дни, как подкинутая монета, в руку ложатся не той стороной.
Ты затерялась в своих вокзалах, в рифмах, в отчаянных выражах...
Те, кто когда-то – на пьедесталах, ныне и присно – забыты. швах.

В городе N кто-то вылил масло, Аннушке – поздно! – уже не спастись.
Повесть дописана, счастье угасло. Всё так банально. Молчи и сожмись.
Если вокруг обступает сумрак, главное – в сердце зажечь свечу,
Жизнь проглотить, что горька, как микстура, и научиться ходить по лучу.

В городе N ночью бродят сказки, ты не тушуйся – поверь, прими.
Видишь – твой Кай, доставай салазки, досыта нежностью день накорми,
Чтобы растаяли лёд и чёрствость, чтобы рассыпался злой навет –
Лишь навсегда позабудь про хлёткость слов, что окрашены в чёрный цвет.

В городе N зеркала туманны, кофе горчит и горчат слова.
Это провинция, где капканы странно похожи на кружева.
Где перемешаны, как в коктейле, сплетни, дороги и чудеса,
Где укрывают, как при обстреле.
Радуйся, детка: пока – жива.

Ты сама себе придумывала крылья
И прикидывалась птицей Метерлинка,
Разлетались все мечты дорожной пылью,
Разрывалась жизни ткань, как паутинка.

Этот город обещал в ладони – звёзды,
А швырял под ноги битые надежды,
Были строгими предъявленные счёты,
И в чулане тлели бальные одежды.

Слышишь, фея опьянявших переулков,
Как колотится зима в районе сердца?
Опустела враз любимая шкатулка,
Где ты складывала счастье так усердно.

И рассказами *про коста дель аморе*
Прекращай, душа, терзать свой тихий терем.
Оглянись – и в этом тёмном коридоре
Каждый встречный обернётся цепким зверем.

КОРОЛЕВА

За минуту до вторника память нелепа.
Ночь молчит горячо. Передёрнет от гнева
наших бывших богов... Что им – зрелищ и хлеба?!
(ты пьяна, королева...)

нет уже ничего – ни любви, ни печали,
только привкус обмана и отблески блефа.
Ах, какой ерундой твои дни штамповали!
(всё отбрось, королева...)

Замок твой – из песка. Паутина забвенья,
Чей-то голос – далёк, фотография – слева...
И надменная тяжесть холодного чтенья...
(отрекись, королева...)

В вересковые заросли звёзды упали.
Ты уже не позволишь ни скуке, ни мгле,
Чтоб они о былом что-то сердцу шептали!..
(всё ушло, короле...)

нет бывших королей.

ПАДАТЬ В НЕБО

Птицею – падать в небо
[камень? глоток? курок?]
Он ударяет первым,
Этот лихой стрелок.

Привкус мартини бьянко
Или смертельный яд?
Пей, не дури, беглянка.
[любят? щадят? казнят?]

На переходе – красный.
[только без тормозов!]
Корчится день атласный,
Нежность тебе вколов.

Петербургское время в ладони осыпалось медью,
Жёлтым цветом листвы, ароматом вчерашних потерь.
Нас окутала осень разлуки незримою сетью,
Нам открыла она в не-любовь уходящую дверь.



Мы упрямо в себе убивали способность к дыханию,
и меж реплик заглавных героев, иуд и шутов
Затерялись в словах, растворились – и по умолчанию
Превратили свой мир в зазеркалье без бурь и штормов.

Мы другие?!.. Нам хочется свежего воздуха, света,
Нам по крышам гулять и с звездой легко флиртовать!..
Ведь над нами – смеётся ли? плачет? – над Питером небо,
Повторяя, как мантру: лишь любящий – может дышать.

IF YOU...

Наступает зима... Но, быть может, не стоит об этом?
Я листаю страницы, неспешно роняя слова...
Мы в пути затерялись, растаяли в дымке, и где-то
Потеряли ключи от надежды и от волшебства.

Просто что-то не так, что-то вдребезги бьётся меж нами,
В Королевстве (наверное, Датском), висит тишина.

Драпируется боль – не словами уже, а бинтами,
Мы сполна пригубили равнодушья и мести вина.

Что ж, расстанемся тут – без прощаний и прочих идиллий,
Позабудем навечно нелепую жажду тепла
И на души примеряем шкуру холодных и скользких рептилий,
И попробуем быть равнодушно-бездумны, как в небе луна.

Только рвётся мотив сослагательный «If you...», и снова
Затопляется нежностью странно живая душа.
И неважно, что было вчера – завтра мы с полу слова
Всё, я верю, простим, на холодные пальцы дыша...

АЛИСЬЕ

когда случайные слова вдруг острой бритвой обернутся
и будто тысяча заноз, под кожу ласково вгрызутся,
когда останется лишь вздох – и обрывается дыханье, –
спасеньем станут не слова, а тихой музыки касанье.

И нет на свете ничего, что эту музыку разрушит,
её так трудно в нас убить – но ей легко обезоружить.

когда алисины слова кого-то вводят в заблужденье,
алиса прячется в себя, и выбирает заточенье
в том мире, где к ней каждый добр, где утро льнёт к щеке котёнком,
где из бетонной скорлупы слова проклонутся цыплёнком...

И нет на свете ничего, что может этот мир разрушить:
так трудно нас в себе убить – но так легко обезоружить.

Вот такие времена:
Черновик летит в корзину.
Ты, грустя, вдыхаешь зиму,
Задержавшись у окна.

У всего своя цена.
У закрытой плотно двери,
У нечаянной потери,
У горчичного зерна.



Не проси и не грусти.
Завари с малиной чаю.
Разучись ходить по краю,
Боль и страх зажав в горсти.

СЛОВО

*Ты выйдешь вон, как бабочка из транса,
Раскрыв прозрачный зонт над головой.
Ольга Родионова*

И в этот час – воскресный и сквозной –
В спрессованном до комнаты пространстве
Пытаюсь я, как бабочка из транса,
На свет лететь. И будет ерундой,

Что шаг поспешный кто-то не поймёт,
Что плачет небо в лужах под ногами,
Что зонт закрыт, и что под каблучками
Проколот шпилькой счастья хрупкий счёт.

И будут жаться мокрые цветы
К моей щеке, и будет робко биться
Там, слева, будто пойманная птица,
То слово, что спасёт от немоты.

АЛИСЕ

(искусство перевёртышей)

Улыбайся, читай Вознесенского вслух,
Вспоминай до озноба про питерский ветер,
Заглуши этот в сердце неистовый стук,
Поменяй всё местами – легко, на рассвете.

Преврати в смех внезапно пришедшую боль,
Измени, как трагедию в фарс, без оглядки.
Позолоту иллюзий бесстрашно уволь,
Из стихов и из жизни все выбрось закладки.

Вдох не в такт? жизнь не в слог? Не беда,
Не хандри. Перемелется всё, потеплеет когда-то...
Утечёт, как песок, как сквозь пальцы вода,
Эта скверная боль, что в ладони зажата.

Попытайся хранить, и беречь, и любить,
И стирая прошедшего швы и помарки,
Научиться попробуй читать и ценить
Между сказанных слов – золотые ремарки...

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

МОЯ ОДЕССА

из книги посвящений

ПОДРУГА

Тие Сычёвой

Произведение художника,
Смуглянка в дымке абрикосовой!
Теперь глаза твои раскосые
В четверг увижу, после дождика.

Теперь ты, дива живописная,
Благоустроилась в Америке
И шлешь мне нежные эпистолы –
Шутя, как будто бы из Жмеринки.

И говоришь: Земля как зёрнышко –
Кругла, мала, – соседство близкое!
Мы чудо-девочки, мы золушки
С чуть-чуть заплаканными лицами,

С чуть-чуть потрёпанными нервами
(Пока до счастья-то дотерпишься!)
Мы до сих пор не стали стервами,
Хотя от жизни не отвертись.

Уж как она коварством жалила,
Сводила с ложными фигурами.
Мы до сих пор не стали дурами,
Хотя за ум не слишком жалуют.

В ответ обыденной угрюмости
Мы лишь смеёмся – и не старимся.
Мы до сих пор с тобой из юности –
Хемингуэвской, цветаевской.

В её лучах душа купается,
И я – поблизости, из круга! –
Зову тебя по старой памяти
Всё тем же именем – подруга.

Андрею Крамскову

Снова род содрогнулся бесовский
Под размашистой пашкой донской.
Появился, бродяга ростовский!
Жив, курилка, в Гоморре людской!

Где носило тебя, что хранило
От тюрьмы, от сумы, от войны?
Знать, над нами великая сила,
Если мы до сих пор спасены

От продажности всякого толка,
От фальшивых красот и свобод.
Нам свободно и дышится только,
Если совесть укором не жжёт.

Наши годы – багаж драгоценный.
Поживём, потолкуем ещё!
Сколько близких помянем смиренно,
Сколько песен споем горячо!

Наши встречи – земное богатство:
Только сводит нас, грешных, Господь –
И идея всеобщего братства
Обретает значенье и плоть.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Вере Зубаревой

лирическое

Дай Бог тебе полёта и удачи
В тех даях, органичных для тебя,
Где сердце бьётся несколько иначе,
Где ум живёт, о бренном не скорбя.
Дай Бог тебе и впредь без лихорадки,
Без суетных метаний и скорбей
Жить в радости, покое и достатке,
В согласной связи кроны и корней.

Пусть корни и поддержат и утешат,
А крона даст прохладу и уют.
Тогда, созрев под небом безмятежным,
Плоды тугие наземь упадут,
И выйдет в сад божественная Ева,
Соединя в сущности одной
Невозмутимость снежной королевы
И милький облик женщины земной.

ироническое

Покуда бьют баклуши
Безмозглые субъекты,
Ты изучаешь душу
С позиций интеллекта.
Рассматриваешь в лупу
Мельчайшие изгибы
Меж тем, как кто-то глупо
От безрассудства гибнет.
Куда б ни сделал шаг,
Удел его трагичен.
Не знает он, бедняга,
Что интеллект первичен.



Елене Кукловой

Когда по пояс мир в крови
И в храмах скорбно ставят свечи,
Вы говорите о любви
Стихов пленительною речью.

И эта верность красоте,
И эта преданность созвучьям —
Как отзвук в мёртвой пустоте
Высокой сущности певучей.

Быть может, это лишь одно
И есть спасенье от рутины:
Тому, что свыше нам дано,
Внимать как истине единой.

Пусть суета и чехарда,
Пускай зубами век скрежещет, —
Звучит поэзия всегда
Из уст романтиков и — женщин.

Володе Федоровскому

Что за прелесть этот вечер,
По земле теплом разлитый!
Он пришёл ко мне на встречу,
Музыкант незначительный.

Для оваций слишком нервный,
Не герой тщеславной гонки,
Он совсем не злободневный
И не рвущий перепонки

Упражнениями в «металле»,
И не жаждущий *казаться*.
Он такой как есть: в запале —
Чародей импровизаций,

А в теченье скромных буден —
До болезненности тонок
И порою даже труден,
И застенчив, как ребёнок.

Жизнь не сахар, но сегодня
О проблемах нет и речи.
Я счастливей и свободней,
И моложе в этот вечер.

Я немею от экстаза,
У меня такие шансы!
Раствориться в ритмах джаза
И растаять от романса.

УМНЫЕ СТИХИ
(Послесловие к одной беседе)

Валерию Ханту

– А ты, оказывается, умнее...

– Умнее кого?

– Себя...

Из разговора с В. Хантом

письмо редактору юмористического журнала

Как хорошо, что я пишу всерьёз
И не нуждаюсь в Вашей редакции.
Иначе пролилось бы море слёз,
Ненужных мировой литературе.

Подумать только – строчку родила,
А тут уж Вы, с подходом ироничным:
Коварны и остры, как гений зла,
А ведь сперва казались симпатичным...

Но, беззаветно истину любя,
Ещё одну раскроем авантюру:
Ведь вышло, что и я – *умней себя*.
А думала, что попросту не дура.

у зеркала

Гляжу я в зеркало опять:
Я или не я – хочу понять.
Хочу узнать, чьих глаз умней
Глаза, зелёных зеленей.
А этот красный, страстный рот
Красней какого, кто поймет?
А лоб?.. Сократ, не ты ли здесь?
Уже в глазах туман и резь.
Гляжу я в зеркало, гляжу,
Ответа в нём не нахожу.
Ну нету в зеркале его,
Того, умнее я кого!
В нём только я – как перст одна
И сногшибательно умна.

ДВА ОТКЛИКА

*Людмиле Шарга,
по прочтении книги «Билет в осенний день»*

1

От Одессы до Тарусы
Протянулись, как мосты,
Строчки-нити, строчки-бусы.
Их неброской красоты
Очевидные приметы
Хоть не сводят вас с ума,
Но искрятся в них рассветы
И резные терема.
Дева, девочка, русинка,
Из лесной являсь глуши,
Среднерусскую грустинку
Вам дарует от души.
Поит чистою водою,
За стихом слагая стих



Про чернику с резедою,
 Про любимых и родных.
 Из-под будничного прессы
 Голос ласковый растёт,
 От Тарусы до Одессы
 В путешествие зовёт.

2

Нет гнетущей сердце мглы,
 Не пугает жизнь обрывом.
 Под пером неторопливым
 Даже сумерки светлы.

Даже соль твоей слезы
 Не горька, не безутешна.
 Вместо горести крошечной –
 Терпкой солнечной лозы

В ней прослушиваю гамму.
 Как мелодия чиста!
 Но признаться, гвоздь программы –
 Праздник чайного листа.

Целый мир – в простом обряде!
 Так попробуй, напиши:
 Не вселенских смыслов ради,
 Но для радости души.

Что ж, поклон тебе сердечный
 И за солнце, и за тень.
 За билет в осенний день –
 Ясный, грустный, быстротечный...

Александр Либину

Что нам хлопоты земные
 И мелькающие даты?
 Мы почти уже родные,
 Неизменный мой редактор.

Неуёмный мой издатель,
 Скрытой мощности реактор,
 Вы почти уже создатель
 И судьбы моей соавтор.

Вы во всём, конечно, правы
 Правотой почти библейской:
 Чем хлебать тоски отраву,
 Выпьем пунш эпикурейский!

Что впустую тратить силы
 И от бурь житейских плакать?
 Лучше петь, что сердцу мило;
 Не канючить и не вякать,

Но зажечься страстью новой,
 Необузданной и грешной,
 К поэтическому слову
 (И к редактору, конечно).

Наталье Смирновой

Ни девочкой, ни барышней
Так не пленится взор.
Когда Вы стали бабушкой,
Открылся в Вас простор
Той мудрости, той нежности,
В которой тени нет
Усталой безнадёжности,
Тоски бегущих лет.
Теперь играть Вам в ладушки
И азбуке учить.
Теперь Вам внучку-лапушку
Без памяти любить.
И это время славное,
Достойное пера,
Когда приходит главная
Для женщины пора.

НЕИЗЪЯСНИМОСТЬ

Сергею Терентьеву

1

Когда над гладью клавиш нежных
Легко парит его рука,
Душа темна и глубока
От несказанных бурь мятежных.

От этой влажной, гулкой тьмы
Сильнее сердце станет биться.
Взгляд изумленный прояснится,
И даже гордые умы

Смирненно головы склонят
Пред тем, чьё имя Совершенство.
А в душу будет литься яд
Неизъяснимого блаженства.

2

Нетленно, как звезда во мгле,
Тончайшее мерцает пламя.
Так не играют на земле –
Так ангелы парят над нами.
И говорят, взмахнув крылами,
Всю правду о добре и зле.

Так птицы редкие поют:
Что ни споют – всё будет ново.
Освобождённые от пут
И притяжения земного,
Они давно уже готовы
Покинуть грешный сей приют.

Но что-то держит их меж нас,
И мы, во власти их полёта,
Прозревшим сердцем видим что-то,
Неуловимое для глаз.

СЕМЁН АБРАМОВИЧ

ЖЁЛТЫЕ ПТИЦЫ

Давленье пасмурного утра,
топтанье около нуля,
и шёпот тихий: «Здесь я, тут я» —
Как след иллюзий февраля.

Роятся мысли. Сон — изгнанник,
исчез быстрее, чем туман.
Резной остывший подстаканник
зажал в объятиях стакан.

Размыто светлое пятно.
К окну прижался подоконник.
И мне давно не всё равно,
о ком грустит душа и стонет.

ДЕПРЕССИЯ

Депрессия — агрессия. Вновь отбиваюсь я.
И движется процессия листков календаря.
Вот день, когда мне холодно, вот день когда — тепло,
вот день темнее серых туч, вот день когда — светло.

Костяшки дней сбиваются в недели и года.
Шестой десяток разменял, а с виду — ерунда.
Вот день, когда мне тяжело, вот день — когда легко,
вот день, когда со мною ты, вот день — ты далеко.

Мелькают пучецифры следы событий, дат,
построенные временем, как батальон солдат.
Вот день, когда любила ты, вот день когда — ушла,
вот только нет в помине дня, когда бы боль прошла.

На палубе прошедших дней качаюсь на волне.
И добрых слов моих друзей достаточно вполне.
Вот только дни желанных рук я не могу найти,
надежда легкая, как пух, томится на груди.

Недремлющих окон глазницы
свой отблеск бросают на снег.
Находились жёлтые птицы,
тревожа мой тёплый ночлег.

Они на снегу недвижимы,
замёрзли, а может быть, спят.
Ах, зимы, вы неотразимы,
о чём ваши ветры скулят?

В волненье давлю подоконник,
желая тем птицам взлететь.
И стынут, и стынут ладони,
и колокол пробует медь.

В обрывках небесных ватинов
не вижу мерцания звёзд.
Грущу, понимая, причина –
преддверие мартовских грёз.

Недремлющих окон глазницы –
подруги бессонниц моих.
Дрожащие ветви-ресницы,
как образ, как призрак, как штрих...

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОСЕНИ

Остановилось время
в пропасть летящим пульсом.
Сон – отражённое бремя,
лезвием сердца коснулся.
Спину свинцом догнавши,
день прокричал вчерашний,
по-совьи, протяжно и глухо:
«Мама, мне очень страшно!»

Обрывки чужой речи.
Лязги кровавой сечи.
Давят петлёю горло,
каменной глыбой – плечи.
Рубцы зарастают травой,
стоны земли всё глуше.
Но только ко ревам, к оврагам
опять возвращаются души.

Не ведают души покоя.
Бессонницы хороводы.
В небесные своды
впечатаны прерванных судеб коды.
И шепчут, и шепчут души,
взрывая сны наши:
– Мы ваши, мы ваши,
мы ваши...

Холодом веет гранитным,
слышится чьё-то дыханье.
Годы секундами стали,
точками – расстоянья.
Белые, чёрные птицы.
Скорбно смотрящие лица.
Тысячи тысяч ладоней...
Где твоя, Боже, десница?

Я провожу рукою,
пальцем касаясь букв.
Имя, фамилия, дата –
преобразуются в звуки.
Звуки похожи на стоны,
переходящие в звоны.
Над уходящей колонной –
жёлтые грустные кроны.



Сердце колотится жутко.
Солёный привкус печали.
Разве для этого жили?
Разве об этом мечтали?
Тихо. Забрестило утро.
Только в просветах меж сосен
жёлтые звезды Давида
падают в вечную осень...

Негативом прошедшего дня
стали ночь и её тишина.
И от сна ни пятна, ни следа,
и оконные стёкла – слюда.

А за хрупкою этой слюдой
грустный клён с неопавшей листвой.
Бездыханна, безветренна ночь.
Мне бы мысли в муку истолочь...

Только что из неё испечь?
Слог рифмованный, звонкую речь?
Или все эти глупости в печь.
Сжечь...

ЕЛЕНА МИЛЕНТИ

В ПОТАЙНОМ КАРМАНЕ КЛЁНА

Зима ли, осень – не поймёшь,
Как скуп на краски и оттенки
Январский дождь – колючий, мелкий.
Болят от сырости коленки
Деревьев, ломко и насквозь.
Меня от скуки защитит
И от погоды пересудов
Оконный щит
И звон посуды,
И чай имбирный от простуды.
Я замолкаю – он налит.
Вот, чаепития обряд
Идёт к развязке –
Книги в ряд –
Все – рассчитались по порядку.
А выбор будет свеж и сладок,
Когда они заговорят.

Посвящается сыну

Не стой так долго на пороге,
Иди, куда глаза глядят,
И знай – заказана дорога
Сквозь дни, назад,
В сон, где весна всплывает рыбой,
Дно Атлантиды возмутив,
Волной, стеной идущей, ибо
Любые сети – на разрыв,
Где меры нет, где всё безмерно,
Где ветер вдоль и поперёк
Морей гуляет ночью, днём,
Труба в луны растущий рог,
Где край идёт на смену края,
Так, словно наперегонки,
Назло всем правилам играет
И середине вопреки.

Вот уйду в себя и мне понравится
В тишине тишайшей пребывать.
Ты окликнешь: «Возвращайся, моя странница,
Посмотри со мной на листопад!



Вот – окно, закату бестолково
 Открывающее в дом проём.
 Без тебя всё старое не ново
 И значение наречия вдвоём
 Мне открылось, словно по наитию,
 Семенящий дождик всё на нет
 Низводил – вдруг осенило: слитней
 Нас, бывших, давно простыл и след». Эхом
 отзовется, всколыхнётся
 Голос твой в тишайшей тишине.
 вспыхнет – непременно всё вернётся
 Отраженьем зеркала, вдвойне.
 Не корить коринкою укора
 Нам друг друга. Время – птица Выпь.
 Как не выпить из ладоней моря,
 Как себя друг в друге не избыть...

Человек несовершенен.
 А зачем ему оно,
 Совершенство? – жизнь мгновенна.
 Золотое спит руно
 В безрассудстве неустанном
 Волн, бегущих стороной.
 Всё, что было так недавно,
 Станет скоро так давно.
 И предчувствие рассвета
 Да, и право, сам рассвет,
 Неразменной монетой
 В сонный скатится кювет.
 Нам дано блаженство – право
 Пить медлительно закат,
 В недрах лба его упрямо
 День – дин дон – распятый – свят.
 И когда слезой послушно
 Время в трын-траву падёт,
 Час настанет небо слушать –
 Нот мятущихся полёт.
 И, взлетая неустанно,
 Выдыхая жизни чад,
 Не заметишь, как в тумане
 Озеро растает – Чад.

У горизонта за пядью пядь
 Отбирают – то, что
 Морю должно принадлежать
 Как предложению – точка,
 Расширяются вширь и ввысь,
 Вырывая деревья с корнем,
 Дома, нанизывающие на карниз
 Горизонта агонию.
 Года пройдут налегке
 И ребёнок, отчаясь
 Не прочтёт на песке
 Иероглифы чаек
 Потому что песок уйдёт
 В железобетонные блоки.
 Последней чайки полёт
 Будет высоким.

Современные динозавры –
Железо, бетон, стекло! –
Что вы будете есть на завтрак,
Если все облака метлой
Урагана сместило на запад,
А может быть, на восток,
Где в жёлтых земля заплатах
И бредит дождём песок.
Не зная, какая участь
Его ожидает потом
Стекло задрожит в падучей
И станет опять песком.

В потайном кармане клёна
Спит, скукожившись, личинка.
Ей приснится на рассвете
Белых крыльев первый взмах
И натянутые туго
Между небом и землею
Струны солнечных лучей.
А за краем окоёма
Взгляда глаз лазурно-снежных –
На вершинах волн – скольженье
Бликов скомканной фольги,
Выпуская из скафандра
Чутких усиков антенны
Две, завитых ветром, будет
Слушать шум морской волны.
И, отбросив сожаленье
О потерянных мгновеньях
В бытность сонную личинки
Сквозь метель пыльцы хмельной
И безмерность ожиданья
Одинокого полёта,
Эфемерность взмахов крыльев
Лёгких призраков стрекоз
Полетит навстречу солнцу,
Чтоб сгореть в его объятьях
И на землю долго, долго
После этого полёта
Будет падать, падать, падать
Белый, белый, белый снег.

ТУТАНХАМОН

Озёра в кратерах глазниц
Луной отмеряны.
Забьгты все, кто падал ниц
Под прессом времени.
Стою, застыла, все века
На убыль – ветрено.
Ты был, как не был, ведь пока –
Ты – преждевременный.
Где ключ от сжатой нити уст?
В какой державе?
Я слышу скрип, я слышу хруст
В забьгтой яви.



В этом озере – грязь да соль,
Говорят – приносящие пользу.
Убывает вода, и невольно,
Винишь в этом ветер и солнце.

Справа,

Если к морю спиной,
запорошена сотлюю дорога,
окаймлённая сорной травой,
что за ветром бежит многоногого.
Ты,

По щиколотку войдя
в жижу, чвакающую, живую
руку мажь – от локтя до локтя,
шею, плечи, живот; вкруговую
примеряй, как одежду без мер,
всю таблицу Менделеева
и, вращая белками, как негр,
каменей под коростой медленно.

Только птиц многостайных не смей
напугать ухваткой неловкой.
прочь от озера к морю скорей
поспеси соляною дорогою,
чтоб успеть до заката доплыть
до слияния неба и моря –
рывкам синусоидным рыб
телом всем бессознательно вторя.

ТАТЬЯНА ГРИН

МАЯК рассказ

Был берег и было море.

Море было необъятным, как вечность, и глубоким, как тьма, а берег узкой полосой тянулся вдоль моря и нигде не кончался. Море иногда ласкало берег, поглаживая нежными всплесками волн, иногда налетало на скалы, стараясь их сокрушить. Так они жили – то в дружбе, то в раздоре, а между ними жили люди.

Люди любили берег и называли его «домом».

Люди любили море и боялись его.

Люди рождались в хижинах, стоящих на берегу. Детьми они бегали у кромки волн, ловили среди камней крабов и собирали моллюсков, оставленных морем после отлива. Потом они выросли и вместе с отцами выходили в море за рыбой. Время сглаживало юношескую угловатость, как волны стачивают камень, и лица людей темнели от ветра и солнца, ладони покрывались рубцами, а вокруг глаз собиралось в лучи всё больше и больше морщин. Много дней люди проводили в море, зная, что дома их ждут, а когда приходила старость, они оставались на берегу, чтобы умереть.

Когда налетали шторма, в море не выходило ни одной лодки. Их оттаскивали подальше от воды, и они лежали, повалившись на песок, словно большие чёрные киты. Люди в такие дни разводили в хижинах огонь, садились вокруг него, чинили сети и вели долгие рассказы о былом. В тех рассказах смешались жизнь и смерть, ненависть и любовь, горе и радость, и в каждом рассказе была песня о море. Люди пели о море, потому что жили вместе с ним, потому что любили его и боялись за необъятность, потому что, оставаясь на берегу, тосковали о море, а уходя в море, всегда стремились на берег. Люди пели о том, как щедро и красиво море, когда оно спокойно, и как оно ужасно, когда наливается свинцовой чернотой и холодом. Люди пели о том, что у них всего лишь маленькие лодки да звёзды в небе, и лодки не приходят домой, если шторм начинается внезапно, если звёзды скрываются за тучами и не указывают дороги. Люди пели и просили море не гневаться на них, а после шторма бросали в воду золотые вещи, надеясь этим оградить себя от бед.

Но однажды...

После бури Человек решил построить маяк.

Человек был молод, силён и уверен в себе. В тот день, когда налетел шторм, он, как всегда, ловил в море рыбу. Море с утра было голубым и спокойным, но Человек, наученный когда-то отцом, уже различал признаки предстоящего ненастья.

Лов шёл хорошо, и Человек радовался, работая с парусом и вынимая рыбу из сетей. Куртка на нём промокла от пота, и он чувствовал, как крепкие мышцы рук и спины наливаются усталостью и удовлетворением. Рыбины одна за другой ложились на дно лодки, сверкая на солнце чешуёй и раскрывая рты. Работа так увлекла Человека, что признаки близкой бури были оставлены им без внимания. Человек был уверен, что буре не застать его врасплох, что он успеет с её началом взяться как следует за парус и прийти к берегу, и поэтому Человек весь отдался охоте.

Буря налетела внезапно, при почти ясном небе, когда лодка была уже нагружена рыбой и потеряла лёгкость. Шквал резанул по поверхности волн, срывая с их гребней пену, лихо засвистал в снастях и заставил Человека выпрямить спину и посмотреть в сторону берега. Но его не было видно из-за поднявшихся волн, а со стороны моря зримо, словно живой огромный зверь, надвигался чёрный шторм.

Человек попытался поставить парус, надеясь на крепчающий, но пока не штормовой ветер, дующий с моря. Парус, хлопая, медленно пополз по мачте, но второй шквал был настолько силён, что лодка накренилась, чуть не зачерпнув бортом воды, а несколько мгновений спустя мачта с треском переломилась и, взлетев вместе с парусом, упала в воду. Человек, вцепившийся руками в доски борта, разжал пальцы, вынул нож и обрезал ненужную теперь лодочную снасть.

Вокруг стало темно из-за покрывших небо зловещих, чёрных туч, летевших так низко, что казалось, до них можно дотянуться рукой. Взбесившийся ветер налетал то с одной, то с другой стороны, и уже было невозможно понять, откуда он дует. Волны поднимались всё выше и выше, грозя захлестнуть отяжелевшую лодку.



Человек понял, что ему не удастся уйти на загруженной лодке, и он, встав на колени, стал выкидывать рыбу за борт. Он хватал скользкие рыбы тела и без жалости бросал в воду, понимая, что в этом спасение.

Шторм, разгоняя над морем свою сокрушительную злобу, сотрясал грохотом воздух, пытаясь смести воду и небо. Он метался из стороны в сторону, не управляемый никем, зависал над лодкой, крутил её, рыча, и хохотал, упиваясь своей мощью.

Когда Человек выбросил из лодки последнюю рыбку и снова огляделся вокруг, то понял, что не знает теперь в какой стороне берег. Подняв голову, Человек не увидел в небе ни одной звезды, и тогда шторм решил, что победил.

«Сдавайся! – заревел он, оглушая самого себя. – Я уничтожил тебя! Плачь от бессилия и дрожи, от ужаса, поняв свою ничтожность!»

Но Человек не хотел сдаваться. Он был молод, силен, уверен в себе и знал, что потерявший надежду – это проигравший. Он понимал, что ничего не может сделать и ему остаётся только ждать и надеяться.

Шторм никак не хотел мириться с этой крохотной, углой лодчонкой и Человеком в ней, который не сдавался. Волны одна за другой нависали над этим чужеродным комочком, но каждый раз совершалось чудо и лодка взмывала на очередной гребень, чтобы опять рухнуть в провал и опять заставить замереть сердце в ожидании нового взлёта или смерти.

Человек работал вёслами, снова и снова поворачивая лодку носом к волне. Человек забыл об усталости и не обращал внимания на мокрую одежду и пронизывающий ветер. Он грёб и грёб, а когда давал себе секундную передышку, то быстро оглядывался кругом, надеясь среди тьмы разглядеть берег.

Спустя несколько часов Человек почувствовал, что силы его на исходе и их не хватит для продолжения борьбы. Он уже не поднимал головы, чтобы осмотреться вокруг – ему было страшно.

А ветер хлестал по лицу кнутами горько-солёной воды, волны рвали из онемевших рук вёсла, и Человек отчаялся. «Неужели это всё? – подумал он, когда лодка взлетела на самую высокую волну и сил не осталось. – Неужели это всё!» – подумал он и вдруг увидел какой-то слабый свет впереди. Тупое безразличие съезило и исчезло, а надежда вспыхнула и заполнила собой всё сознание. Вёсла с новой силой ударили по воде, и когда лодка была на следующем гребне, жадные глаза просверлили тьму. Да, это был свет! Может, это горело на берегу подожжённое молнией дерево, может, это пастухи в горах грелись у костра и подбросили слишком много хвороста – Человек не знал. Он не знал, что это был за огонь, но это было и не важно. Он просто об этом не думал. Он думал только о том, что победил. Он вёл лодку на свет, который становился всё ближе и ближе, и пел песню. Человек теперь был уверен, что придёт домой, и твёрдо знал, что будет строить маяк.

Маяк возводился долго.

Сначала Человек искал для него место. Он обошёл весь берег, выбирая высокую скалу с гладкой вершиной, которую видно издалека. Когда подходящая скала была найдена, Человек стал рубить в её теле ступени вверх. Изо дня в день он приходил к своей скале, доставал спрятанные среди камней тяжёлый молот и железные клинья, поднимался по уже вырубленным ступеням и продолжал рубить дальше. С раннего утра и до темноты было слышно на берегу, как тяжело падает молот на камень, и только в полдень удары ненадолго смолкали, а Человек садился на одну из ступеней и ел свою лепёшку, запивая её вином.

Солнечные дни сменялись ненастьем, спокойное море становилось хмурым, потом непогода снова уступала место солнцу, а Человек поднимался всё выше и выше, пока не прорубил в скале последнюю ступень.

Человек взошел на скалу, остановился у её края и посмотрел вдаль. Он стоял так высоко, что даже чайки летали ниже, а линия горизонта стала круглой, как края большого блюда.

На следующий день Человек, подняв на плечо корзину, отправился в долину между гор. Там, у обрыва стремительной реки, он наполнил корзину сухой глиной и унёс её к скале, чтобы высыпать и вернуться снова. Весь этот и ещё много дней он носил глину от обрыва к скале, пока не решил, что её достаточно. Тогда Человек стал месить глину. Он разгребал её руками, заливал водой и, сняв обувь, месил её ногами до тех пор, пока не оставалось ни одного комочка.

Иногда люди приходили посмотреть на его работу, останавливались поодаль и говорили между собой:

«Посмотрите на этого чудака. Вместо того, чтобы ловить в море рыбу, он занимается здесь неизвестно чем...»

«Его лодка давно разохлась и в щели можно просовывать пальцы...»

«Он сошёл с ума после того шторма...»

«Он, наверное, хотел по этой скале взобраться на небо, но скала оказалась не такой уж высокой...»

«Вот увидите, он станет строить скалу до неба, иначе зачем ему столько глины...»

Но человек не слушал эти разговоры. Он выбирал у подножия скалы подходящие камни, поднимал их на вершину и укладывал в стены своего маяка. Стены шли кольцом и были толстые, чтобы противостоять ветрам, и потому поднимались медленно. Камни ложились друг на друга, а щели между ними заполнял раствор из глины и песка, и когда раствор высыхал, то становился прочным, как скала.

С каждым днём глины у подножия стены становилось меньше и однажды Человек в последний раз замесил её, в последний раз поднял по ступеням камень и уложил его в последний выступ в стене. Башня на скале приобрела законченность, и теперь люди, проходя мимо, любовались её стройными линиями. А Человек взял свою дорожную сумку, положил в неё немного еды и отправился в далёкий большой город.

В городе было много разных мастерских, но Человек заходил только в кузницы. Он отыскивал на многочисленных кривых улочках низкие, прокопченные кузницы, дожидался, пока кузнец закончит свою работу, потом подходил и начинал что-то говорить, рисовать прутиком на земле, объяснять и убеждать. Одни кузнецы слушали, покашливая и теребя рукой бороду, отрицательно качали головой и возвращались к горну, другие тоже отказывали, но ещё и посмеивались, говоря, что не выдывали, чтоб у людей прибавлялось надежды от нескольких шлифованных металлических листов.

Или потому, что у Человека не было денег заплатить за работу, или потому, что он не умел хорошо рассказать этим людям о своём маяке, только никто из кузнецов не брался сделать металлические зеркала.

Лишь после того, как Человек обошёл с десяток кузниц, он, по совету прохожего, отыскал ещё одну. Подходя к ней, Человек не услышал привычного стука молотов по наковальне и гудения горна. Двери кузницы были распахнуты настежь, а у стены на корточках сидел старик.

«Доброго здоровья, отец, — сказал Человек. — Ты не скажешь, где кузнец?»

«Я кузнец», — ответил старик.

«Почему же ты не работаешь? — спросил Человек. — Или у тебя нет заказов?»

«Заказы-то были, — вздохнул старик. — Но сейчас уже мало кто знает толк в настоящей работе. Хорошая работа дорогого стоит, но никто не платит истинную цену, предпочитая хорошим вещам дешёвые поделки».

«Тогда мой заказ тебе тоже не подойдёт, — огорчился Человек. — У меня нет денег, чтобы заплатить за халтуру, и тем более за настоящую работу».

«Конечно, если ты пришёл за безделицей или тебе нужен крепкий засов, то можешь идти дальше, тут я тебе не помощник, — сказал старик. — Но если у тебя стоящее дело, то, может быть, мы сможем договориться, даже если у тебя и не звенит в кармане».

«В кармане у меня пусто и запереть от людей мне тоже нечего», — ответил Человек и снова стал рассказывать о своём маяке, о зеркалах, которые должны собирать свет в один сильный, ослепительный луч и посылать его сквозь тьму далеко в море, неся людям надежду и спасение.

«Ты задумал хорошее дело, сынок, — встав, сказал кузнец. — Я помогу тебе сделать эти зеркала».

И кузница ожила. В горне показал синие языки огонь, меха задышали и загремели инструменты, перебираемые умелыми руками мастера.

Целый день, до ночи, Человек и кузнец работали, и работали на следующий день, и на следующий... Ночью они спали в хижине неподалёку от кузницы, а с восходом солнца снова разжигали горн и принимались за работу.

Несколько недель ушло у них на то, чтобы отковать и отшлифовать зеркала, а когда их вынесли на улицу, они так сильно отражали солнечный свет, что было больно смотреть.

Двух сильных волов запрягли в повозку для перевозки зеркал. Человек, прощаясь, протянул кузнецу руку, и оба сквозь старые порезы и грубые мозоли на ладонях почувствовали тепло друг друга.

Когда зеркала были привезены, подняты и установлены на вершину маяка, Человеку осталось только заготовить дрова. Он закидывал на плечо верёвку и топор и шёл в горы, где росли могучие красивые деревья. Их древесина была смолистой и горела, давая яркое белое пламя.

Человек валил деревья, обрубал толстые ветви, распиливал стволы на чурки, колот их и, набрав большую вязанку поленьев, взваливал её на спину. Сначала он спускался с горы к дороге, идущей вдоль реки, потом по дороге выходил к берегу моря и берегом добирался до маяка. Поленья он складывал внутри башни, немного отдыхал и отправлялся за новой вязанкой, пользуясь длинными погожими днями. Человек не давал себе поблажки, потому что знал — придут ненастные дни, и он впервые зажжёт на маяке огонь, и дров потребуется много.

И шторм пришёл. Он был такой же неукротимый и дикий, как тот, с которым однажды встретился Человек. Шторм обрушивал яростные волны на подножие скалы, словно хотел свалить её, а вместе с ней маяк. Но когда от налетевших туч потемнело небо, а море налилось свинцом, на маяке вспыхнул огонь, ударил в зеркала светом, который, отразившись, живой нитью ушёл во мрак, рассекая его и уничтожая на своем пути.

Шторм никогда не видел ничего подобного. Он никак не мог понять, кому на берегу есть дело до тех, кто в море.

А Человек поднимал по ступеням маяка дрова, подкидывал их в огонь, не давая иссякнуть лучу, и радовался тому, что какой-то другой человек очень ждёт этот луч, и огорчался, что никогда не узнает того человека...

Время, словно поток, не имеющий ни конца ни начала, течёт и течёт из одной стороны в другую. Будущее движется неотвратно, подходит всё ближе и ближе, потом на мгновение вспыхивает, пересекая тончайшую черту настоящего, и навсегда становится прошлым, покрываясь темнотой забвения.



Струи потока сохраняют идеальную чёткость, не смешиваясь между собой, и нигде не текут вспять. Всё пронизано временем, вплетено в его нити и течёт вместе с ним. Незыблемые звёзды от постоянно-го напора сдвигаются с места, и созвездия меняют свои очертания. Планеты отсчитывают года, кружась по орбитам на концах невидимых стрелок, и всё изменяется когда-нибудь, становясь мощней и прекрасней, или, наоборот, рассыпаясь пылью, которую невозможно собрать вновь.

Время течёт и всё изменяется, но море всё то же – необъятное, как вечность. Время течёт, а берег тянется вдоль моря и всё так же нигде не кончается. Море иногда ласкает берег, поглаживая нежными всплесками волн, иногда налетает на скалы, стараясь их сокрушить. Так они и живут, то в дружбе, то в раздоре, а между ними живут люди.

Люди любят берег и называют его «домом».

Люди любят море и называют его «работой».

Хижины, что когда-то стояли на берегу, время давным-давно сравняло с землёй и занесло песком, а на месте хижин поднялись белые громады домов, отражая в стёклах небо. Люди рождаются в этих домах. Они учатся, взрослеют, и многие уезжают вглубь материка, так и не узнав вкуса морской воды, а те, которые остаются, становятся моряками и уходят в море на работу на кораблях, больших, как острова.

Как и прежде, людей ждут дома, и когда моряки вырабатывают стаж, то возвращаются на берег, чтобы дожидаться старости и умереть.

Когда море штормит, в домах никто не разжигает огня и некому вести долгие рассказы о былом, потому что корабли всё равно в море. Кораблям-островам не страшны шторма, они могут видеть сквозь тьму и даже без звёзд находят дорогу и не сбиваются с курса.

Эти корабли мало чем отличаются от домов, но берег, как и прежде, тянет людей к себе. Моряки приходят из плавания, отдыхают несколько дней и им вновь не хватает чего-то – море манит и зовёт вдале, за горизонт, где мысли снова возвращаются к берегу.

Люди любят свою работу. Они стоят у штурвалов кораблей и не знают, что такое страх и отчаянье. Они давно не боятся моря и не бросают в воду золотые вещи. Люди стоят у штурвалов, думают о берегу и напевают песни о море, но это уже совсем не те песни, что были раньше. . .

Огни города уходили всё дальше и дальше, пока не стали едва различимыми точками.

– Послушай, мы ещё никогда не забирались так далеко, – сказала девушка.

– Ты не бойся, – успокоил её юноша.

Они шли по берегу моря, и галька шуршала под их ногами.

– С тобой я не боюсь, но мне кажется, будет шторм. Видишь, какое небо, – сказала девушка, показывая в сторону моря.

– Это просто облака, а ночью всё кажется страшным.

Они шли, пока огни города не исчезли совсем, и тогда девушка сказала:

– Я устала. Давай дальше не пойдём.

Юноша подошёл к ней и обнял.

– Я тебя люблю, – сказал он.

– Я тебя люблю, – как эхо, повторила она.

Потом они стояли и целовались, и им было тепло и радостно, и крепчающий ветер разведал их волосы.

– Ты самая красивая, – сказал он. – Но всё равно ты трусиха.

– Я совсем не трушу, когда с тобой, – тихо сказала она.

Потом они сидели на песке у скалы, ещё хранящей дневное тепло, и о чём-то тихо говорили. Их силуэты прятались в тени, и лишь приглядевшись можно было разглядеть белое пятно её платья и огонёк сигареты у него в руке. Им казалось, что они одни в целом мире и время остановилось. Тени от скал незаметно переползали на новые места, забывая сигарета догорала в руке, обжигая пальцы, а тёплый шёпот милых губ сливался с шелестом моря.

«Так будет всегда», – шумело море.

«Так будет всегда», – напевал ветер.

«Так будет... Так будет...» – стучали сердца, но пошёл дождь и ветер, мгновенно сменив свой нрав, заметался как бешеный, и стало холодно.

– Я же говорила, что будет шторм, – сказала девушка.

– Теперь это не имеет значения, – ответил юноша. – У нас нет куртки, и, пока мы дойдём, ты промокнешь и простудишься.

– Что же делать? – спросила она.

– Нужно где-нибудь укрыться.

Они побежали назад к городу, высматривая в скалах уступ или расщелину, но скалы, как назло, тянулись ровной стеной. Девушка остановилась.

– Давай вернёмся на то место, где мы были, – сказала она. – Там хоть чуть-чуть тише и не так льёт.

– Там не укрыться, – сказал юноша. – Прилив поднимается до скал, да и ветер нагонит воды.

Ему хотелось быть сильным, чтобы девушка ничего не боялась, но город был далеко, а дождь лил, усиливаясь с каждой минутой, и юноша не знал, что делать.

– Ой, смотри, что это?! – вскрикнула девушка, показывая на скалы.

Юноша оглянулся. Сверху, со скал, вырывался луч света и уходил в море, которое от этого стало казаться ещё темнее.

— Это маяк! — обрадовался юноша. — Пойдём туда. Я слышал об этом старом маяке, но не думал, что мы до него добрались, и что он ещё работает.

Они, держась за руки, побежали к маяку. Ступени, вырубленные в скале, спускались прямо к берегу. Юноша и девушка, запыхавшись, добежали до подножия маяка и стали осторожно подниматься по скользким ступеням. На верхней ровной площадке скалы ветер бушевал ещё сильнее, чем внизу.

— Сейчас я найду дверь, — сказал юноша. Он подошёл к стене маяка и стал ощупью обходить его вокруг. Руки скользили по шершавой стене, и в одном месте юноша натолкнулся на ветки скрюченного растения, проросшего во шву кладки. Наконец руки провалились в проём, и тогда юноша позвал девушку и толкнул дверь. В башне было тихо, на столе, чуть потрескивая, горела толстая оплывшая свеча, и дождь хлестал по оконному стеклу.

— Странно, никого нет, — сказал юноша, осматривая комнату и стряхивая с волос холодные капли.

— Может, они там, наверху, — шёпотом сказала девушка.

— Давай пройдем, ведь мы только переждать дождь, — предложил юноша, проходя в комнату.

Они молча сидели за столом друг против друга и смотрели на огонёк свечи.

— Почему здесь нет электричества? — спросила девушка.

— Не знаю, — ответил юноша. — Наверное, это очень старый маяк. Там, снаружи, в стене, даже выросло дерево.

— Здесь страшно было бы жить.

Они снова замолчали, прислушиваясь к непогоде, бушующей за стенами.

Некоторое время спустя послышались приближающиеся шаги, дверь, скрипнув, отворилась, и в комнату вошёл Человек.

— Здравствуйте, — сказал он, ничуть не удивившись гостям, словно ожидал их.

— Здравствуйте, — сказала девушка, а юноша кивнул.

Человек подошёл к полке на стене, достал новую свечу, зажег её от горевшей и поставил рядом. Потом он сел.

— Нас захватил дождь... Мы только переждать... Мы из города... — сказала девушка.

— Это шторм, — ответил Человек. — Это сильный шторм и он будет пять дней.

Человек был старый, с аккуратной седой бородой и короткими седыми волосами. Кожа на лице и руках у него была тёмная и изрезанная морщинами, так что напоминала горы, если на них смотреть с большой высоты.

— Нам надо домой, — снова сказала девушка.

— Сейчас идти не стоит, — сказал старик. — Утром я дам вам плащи, а этот шторм будет длиться пять дней.

— Не беспокойтесь, утром мы уйдём, — сказал юноша.

— Я не беспокоюсь. У меня редко бывают люди, так что я рад, — ответил старик.

— А вы тоже живёте в городе? — спросила девушка.

— Я живу здесь.

— В городе же лучше, — удивилась она.

— Там не слышно моря, а люди думают о мелочах. Да и как бросить маяк, — сказал старик.

— Что с ним случится, — сказал юноша. — Вряд ли он кому-нибудь нужен. Кораблям такие штормы — просто забава, да и ходят они далеко, где маяка не увидишь. Там столько всяких приборов...

— А правда, зачем вы здесь живёте? — спросила девушка.

Старик посмотрел ей в лицо, улыбнулся и сказал:

— Сейчас мне надо наверх, а вы приготовьте себе горячий чай. Когда я вернусь, то, если вы ещё не уснёте, расскажу вам одну старую историю о маленькой лодке и человеке в ней. А сейчас, девочка, я могу сказать только то, что знаю про корабли и люблю их, потому что они красивы и похожи на больших белых птиц, но мне всё время кажется, что среди них в море всегда есть та маленькая лодка, и тот человек в ней, которому очень нужен мой маяк.

Старик вышел из комнаты, поднялся наверх и стал подкладывать в огонь толстые сухие поленья. Пламя поднималось всё ровней и выше и стало ослепительно белым. За работой время текло быстрее, и ночь уже не казалась такой бесконечно долгой. Старик работал до тех пор, пока не почувствовал, что устал и что уже не в состоянии от обжигающего дыхания огня. Тогда он решил передохнуть. Спустившись вниз, он осторожно, чтобы не скрипнула, приоткрыл дверь. Старая свеча потухла, растёкшись лужей воска по столу, а новая уже догорела до половины. Юноша задремал, сидя за столом и положив голову на руки, а девушка спала на кровати старика, разметав по подушке волосы.

АНДРЕЙ АФОНИН

КОНЕЦ МАРШРУТА рассказ

– Через двести метров держитесь правее, – с расстановкой произнёс электронный женский голос. «Когда же ты, наконец, начнешь обращаться ко мне на “ты”?», – с лёгкой досадой подумал Лямкин.

Валерий Лямкин – российский служащий европейской многопрофильной компании – появился на свет в одном из центральных роддомов столицы без малого четыре десятка лет назад. До первого класса Валера жил в старом добром Замоскворечье, недалеко от кондитерской фабрики «Рот Фронт». Став взрослым и бывая по делам в центре, он специально выстраивал свой маршрут таким образом, чтобы пройти мимо фабрики и вдохнуть дразнящий запах шоколада, который со времён его детства ничуть не изменился. Вот и сейчас он ехал, ведомый недавно приобретённым навигатором, на своей Рыбке – серебристой «Шкоде» – мимо серой громады «Ударника», и через открытое окно со стороны набережной чувствовал всё тот же аромат из детства.

Запах шоколада был той таинственной субстанцией, которая позволяла воскресить картины из прошлого в мельчайших подробностях. Вот он с родителями гордо несёт красный флажок по кремлёвской брусчатке. Вокруг люди с транспарантами, прославляющими ушедшую эпоху. На трибуне Мавзолея над толпой горделиво возвышаются тогдашние небожители, покровительственно помакивая демонстрантам. В небо летят воздушные шары. Из динамиков раздаётся: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз», «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля» и другие песни той поры.

Уже под вечер, усталый, но довольный, с чувством выполненного долга, Валера на плечах отца возвращался домой. Ворвавшись в квартиру, он с порога начинал взалёб делиться впечатлениями с соседкой по коммуналке – старенькой татаркой бабой Зоей, которая души в нём не чаяла, несмотря на все его проделки.

Валерка никак не мог понять, зачем баба Зоя по несколько раз на дню встаёт на колени на маленький коврик и долго кому-то что-то шепчет, перебирая какие-то шарики, насаженные на нитку. Он считал, что это время она должна посвящать ему, и поэтому всячески пытался отвлечь бабушку от этого, на его взгляд бессмысленного, занятия. Так продолжалось до тех пор, пока несчастная старушка, наконец, не пожаловалась валеркиным родителям на несносное поведение их отпрыска. После нравоучительной беседы, сопровождавшейся красноречивыми взглядами родителя на солдатский ремень, Валерка хорошо усвоил, что отвлекать людей от общения с Богом ни в коем случае нельзя. . .

Последний рабочий день года остался позади. Назавтра намечался новогодний корпоратив. Участвовать в такого рода мероприятиях у Лямкина не было ни малейшего желания. Но не пойти было нельзя – шеф не поймёт.

Ведя машину, Лямкин живо представлял себе, как ему придётся завтра общаться с коллегами, которые окажутся за столом по соседству. Коллеги наверняка захотят обсудить с ним финансовые итоги года уходящего, план поставок на год грядущий и другие, не менее подходящие для застолья, темы.

Впереди на светофоре загорелся красный. На углу ближайшего дома Лямкин увидел табличку с названием улицы, на которой располагалась его первая школа. Тут же появилось внутреннее ощущение, что находящийся где-то рядом дом, в котором Лямкин жил до семилетнего возраста, ждёт его в гости прямо сейчас.

У Лямкина возникло непреодолимое желание хотя бы одним глазком взглянуть на свою бывшую квартиру. На небольшую кухню с газовой плитой, где он когда-то случайно поджёг тряпку и опрометью понёсся в комнату к родителям, чтобы, захлёбываясь плачем, рассказать им о случившейся беде. На пятиугольную гостиную, в которой он из-под трёхметрового потолка сигнализировал на диван с целой пирамиды, состоявшей из обеденного стола, журнального столика, стула и табуретки, рискуя вызвать у бабушки инфаркт. На широкий коридор, по которому дед возил маленького Валерку на коврике с приделанной к нему верёвкой, как на санках, а Валерка, заливаясь счастливым смехом, старался дотянуться до разбросанных повсюду фантиков. . .

Лямкин прекрасно помнил тот момент, когда, придя с работы раньше обычного, сияющий отец торжественно протянул матери ордер на новую отдельную квартиру. Поначалу Валерка обрадовался предстоящей перемене. Если кто и живёт по принципу: «Всё, что ни делается – к лучшему!», так это



дети. Но в дальнейшем, после переезда на тогдашнюю окраину Москвы (которая теперь уже многими воспринимается как центр), он с каждым годом всё больше и больше ощущал себя чужим в обществе безликих «хрущёвок» и «брежневок», и его всё сильнее и сильнее тянуло вернуться в родную «сталинку» с её огромными усатыми тараканами, тёмной жутковатой кладовкой, древним лязгающим лифтом, прокуренной лестничной клеткой...

Повинуясь спонтанному импульсу и не обращая внимания на протест навигатора, который сразу сообщил об отклонении от маршрута, Лямкин свернул в Старый Толмачёвский переулок и через минуту оказался у двери, ведущей в подъезд той самой его «сталинки». Поначалу он даже не узнал свой подъезд, поскольку на месте деревянной скрипучей двери теперь красовалась её преемница. Преемница была массивной, металлической, с серебристым отливом, похожей на дверцу огромного сейфа. Рядом к стене был прикреплён видеодомофон. Лямкин набрал чудом всплывший в памяти номер квартиры. Под домофонное курьёзное почуствовал, что его изучают. Через несколько секунд домофон запищал, открывая дорогу внутрь подъезда.

На лестничной клетке Лямкина поджидала густо размалёванная особа. Миниатюрная маечка-боксерка прикрывала впечатляющие природные достоинства особы чисто номинально.

— Вы к Луизе или к Жоржетте? — поинтересовалась она нарочито кокетливым голосом, в котором, однако, ощущалось длительное воздействие на голосовые связки табака и алкоголя. — Пока свободны только они.

— Я... к... в общем... я просто хотел...

Размалёванная особа разочарованно смерила Лямкина взглядом и, осознав, что «клиент не созрел», да и вряд ли когда-нибудь созреет, захлопнула перед его носом дверь.

Отъезжая от дома, Лямкин чувствовал на себе взгляд продолговатых окон с дугообразными верхними рамами, похожими на удивлённо вздёрнутые брови. Когда-то из этих окон бабушка наблюдала за тем, как он с другими ребятами играл на детской площадке. Он интуитивно понимал, что бабушкин взгляд — это оберег от всех напастей. Бродячие собаки не станут его облаивать, нахальный соседский папан не позарится на его любимый трактор, злые духи не уташат его в тёмную подворотню.

Теперь же его провожали взглядом совсем другие, чужие и настороженные, глаза...

— Через триста метров поворот налево, — снова подал голос навигатор, возвращая Лямкина из его бывшей квартиры в уютное тёплое нутро Рыбки.

По большому счёту, навигатор Лямкину был не нужен. Будучи коренным москвичом (в существование которых теперь верится с трудом), он прекрасно знал родной город. Не просто знал, но и помнил его свободным от гипермаркетов, которые нынче яркими мухоморами произрастают на каждом перекрёстке. Коммерческих палаток, круглосуточно снабжающих своих «прихожан» алкогольно-никотиновой отравой. Рекламных щитов и растяжек, восхваляющих: иномарки всевозможных моделей, комплектаций и расцветок; нижнее бельё известных и неизвестных брендов; телекоммуникационные и банковские услуги; корма для домашних животных; строительные и отделочные материалы; электронику, бытовую технику, косметику, участки на Луне...

Это была, как говорят маркетологи, спонтанная покупка. За пару недель до Нового Года, по окончании очередного рабочего дня, похожего на все прошедшие и предстоящие дни, как офисные стулья друг на друга, Лямкин зашёл в расположенный рядом с офисом салон сотовой связи, чтобы поглазеть на электронные новинки. И тут он услышал Её голос. Голос произнёс всего два слова: «Конец маршрута».

Продавец-консультант озадаченно тыкал пальцем в небольшой экран чёрного блестящего прибора, видимо, пытаясь проверить какие-то его опции.

— Я беру этот навигатор, — сказал Лямкин продавцу и сам тут же удивился тому, что только что произнёс. Но отступить было поздно.

Обрадованный тем, что появилась возможность отделаться от строптивого прибора, продавец проворно упаковал устройство в коробочку, приложил сканер к штрих-коду, принял от Лямкина деньги и выдал товар.

Лямкин боялся себе в этом признаться, но понимал, что с момента покупки устройства он уже ни дня не может прожить без голоса Девушки из Навигатора. Валерий использовал навигатор только для того, чтобы слышать этот немного низкий, спокойный, вызывающий чувство умиротворения голос. Когда Лямкин, зачастую намеренно, отклонялся от маршрута, Голос спокойно, без тени недовольства, сообщал ему скорректированные данные.

Валерий был уверен, что у обладательницы голоса длинные волнистые тёмно-русые волосы. Задумчивые зелёные, но при этом чуть с южным разрезом, глаза. Тонкие запястья. Гибкий стан. Одним словом, блоковская Незнакомка. Ему очень хотелось, чтобы её имя было под стать его — Валерия.

«Странно, зачем она меня уводит с Ленинского раньше, чем обычно?», — озадаченно подумал Лямкин, выполняя предписанный навигатором манёвр. Лямкин знал, что устройство не умеет прокладывать маршрут с учётом пробок. Однако послушался совета и свернул на улицу Дмитрия Ульянова.

Едва проехав двести или триста метров, Лямкин услышал со стороны Ленинского проспекта сначала истошный визг тормозов, потом один глухой удар, следом за ним сразу же другой... Вначале он почти никак не отреагировал на это в общем-то рядовое для мегаполиса происшествие. Мало ли машин в столице бьются каждые пять минут? Но потом отдельные паззлы начали складываться в общую картину. Езда обычным маршрутом, неожиданная команда навигатора с него свернуть, авария

именно там и тогда, где Лямкин должен был оказаться... Неужели устройство сознательно отвело его от опасности?!

Крайне озадаченный, Валерий подъехал к дому, приткнул машину в единственный чудом оставшийся свободным карман и услышал ставшее уже привычным: «Конец маршрута». Но до того, как он успел нажать кнопку выключения устройства, оно произнесло: «Спокойной ночи, Валера. До завтра!».

Это было похоже на галлюцинацию. Даже если допустить, что навигатор запрограммирован на отдельные фразы, откуда он знает его – Лямкина – имя?!

В ту ночь Лямкин долго не мог уснуть, раздумывая над странным поведением электронного помощника. А когда он, наконец, провалился в забытё, ему стал сниться бесконечный лабиринт городских кварталов. Ночную Москву пронизывали золотые, рубиновые, изумрудные нити. С высоты Москва походила на материнскую плату гигантского компьютера, выполняющего одновременно множество программ. Суперкомпьютер регулировал автомобильные и людские потоки, движение поездов, полёты авиалайнеров, навигацию прогулочных корабликов, направление и скорость ветра, восход солнца, наступление сумерек. Определял, кто с кем окажется в соседнем кресле в самолёте, за одним столиком в кафе, в одном лифте в подъезде, на соседних ступеньках эскалатора в метро, в одном купе в поезде, около одного и того же полотна в картинной галерее... Предвосхищал, для кого такая встреча станет мимолётной, а для кого – судьбоносной.

Во сне Лямкин спешил на важную встречу, но никак не мог найти дорогу. Буквы в названиях улиц превращались в шахматные фигуры, фонарные столбы – в тропические пальмы, светофоры – в яркие отливающие перламутром павлиньи хвосты. Последние рассыпались на множество цветных осколков и оседали на фасадах домов и кронах деревьев, образуя переливающиеся всеми цветами радуги новогодние гирлянды.

Навигатор уверенно вёл Лямкина через дебри мегаполиса, но в последний момент, когда, казалось, нужный адрес уже был найден, он оказывался в каком-то тупике. Кошмар повторялся раз за разом. Судорожно сляясь ввести искомый адрес, он слышал от навигатора, не реагирующего ни на какие команды, монотонно повторяемое: «Вы ушли с маршрута», «Вы ушли с маршрута». Совсем отчаявшись, Лямкин собрался было выбросить бесполезный прибор в окно автомобиля. И в этот момент тот неожиданно произнёс: «Завтра вечером жду тебя по адресу: улица Новогодняя, дом тридцать восемь. Твоя Вале...». Концовку фразы заглушила трамвайная трель, которая наяву оказалась звонком будильника.

Всю первую половину дня Лямкин то и дело поглядывал то на отрывной календарь, на котором оставалось всего несколько листков, то на настенные часы, как будто это могло приблизить момент, когда пора было ехать на корпоратив. Он рассчитывал как можно быстрее отбыть корпоративную повинность и направиться на Новогоднюю улицу, где его ждала Валерия из навигатора.

Наконец, когда солнце уже начало клониться к закату, терпение Лямкина лопнуло. С большим запасом времени он вышел из подъезда и сел в машину.

Как и ожидалось, Лямкин приехал одним из первых, без труда нашёл место на парковке и зашёл в ресторан.

Всё было именно так, как Лямкин себе и представлял. Бравурные речи руководства, занудные разглагольствования менеджеров среднего звена, беззаботное хихиканье подвыпивших секретарш.

Лямкин совершенно не переносил спиртное, и коллеги об этом знали. Даже от стакана пресловутой отвёртки – смеси водки с апельсиновым соком в соотношении один к трём – он мог надолго отключиться. Но сам по себе апельсиновый сок он предпочитал всем другим сокам. Вот и сейчас Лямкин потягивал апельсиновый сок, меланхолично наблюдая за тем, как неуклонно растёт градус в окружающих его сотоваришах, приближаясь к той критической отметке, после которой обеденные столы в обязательном порядке превращались для них в танцплощадку.

Когда первичный голод был утолён и народ пустился в пляс, пока ещё на полу, под гортанную песню какого-то шансончика, Лямкин незаметно выскользнул из ресторана, напоследок осушив очередной стакан своего любимого апельсинового сока.

По дороге к машине Лямкин почувствовал сначала лёгкое, затем всё более сильное, головокружение. Он знал, что такое ощущение может возникать перед чем-то очень важным и приятным. Тем не менее, где-то глубоко внутри пробежал тревожный холодок...

Лямкин погрузился в машину, повернул ключ зажигания, включил навигатор и ввёл в него услышанный накануне во сне адрес: улица Новогодняя, дом тридцать восемь.

За окном замелькали фонарные столбы, редкие прохожие, угловатые строения, автобусные остановки, заснеженные деревья, на которых, нахохлившись, сидели тёмные птицы. Машин было немного – в основном старенькие «Ладьи», которыми управляли «гости столицы», спешащие как можно быстрее избавиться от очередного пассажира в надежде тут же заменить его на нового клиента, спешащего к праздничному столу.

Впереди показалась какая-то развязка.

– Через пятьсот метров держись правее, – подала Валерия голос, уводя машину Лямкина наверх на мост.

Ошибки быть не могло – она, наконец, обратилась к нему на «ты». И произошло это не во сне, как минувшей ночью, а наяву! Значит, приснившийся ему адрес действительно существует и Валерия уже, скорее всего, ждёт Лямкина по этому адресу!

– Через один километр поворот налево, – снова ожил навигатор.

Поворачивая руль, Лямкин поймал себя на мысли, что не узнаёт окрестностей. Он нисколько этому не удивился, понимая, что сегодня в его жизни особенный день, и это только начало предстоящих нежданностей.

Вдоль широкополосного шоссе, на которое выехала «Рыбка», замелькали коттеджи, бензоколонки, склады. Названия населённых пунктов были незнакомыми: Морозово, Студениха, Рождественское. Вскоре загородный пейзаж стал совсем уж деревенским. Многополосное шоссе как-то незаметно превратилось в незаасфальтированную просёлочную дорогу. Вдоль дороги начали попадаться гужевые повозки, гружёные дровами и какими-то тюками. Возницы, одетые в тулупы и ушанки, привычно понукали тощих лошадок. Над островерхими крышами деревянных избушек вился печной дымок, образуя в морозном воздухе причудливые буквицы. К одной из избушек была косо прикреплена табличка, на которой в тусклом свете фонаря Лямкин различил надпись: ул.Новогодняя, д.4. Значит, он на верном пути и до встречи с Валерией осталось совсем чуть-чуть!

На потемневшем небе проступили звёзды. Далёкие светила напоминали застывшие на миг искры от бенгальских огней. Лямкину показалось, что одна из звёздочек начала пульсировать, разбрасывая вокруг льдисто-голубые брызги света, и увеличиваться в размерах.

Валерий догадался, что это его Валерия спешит к условленному месту встречи на своём звездолёте. А навигатор был не чем иным, как связующим звеном, благодаря которому они с Валерией нашли друг друга, даже несмотря на то, что жили на разных планетах. Надеясь опередить Валерию, Лямкин прибавил газу. На дисплее навигатора обозначился финиш.

Впереди на лесной поляне Лямкин увидел сияние. Он понял, что звездолёт с Валерией уже приземлился, и до упора выжал педаль газа. Рыбка обиженно взвизгнула и во весь опор понеслась по ухабам вперёд. Так и есть: сигарообразный звездолёт был уже на месте. Он стоял на лесной поляне, отражая лунный свет от своего серебристого, как рыба чешуя, обтекаемого корпуса.

К земле протянулся луч, служивший трапом. Через секунду на нём показалась женская фигура. Увидев Лямкина, который стоял как вкопанный, Валерия улыбнулась и направилась прямо к нему. Она была точь в точь такой, как он её себе и представлял.

– Конец маршрута, – услышал он столь знакомый и любимый голос.

Лямкин хотел сказать что-то в ответ, но слова застряли у него в горле.

Вдруг Лямкин вспомнил, что не выключил навигатор. Он сделал шаг к машине, открыл дверь и потянулся к устройству, прикреплённому к приборной доске. В тот же мигон почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо.

– Канэц маршрутэ, – произнёс у Лямкина над ухом голос с сильным кавказским акцентом. Повернувшись на голос, Лямкин увидел, что рядом с ним сидит какой-то горбоносый южанин. «Как он сюда попал и что он делает за рулём моей машины?», – успела промелькнуть тревожная мысль. В следующую секунду из навигатора голосом Валерии донеслось: «Конец маршрута». Навигатор, как ему и полагалось, находился на приборной доске. Только сама доска была другая, нежели в Рыбке – более узкая, с по-иному расположенными кнопками и циферблатами.

Лямкин стал озираться по сторонам в надежде увидеть звездолёт. Но ни звездолёта, ни поляны, на которую он приземлился, не было видно. Зато Лямкин различил знакомые очертания своего подьезда.

– Давай трыста, брат, как дагаварылись! – сказал кавказец, тыча в навигатор пальцем с заскорузлым ногтем. – Болше так много нэпэй!

Обдав Лямкина едким выхлопом, фиолетовая «семёрка» резко скрылась за углом дома.

В кармане завибрировал телефон. Лямкин машинально достал его из кармана и нажал на зелёную трубку.

– Старик, ты как? – услышал он знакомую скороговорку Игоря из отдела логистики. – Ох, и расслабился же ты нынче! И главное, красавчег, хотел сам за руль сесть! Хорошо, кто-то из наших заметил, как ты вокруг своей Рыбки кренделя выписываешь! А когда мы тебя в такси сажали, ты всё твердил какой-то странный адрес: улица Новогодняя, 38. Хорошо, Ромка из отдела маркетинга живёт с тобой в соседнем доме – он и сказал водиле твой реальный адрес. Кстати, ты, наверно, схватил Ромкин стакан с отвёрткой – вот тебя и срубило! Ладно, не парься – со всеми бывает! Рыбка твоя в порядке, завтра заберёшь с парковки. А навигатор твой у меня. Если б я его не забрал из твоей машины, он бы уже в сосульку превратился! Так что с тебя причитается! Позвони, как просохнешь! Отбой!

В трубке послышались короткие гудки.

Лямкин поднял глаза к небу. Звёзды были такими же яркими, как над поляной, на которую приземлился звездолёт. Но ни одна из них почему-то не становилась крупнее...

ОЛЕГ КУИМОВ

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ рассказ

По институту слух прошёл: появилась натурщица красоты необычайной. Любопытствующих – толпы. Под любым предлогом норовят в класс заглянуть. Даже многолетний служака института вахтёр Палыч, с почётом отправленный на пенсию ещё пару лет назад, и тот как-то узнал – тоже заявился. И то! Как не полюбоваться на такое чудо! Сказать: красота редкостная – так и так уже понятно. Описать – сколько уже описано, все достойные слова в употреблении побывали – попробуй неизбитое найди! Так стоит ли тогда повторяться за кем-то и новый кафтан старыми нитками шить? Не то будет. Одним словом, чудо как хороша была! А в глаза глянешь – пропасть можно: небо одно, небо и небо, высь и высь без конца и без края. И с земным никакого соприкосновения. Если и рисовать с кого ангела, то только с неё. «Совершенство линий», – лучше, чем преподаватель-монументалист Николай Евгеньевич, и не скажешь.

За это совершенство линий и ухватился он, как утопающий за соломинку. Стал тоже вместе со своими студентами Катеньку писать. Увлёкся, с упоением. Ещё бы: такими дарами судьбы только глупцы разбрасываются.

Обещал Николай Евгеньевич когда-то в настоящего художника вырасти, да на его беду затрубили медные трубы после первых коллективных выставок, полилась река винная, да за жизнью весёлой и развлеклось, растаяло дымом сквозь пальцы особое художественное видение; одно мастерство осталось, хоть и значительное, а не Дар – всё равно как тело без души.

Спohватился годы спустя Николай Евгеньевич, за ум взялся. Да до поры думал, что наверстал упущенное и что приблизился со временем вплотную к совершенству в мастерстве, почти достиг творческого абсолюта. Вот-вот – и всё, предел, выше некуда. Разве что чего-то не хватало, какой-то неуловимой малости, вроде лёгкого штришка. И напрягался в поисках его, искал через добросовестную работу, через глубокие размышления. Казалось: вот-вот и уловит. И вдруг, когда лучшие годы давно промелькнули, сам не понял, как оно вышло, но словно пелена какая-то с глаз упала; и представало перед ним то, что раньше верным казалось, совершенно в ином ракурсе. И поразился Николай Евгеньевич тому, что, оказывается, плавал всё это время по поверхности, потому что таланту его недоставало глубины мышления, поразился и с грустью осознал, что подлинное мастерство только начинается. А он-то думал! Только начинается! Когда жизнь к чёрной линии покатила-понеслась. Вылились, выходит, теперь чёрными слезами утраченные годы полупраздного существования. И самоуверенность да звуки медных труб вот как теперь вороньим карканьем откликнулись. Не тех людей, получается, слушал, а от честных отворачивался: завидуют, мол.

И до того страшно стало, оттого что столько лет затрачено впустую, такая тоска в душу заползла, что хоть бросай всё да на край света беги. Тошно, страшно, больно и, хуже всего, что очень уж далеко отшагал не в том направлении за миражом.

Но за линией собственного потолка, в который столько лет головой бился и который теперь всё-таки преодолел, как истинное откровение, а не заезженной до дыр безликой аксиомой явилась ему вечная, как мир, мудрость: овладение мастерством, как и познанием, бесконечно, но преодоление каждого его миллиметра всё равно счастье. И то, что сумел принять, – благо! А что не смог – тоже благо, но не твоё – кого-то другого, того, кому хватит и дара, и времени, и напряжения. Но нет ничего без блага. И нет его только в лености – позорной, обесмысливающей саму жизнь человеческую.

И когда переболел Николай Евгеньевич этим суровым откровением, то понял, что только трудолюбие и уберегло его в итоге, вывело на верный путь. Но опять-таки: не находилось теперь достойной темы. Вот потому и увидел в Катеньке редкий шанс настоящее сказать, чтобы помнили, чтобы радовались.

И как же Катенька у него пошла! Полетела – не остановить! Давно так не писалось, чтобы ничего более не хотелось, чтобы каждая первая мысль поутру – о Катенькином образе. Летит девочка – вот оно, настоящее, – выпестовывается. Ай да Катя! Всем Катям Катя! Положила, зная, судьба удачу на его пути.

Эх, художник! Улетела душа в неведомую высь, оторвалась от земли и того, что на ней деется, видеть перестала. Ладно бы о том, что есть-пить надо, не помнила, ладно бы, если все заботы из головы вылетели. Это всё мелочи! Беда же таилась в сластолюбивых взглядах на Катеньку собственного ученика Максима Перевалова. Решил он Катеньки во что бы то ни стало добиться, мало того – посперил.



Надлежало Максиму до маститого художника дорасти. Так уж звёзды распорядились — генеральских погон отцовских. Кто из великих художников не был знаком с курировавшим культуру невысоким балагуром из конторы? А кое-кто и дружбу с остроумным знаменитым живописцем водил. Так что, когда у генеральского чада талант открылся, вместе с ним и необходимые двери открылись. Учился Максим в суриковской школе, лучшие педагоги ещё на дому с ним занимались. И руку ему поставили, и мозги в нужном направлении настроили. В институте он быстро выделился, и вскоре ясно стало, что, при наличии открытых для него дверей, художническая масса ещё одним маститым вскоре прирастёт. А вот малое братство настоящих художников его не ждало: ничем новым, неожиданным не цепляли его работы. И хотя и почерк свой Максим быстро нашёл, но то всё лубочные картинки — народ поразвлечёт оригинальничанием. И если ещё учесть, что был Максим собой очень хорош, то неудивительно, что в институте он не просто пользовался большим успехом среди женского пола, а даже отказа не ведал.

А Катенька кто она? Приезжая из какого-то волжского городка, не то тверской стороны, не то саратовской. А в столице жизнь красивая, весёлая. Одно слово — праздник! Вот оно веселье — руку протяни. А оно для других, для тех, что побогаче, посноровистей. И оттого особенно обидно, тем более что и сама красотой да умом не обижена. Как ни крепилась Катенька, а не устояла перед Максимом. Жить-то ведь хочется с восторгом, а не просто жить. А что, будущее у него многообещающее и сам хорош собой. И началась у неё другая жизнь: красивые наряды, богатые рестораны, известные вечерние клубы. Поверила, что Максим ей такую счастливую жизнь до конца дней обеспечит. Мало что поверила — полюбила парня. Закружилась без памяти головушка у девицы.

Глянул однажды утром Николай Евгеньевич на Катеньку, а глаза у неё светятся, сияют; скачет, рвётся из них наружу счастье солнечными зайчиками. «Эх, как хороша сегодня Катенька! — думает. — Как жаль, что не смогу глаз твоих сейчас взять, не потяну. Эх...» — вздохнул горестно, жалея, что вчера перебрал чуток с друзьями на радостях после выставки. И принялся детали завершать.

Как же он после сокрушался, что не отважился к глазам Катиным приступить. Обманул Максим Катеньку, пауком мохнатым оборотился. Взял своё, да и уполз в укромное место свежей добычи дожидаться. А впрыснутый им яд потек по Катенькиной душе, обезволил, высь безбрежную в глазах выел. Какая тут высь после всей той Камасутры, которой он её обучил. К тому же без тусовок и прочих развлечений жизнь тоже уже не в радость была. Изменилась Катенька и не могла уже прежней стать, даже если бы за неё душу свою кто положил. Сама не заметила, как превратилась в обычную паучиху. Вроде всё та же девица-краса, да только настоящего художника не обманешь: получше всякого сверхсовременного рентген-аппарата видит. Что там Николай Евгеньевич заметил — паучьи ли лапки, присоски ли, но то, что главного в ней уже нет, сразу определил. Опечалился. Сердитым воробьём нахохлился.

Надо заметить, что дело к зимней сессии шло. И как узнал Николай Евгеньевич про Катеньку с Максимом, так отказался ему зачёт ставить. Наедине, еле сдерживаясь, чтобы не взять за грудки, высказал: «Ты что это, гадёныш, учинил! Ты думал, никто не узнает, кроме твоих дружков, как ты девочку своей Камасутрой развратил?! Хвастун! Зачем девочку было портить?! Ты Бога распял! Понимаешь!!! Самый натуральным образом. Если ты не понял, что сотворил, то тебе никогда не стать художником. Даже если бы ты собрал всех шлюх Москвы, это не помешало бы тебе стать настоящим мастером. Но за Катеньку ты никогда им не будешь. Никогда! — повторил преподаватель металлическим голосом. — Да такая одна на миллион, а то и больше. И где я вторую найду?! В Москве двенадцать миллионов народу, а такая, может, одна ещё и есть, и то не знаю. Всю Москву перелопатить можно, а не сыщешь. И в провинции целую жизнь искать будешь с тем же результатом. Я ведь пишу её, а закончить теперь, получается, из-за тебя не смогу. Весь труд насмарку... Ты глаза её видел? Это же чудо! Дар Божий! Врубился? А теперь уже нет тех глаз. Другие они. Эх ты...»

Николай Евгеньевич замолчал, не находя слов от негодования. В возникшей тишине отчетливо прозвучал зубовой скрежет. «А для того, чтобы мазнёй заниматься, диплом не нужен, — продолжил он после короткой паузы. — Так что зачёт я тебе пока не поставлю... в науку».

Максим понуро молчал, и Николай Евгеньевич, дав выход своему негодованию, поостыл и уже спокойнее сказал:

— И вообще, перевелся бы ты к Ильё... к Ильё Петровичу. И хотя переходы у нас не приветствуются, я поспособствую... проблем не возникнет... совсем не возникнет.

— Хорошо, Николай Евгеньевич, — повернулся, не поднимая глаз, Максим и уже в дверях бесцветным голосом тихо сказал, — я подумаю.

— Думай! Хорошенько подумай!

Загоревал Николай Евгеньевич, запил. И как не запить, когда дело всей жизни срывается по вине какого-то мальчишки-мажора. Такая боль скрутила, оттого что душу, наконец, в картине распахнул и вот, кажется, сотворится то, что в истории после него останется, что бы ни написал после, — ан нет! последнего штриха не хватает, главного штриха, без которого всё пустое. Похитили, лиходеи! распинатели! Э-э-э-э-э! Не пощадил, глупый мальчишка.

Пил мастер и до одури, и по-тихому. Добро хоть из института не поёрли. Какое-то время подменяли друзья-товарищи, потом остановился, привёл дела в порядок, а только писать совсем прекратил. И внешне переменялся. Раньше всё лохматый ходил, вечно заспан, помят, а тут — волосинка к волосинке, бородка ухожена, взгляд ровный, твёрдый, зато прежде проскакивавшее озорство в глазах исчезло. И превратился мастер в натурального преподавателя высшего учебного заведения — высокообразованного, высококультурного доцента. Стал строг, требователен. И по-прежнему зачёта



по мастерству Максиму не ставил. А тот отцу не признавался, отец же в дела сына не лез принципиально, чтобы не баловать. Вот и тянулась катавасия ещё год. Как-то не исключили парня, хотя наличие такого «хвоста» каралось беспощадно и однозначным образом.

Понятное дело, что пробовал незадачливый студент получить зачётную индульгенцию из рук мастера и мыгъём и катаньем. К частым пересдачам, чтоб на измор взять, естественно, прибегал, да не тут-то было!

И вот однажды заявляется он к Николаю Евгеньевичу, а с ним девушка, чем-то на Катеньку похожая, только чуточку бледнее да потоньше.

— Вот, Николай Евгеньевич, я вам натуру привёл. Может...

— Давай зачётку, — опешивший от нежданного уже счастья студент с радостью заметил мелькнувшую в глазах преподавателя снисходительно-доброжелательную усмешку. — А где ж ты нашёл вторую Катеньку?

— Не поверите, на Арбате. В Литературный приехала поступать, на поэзию.

— И откуда же такое чудо?

— С Енисея.

Дописал Николай Евгеньевич, наконец, картину и понял: случилось! В его жизни главное событие произошло. Пусть пока ещё и с одной картиной, но вошёл всё же в малый круг настоящих художников, научился-таки улавливать ту малость, тот последний лёгкий штришок, который прежде не давался. И как-то безразлично стало официальное признание, известность, слава, о которых прежде мечтал. Пыль всё, сладкая, но пыль. Сколько художников ею объелись, что называется, выше головы. И где они сейчас? кто о них помнит? Много рисующих, мало тех, страждущих, мечущихся, кто у зрителя слезу вышибает или песню. Такие художники и остаются, не исчезают в небытии. А в свою картину Николай Евгеньевич верил, как в путеводную звезду всей его жизни. И прежние ориентиры исчезли в её тени, как и внезапно обрушившаяся запоздалая слава и восторженные отклики знатоков, воспринятые им на удивление буднично, словно привычные. Сразу по завершении картины навалилось на него страшное опустошение. Николай Евгеньевич как-то разом постарел, высох.

Знать бы, что движет порой нашими поступками. Почему мы вдруг несёмся туда, где не предполагали быть, и сталкиваемся с тем, кто (или что) меняет жизнь, или с тем, о ком и думать забыли? Почему? Судьба, случайность? Что?

Год спустя Катенька возвращалась с женихом с отдыха на Сейшелах. «Уже дома! — радовалась про себя забеливавшему тёмный тротуар снегопаду. — Самая замечательная зимняя погода!»

На Садовом сразу же попали в пробку. Видя, как нервно постукивает по рулю жених, она предложила:

— Саша, а поехали через центр.

— Ну да, а если в пробке застрянем?

— Саша, — рассыпался озорным звоном Катенькин смех, — если-если, какая нам разница? А если даже и так, то мы уже застряли. Хрен редьки не слаще.

— А поехали, — согласился он, хотя обычно ездить через центр не любил.

По «Авторadio» громко кричали какие-то мегаллисты, которых она не терпеть не могла. Переключила на другой канал. Передавали новости, и она собралась было искать дальше интересную музыку, но при словах «... скоропостижно скончался...», заинтригованная («интересно, кто это умер?») замерла. «... Художник Николай Маслов, картина которого «Таинство» произвела фурор во всем мире и за которую индийский миллиардер (фамилию она не разобрала) предлагал миллион долларов. В суриковском институте проходит выставка работ покойного».

Катенька печально поджала губки.

— Саша, сверни, пожалуйста, к суриковке. Здесь совсем рядом. На пять минут, не больше.

— Катенька, ты чего, устал я, домой бы... — но, заметив, как изменилась в лице невеста, спросил, — ты его знала?

— Да.

— Давай заедем завтра.

— Нет, Саша, я боюсь, что вообще тогда не заеду. Пожалуйста... сейчас надо, я чувствую.

На выставке было многолюдно. Возле траурной фотографии мастера негромко переговаривались мужчина с женщиной: «Такой нестарый ещё...». — «Да, живи да живи». — «А что с ним?...». — «Сердце... перенапряжение...»

Катя рассеянно пробегала взглядом по картинам, не зная, зачем она здесь: этот мир был закрыт для её понимания. И всё же какая-то сила побуждала заглядывать в каждую картину.

— Катенька! — услышала она взволнованный голос ушедшего вперед жениха. — Катенька, иди сюда скорее!

Она подошла и застыла перед картиной, возле которой стоял Саша: на неё внимательно смотрела она сама, только не совсем такая, какой видела себя в зеркале. Другая Катя, Катя из прошлой жизни, о какой она и помнить уже забыла.

Уходя с выставки, она плакала, не замечая, как при её появлении удивлённо вскидываются брови и приоткрываются рты у некоторых посетителей, как одновременно замолчали негромко, но с интересом переговаривавшиеся между собой на выходе устроители выставки. Если бы Катенька обернулась, то заметила бы неподвижных людей, провожавших её взглядами. Всё вокруг было как в тумане, и Саша, поглощённый какой-то мыслью, заботливо поддерживал её под руку.

АЛЁНА ЩЕРБАКОВА

«И ЗРЕНЬЮ, ПРЕВРАЩЁННОМУ В СТРЕЛУ...»

Кто в зеркале, оставленном во сне,
Кто в жёлтом заколоченном бреду,
В дороге, дрожи, не в своём уме;
Невидимый и огненный, в момент,
Когда всё изнывало по весне
До памяти, что за тобой придут,
Мы тратим восхищение замен,
Не слышного перемещенью душ.

От тихих рук, застывших у двери
До невозвратных набережных, струг,
По хроникам песочного, витрин,
При тех, кого не более, чем три,
Без тех, кого не менее, чем вдруг,
Ты в дереве, ты в девочке, вблизи,
Ты в зеркале, протравленном внутри,
Снег гасит придорожный реквизит,
Когда несёт мостами, растворив.

Отсутствующим ропотом Иов
Подобен дням, что схватывают след,
Свет, переросший в зрение, и он
Столь беспощаден, сколько милосерд,
И зренью, превращённому в стрелу
О праведных, отправленных в итог,
Как Бродскому, напетому на слух,
Заметившему вслед, что сам немногих.

ГОВОРИТ ПОКАЗЫВАЕТ

Металлически пахнет воздух – раздев простор.
Не итог, но уже предчувствие с ходом – встык.
Подтверждает уловку Фауста – ich восторг,
Выбор Мастера – отражённые в нём цветы.

Между встреч и утрат – значение, что влечёт.
Ты со мной никогда навсегда никогда навсегда.
Как тебя величать? День неистов и не свечён,
Я смотрю, как земля по краям вспять реке течёт.
Весь со мной говорит, а показывает – вода.

Выбивает спичку из рук дождь, как репетитор;
Братья-то о крове всё, да о силе
Норовят. Поглядишь легко, и кивнёшь в пути,
Где у них, у каждого от меня по сыну.



СПИРИТ

Столкнуться на фото, в углу геометрии, выронить
 Отсутствия стыд из продавленных мелом парадных.
 Невидимый телу набросок твоей головы
 Надёжней числа ночных эркеров, тонущих взвять
 От столоверченья. Мы всё просадили. Мы рады.
 Я пробую тронуть разрез золотой синевы,
 Когда мы беспечно кружили в расстрелах листвы,
 Рулетку вертя на балу, и ходили в нарядном.

На голос выходишь из зданья, выходишь – из тела.
 Чем старше потери – тем в чтенье отчётливей вник,
 Не друг уезжает, от времени век *твой* отвык,
 В пространстве, ещё убедительней Эшера тем лишь.

Ни мой горный, ни твой игорный
 Не снесёт,
 Из меня уезжает – город,
 Невесом,
 Хоть холмы наполняет порох,
 И водой застывает штору –
 Без озёр.

Не избыточен труд Персеев –
 Зыбок плен.
 Свет, сочащийся из расселин,
 Не мелел,
 А прохода нет от спасений
 И галер,
 И поэтому здесь твой север
 Мне милей.

Сколько б в ночь не носил по сходням
 Аквилон,
 Вот лимонное масло полдня
 Натекло,
 Ровным мягким теплом приподнят
 Карий склон, –
 Наше зрение вдвое свободней
 наших слов.

Ни мой скорый, ни терпеливый
 Этот лот
 Не отменит всего, что к приливу
 Привело.
 Делим трапезу у обрыва,
 Лежит Катя, глядит счастливая
 Сквозь стекло.

Этот остров мне нравится, как дичать,
 Мыс открыт, небрит и благоухающ,
 Первозданен так, будто от греха ещё
 И от добродетели не зачат.
 Задавая мосты из шипов и чар,
 Где-то между одним и другим Эдемом.
 Потому, моя радость, коль спросишь, где мы,
 Я помедлю, теряясь, с чего начать.

От людей в отличие, наконец,
Вид собой не томит, не гнетёт окружность,
Множественно заваривай, как чабрец,
Как коан, прочитывай, сколько нужно,
Так доверие гладит внутри, неброско,
Так импровизацией сквозь перебран,
Если нет утоленья, тогда он – ребус,
Занскрит по кромке зрачка – он роскошь.

Стать ему готова одной из пум,
Мчать сквозь дёрн или катить по трассе
С рюкзачком на покато́й спине попуток,
До ковчегов его золотого трансa,
Гул сплошной, как дудук, растворяет ум,
Держит плоть – не можешь сопротивляться.

Этот возраст, как посох, – сейчас и здесь,
От надежд и памяти независим,
Вот и чувствуешь эту простую весть
Сокровенных огней и надменных чисел.

Если так громко мыслить, не только строенья – город
Может смести в лихорадке вдумчивый градус
Не телефонных, видишь ли, разговоров,
Странно мутит, как с собственной тенью подражаться,
Или лупить мячом на площадке до солнца в горле,
С мальчиком имени Герман веселие тратя.
Каждое время по-разному тянет в горы,
Чаще самой. Если так явно звать
Вещи – откликнуться могут, и время долго,
Как под обстрелом тянется, вот и на нашем фронте
Будто без перемен, и до самой дороги к дому
Сбивчивость, чем вернее, тем тише бродит.
Солдат говорит: «Мать рада, что хожу в штатском,
Хотя Отец предпочёл бы видеть меня в форме».

Каждый ландшафт, что предложит глазам остаться –
Больше самих, и это приводит свору
Нищих затейников, глухонемых, проворных.
Знаешь ли, только здесь не найти дублёра,
Даже если порою не надираться.
Память бывает устойчивей хлороформа,
Время встречается настойчивей декораций.

(Отворачивается, будто чем-то расстроен).

Если встреча заходит то крови толчком, то именем,
Понимание является – как контрольный,
Вот ни на что и не выменяешь,
Соразмерно, равнотензорно
Расставляя двери смертельно-бесценных сцен
Сквозь уставы упрекающих в амнезии,
В отсутствии, в прошлом, в будущем, в третьем лице,
И душе, ускользавшей из тела (не то чтоб из-под ног тела тверди),
От гарнизонов до горизонтов, следующих товарным,
Может искать уже, как и терять... От жизни да и от смерти
Единственно и зависим, поверх словарного.
Степень этой непоправимости стоит входа,
Потому не бояться мне ни своей, ни твоей свободы.



В череде искупающих состояний,
Что вплотную, у кожи звучат, и ближе,
Вместо капли йода на белой ткани
Видел умбру рассветных кустов подплывших.
Нас запомнят смеющимися и лишними,
Как танцуем, время собою рая.

В частоте забавляющих приглашений
Слышал шум затянувшегося застолья;
Оставался сталкером среди шерпов.
Неизбежным знанием хорошея,
Двойников своих мы, выходит, стоим.
Если б только знал: и теперь ты, милый,
Мне как Он, – ни единого слова мимо.

ЕЛЕНА РОСОВСКАЯ

ШЕСТНАДЦАТЬ ЗЕРКАЛ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГУДВИНА

Это точно случится в обычный январский день,
Ты проснёшься и вспомнишь, что Элли ушла с Тотошей.
за стеной у соседки собака и плач детей,
а тебе повезло – ни детей, ни собак, ни кошек.

тишина, тишина, ни фм, ни другой волны,
сигареты, журналы и финики – три уродца.
разливается чай, как таинственный Белый Нил,
тараканы ползут к холодильнику, словно к солнцу.

ты проснёшься, Страшила сгорел, Дровосек угоп,
изумруды бомжи растащили и город умер.
день январский похож на обычный дешёвый гроб,
он такой же, как день в октябре, или день в июне.

заколочен балкон, потому что туда нельзя,
и оттуда нельзя, потому что душа больная.
телефон замолчал лет тринадцать тому назад,
одноклассник – приятель уехал с семьёй в Израиль.

ты проснёшься. беда не придёт, не придёт никто,
За стеной у соседки начнётся программа: будни.
на полу нарисуешь свой тысячу первый торт:
с Днём Рождения, «счастливый» волшебник, Великий Гудвин.

СКАЗКА ДЛЯ АНДРЮШИ

Мне снились сегодня сады,
Согретые лунной улыбкой.
И ветер по небу ходил.
Со скрипкой? Конечно, со скрипкой.

Садовые гномы тайком
Дорожный украсили камень.
И пел мой невидимый дом,
Сверкая во тьме огоньками.

Мне снились шестнадцать зеркал,
Слагающих саги о лете.
И кто-то над небом играл.
На флейте? Конечно, на флейте.



КАЗНЬ» ЛОЛИТЫ

Продавщица в ларьке на углу Прототындарь Лолита –
Баба, хваткая, жирная с наглыми злыми глазами
Рано утром покинула пост и ушла. Дверь открыта.
Просто спинула враз и теперь поминайте как звали.

В эту ночь то ли Ангел явился во сне ей, не знаю,
То ли дьявол её искушал, только виделось многое:
И маманя и старенький дом и игрушечный заяц,
И Москва, вся прошитая крепко бинтами-дорогами,

И пустые глазища витрин и калеки – вокзалы,
Купола, гастарбайтеры, плесень, свинцовая осень.
Всё казалось Лолите – крестилась, но больше казалось,
И хотелось сквозь землю – самой, и с моста себя сбросить ...

Утро сонно тянуло на город своё одеяло,
У ларька три бомжа, а вдали на Москве на реке
Посиневшее жирное тело у берега сжалось
И застыло с иконкой Пречистой в холодной руке.

НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Мама, а где этот город по имени рай?
Кто в нём живёт, он на карте зелёнький, мама?
Нет, мой хороший, на карте ни рая, ни храмов,
просто земля и вода, засыпай, засыпай.

Мама, а мне говорили, что наша земля
круглая – круглая, словно мой теннисный мячик,
только земле часто люди, как зубы болят.
Как это, люди, как зубы и что это значит?

Это когда человеку давно не смешно.
Дома живёт телевизор и старая кошка.
В памяти только три номера с циферкой ноль:
служба пожарная, газовщики, неотложка.

Это когда редкий гость телефонный звонок
самый желанный и самый, пожалуй, что страшный.
Это когда человек до того одинок,
что день сегодняшний, точно такой как вчерашний.

Мама, а рай далеко? Засыпай, далеко.
Там хорошо? Там есть «телек» и кошки и люди?
Там одиноких, уверена, точно не будет,
ну а для кошек найдём и в раю молоко

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ ОТ СМЕРТИ

Здравствуй, коллега, о всех разногласиях наших
Я позабыла и в этом осталась права.
К чёрту все грани и все уголки волшебства,
Просто хотелось бы видеться что ли почаще,
(и говорить о хорошем, пусть даже слова).

Сесть у каминна, как прежде, хотя, видишь, вру,
Воспринимаю за правду желание, что ли.
Знаешь, коллега, во мне предостаточно боли,
Так что довольствуюсь малым: от жизни беру,
(всех кто доволен и кто никогда не доволен).

Мир человеческий плешив, одинок и паршив,
Наш же мирок удивительно сладок, что пряник.
Милый коллега, меня так безудержно тянет
Там оказаться, где нет ни единой души:
(где ни чудес, ни людей, только бабушка память).

Правда хочу попросить для себя хоть чего-то
Это, коллега, всё так, демагогия, бред:
Пусть в новогоднюю ночь у людей будет свет,
Пусть в эту ночь у меня будет меньше работы.

БАБОЧКИ ОТ МАТВЕЯ

Жил добрый Матвей, долго жил, но не знаю где,
И слава ходила о нём, мол, Матвей святой,
Мол, в позе жука он лежит на земле весь день,
А ночью взлетает на небо железный стол,
На нём восседает Матвей – борода до пят.
Из глаз у Матвея – то ль бабочки, то ли снег,
И все, кто узрел это диво, одно вопят:
О том что Матвей, однозначно, не человек.
Мол, в час вознесенья к Матвею сошёл с небес
Улыбчивый Ангел с билетом в «куда-то там»
И ласково молвил у каждого есть свой крест
И каждому по делам его аз воздам;

С тех пор у Матвея трудов и забот полно:
И денно, и ночью летает он над землёй,
И видит окно, окно, и ещё окно,
И в каждом тоска, одиночество, скука, боль.

Девицы всё просят у Бога: подай на туш(ь),
А Бог им в ответ: извините, ушёл в бега.
Заплачет от горя лысеющий старый муж,
Внезапно узнав, что он стар и давно рогат.
Ах, как хорошо в поднебесной давить клопов,
Подбрасывать почту с земли на одной руке,
Другой отдавать долги или в счёт долгов
Протягивать с неба желающим горсть конфет –
Поешьте, мои дорогие, кому ещё?
Кусочек за маму, за папу, за Чжуан Цзы,
За мирное небо, за биржу, за бухучёт,
За землю крестьянам, а мышкам – халявный сыр.
И слышит ли кто, наши просьбы на небесах
О том, что немые рабы, но рабы не мы,
О том, что исчезли сказки и чудеса,
О том, как порой заедает работа быт?

Зима ли, осенние сумерки, не спеша,
Смотри, чудеса случаются, здесь, сейчас:
Матвей выпускает бабочек для души,
И каждая бабочка – чей-то неслышимый глас,
Едва уловимый шёпот, мечта. Мечта,
И вера, что где-то поблизости есть Матвей,
Который научит ползающих летать,
Который подарит бабочкам нас – людей.

АНГЕЛ ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖЕЙ

в одном городе и не то что бы очень большом, а так...
 не на главной улице, а в маленьком переулке
 жил да был настоящий ангел, да-да,
 в обычной «пятиэтажке». по утрам чайник булькал,
 старенький радиоприёмник подхватывал мотив:
 ангел выпивал кофе и, как все, спешил на работу,
 а с неба смотрел на ангела солнечный объектив,
 изредка подмигивая, мол, я-то уж знаю, кто ты.
 неважно, как и куда проходил добрый день,
 люди — рабочие единицы — становились одним целым,
 и никто не задумывался, что ангел среди людей
 живёт, принимает пищу, трудится, у него есть тело,
 паспорт, прописка... а по вечерам,
 когда невидимый фотограф укладывал в кофр солнце,
 ангел выходил на балкон, улыбался всем-всем домам,
 и прислушивался, как в каждом из них сердце бьётся.
 ночь медленно натягивала тёмное одеяло
 на город, даже на ангела, который творил чудо,
 дома росли, становились выше, ночь наблюдала,
 как появляются новые этажи из неоткуда,
 которые вряд ли порадуют потом местных эстетов.
 утром этажи все превратятся в прозрачный воздух.
 потому что людям не следует знать об этом,
 мало ли какие ночью происходят метаморфозы...

А пока ангел всё достраивал и достраивал невидимые этажи,
 Чтобы любому бездомному ангелу было куда прийти и где жить.

БЕСКОНЕЧНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

спи моя радость, «туманные альбионы»
 так же туманно бегущей строкой на север
 мчаться в погоне за нами, пускай в погоне.
 свет отключили, снесло ураганом сервер.
 мы в урагане однажды с тобой утонем,
 ты будешь вечно, а я буду просто первым.
 первым из многих, кто верен твоей иконе.

там, моя радость, куда мы войдём и выйдем
 кто-то с улыбкой (и где её черти носят?),
 выдаст тебе доспехи и пару крыльев,
 пропуск на сервер и самый волшебный посох.
 жаль, моя радость, что я ни герой, ни лирик.
 жаль моя радость, что там не прощают взрослых.
 их возвращают на землю давиться пылью...

ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ДРАМАТУРГ

серебристой тонкой вязью, извиваясь и зверея,
как в безудержном потоке, как на лезвии ножа,
я врашаюсь по орбите, я сворачиваю шею,
пламенею, леденею — но не смею возражать
проводи меня до двери, проведи меня по краю,
раскрой меня на ленты, как изысканный ажур.
я по-прежнему на сцене, я по-прежнему играю —
твой сценарий бесконечен, мой прекрасный драматург.

— и, пожалуйста, не рассказывай, что туман застилает улицы,
что не видишь ты ничегошеньки из-за этой проклятой мглы —
ты умеешь на ощупь двигаться, ты у мамы такая умница,
что придется теперь, как миленькой, аккуратно срезать углы.
ничего, что темно и холодно, ничего, что ты [...] пьяная
и одета сегодня «именно так, как следует в январе» —
не в такие шагали дали мы, не с такими справлялись ранами,
собирай свои сопли в тряпочку и вперёд проходи скорей.
ну чего ты стоишь, как дерево, за тобой не водилось трусости.
да и вдумайся — что тут страшного? это максимум пять минут.
— не страшны мне ни боль, ни паника, ни какие другие трудности —
я ужасно боюсь, окажется, что меня даже там не ждут.

он топтался на месте: «мне стукнуло тридцать семь.
у меня за плечами лишь горы пустых бутылок.
говоря откровенно — если бы сдать их все,
то на эти деньги я мог бы отгрохать виллу
или может быть даже три раза объехать мир,
или всё раздать бездомным, больным, пропащим...
но в итоге из них получился прекрасный тир —
я стреляю по стёклам бессмысленным настоящим».
он топтался на месте: «пушок над её губой
стал совсем незаметным, как будто бы мы не рядом.
каждый новый день проигрывать этот бой,
собирая упорно её ледяные взгляды...»
он топтался на месте: «всё то, что имело вес
превращается в пепел на линии фаренгейта...
я тщеславный Марсий в далёкой стране чудес,
подобравший случайно твою роковую флейту».



он топтался на месте, безмолвно вторя часам,
отмерявшим всё так же бессмысленность на запястье
«нет уж, господи, знаешь, теперь ты сам
назови мне причину в твоей оставаться власти».

от твоего огня — сгорает только дым,
а мир вокруг лежит в обледеневшем склепе
и сколько не гори — ни капельки воды
ты не увидишь здесь, в плену тысячелетий

ты светишь что есть сил, сжигая киловатт,
на несколько планет хвативших бы с избытком,
но только темнота, крадётся, как молва
и поглощает твой изысканный напиток.

пусть самый яркий свет, пусть пламенный костёр,
но есть такой порог — вовек не одолеешь
так почему же ты — бездарнейший актёр,
становишься — ещё — теплее и светлее?

он говорит: «останься, прошу, останься!»
а про себя нашёптывает — «уйди...»
в этом нелепом, непостижимом танце
вертится сердце в тесной его груди.

Время ползёт плющом по шербатым стенам,
Воздух сжимается, давит со всех сторон...
он умоляет господу снизить цену —
все ведь торгуются с богом, не только он.

дождь заливает город вторые сутки,
небо — чернее самых ужасных снов.
он обращается к господу ради шутки —
старец-то вряд ли способен спасти любовь.

но, онемев под утро от этой пляски,
он понимает, что получил ответ —
чистое небо новые дарит краски
и никакого выбора больше нет.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Андрею Пересвету

караул — кричу — заберите меня отсюда —
не смогу, не выдержу эту слепую ночь.
а они твердят: «перестань уповать на чудо,
разве это сможет чем-то тебе помочь?»

караул — кричу — помогите — кричу — тревога!
остаются всего лишь считанные часы...
а они отвечают, мол: «времени было много,
только ты, дружок, никогда не бывал им сыт».

караул — кричу — я исправлюсь, я стану лучше...
ни любви не надо, ни счастья, ни прочих бед...
но они усмеваются: «вот уж тяжёлый случай»
и целуют в лоб, и тихонечко гасят свет.

КАРДИОФЕЯ

в каком-нибудь дурацком кимоно
(последняя новинка с распродажи),
закинув ногу на ногу и даже
потягивая терпкое вино,
она сидит в предсердии моём
домашняя, нелепая такая...
сидит и левым тапочком болтает,
как самый настоящий метроном,
ежесекундно ритм отбивая.

и только лишь поэтому — жива я.

ты пишешь ему письмо, проглотив обиды,
по правому борту смог — ничего не видно,
по левому борту шляется пьяный шкипер.
становится зябко, ты надеваешь свитер.

чихая, выходишь в каком-нибудь Порте Виро
тебя не на шутку, кажется, придавило,
но сбросив с себя тоску, как обрывки тины,
врываешься в город с мыслью — меня хватило.

осталось совсем не много — дойти до почты —
он, кстати, терпеть не мог твой ужасный почерк
и ворохом писем стелил своему терьеру,
а ты продолжала кленть осколки веры.

вы были нелепой парой почти неделю,
ты стала намного спелее в его постели.
теперь, ты не больше чем старая кукла вуду —
латаешь своё нутро, в ожидании чуда.

на пыльную пристань лапой ложится вечер,
тебя раздражает гул незнакомой речи.
щербатые доки тонут в густом тумане,
письмо отбивает пульс в боковом кармане.

*

скомканы в месиво мокрые простыни,
словно марокко на северном полюсе.
Девочки быстро становятся взрослыми
Выгнуты спины, запутаны волосы.

он не жалеет, берёт их горячими —
прямо на блюдечке с жёлтой каемочкой.
девочки-дурочки, девочки-мячики,
на руки сыпятся дождиком мелочным.

сколько их было — двенадцать? четыреста?
длинные пальцы запутались в талиях.
Вспомнить бы имя — все образы, вырезы...
разве что, та, что умчала в Италию.

что-то в ней было — изюминка, искорка,
чем-то она ему очень запомнилась
(схема ведь та же: использовать — высморкать)
чем же тогда? поклонением? голосом?



кажется, было неплохо в постели им —
штучка попалась довольно горячая,
письма писала коряво, растерянно...
вдруг озарило — она же незрячая.

*

холодные клубы пара ужасно душат,
как будто ты вышла за борт, а не на сушу
нелепая мысль бьётся как в клетке птица,
что ты не дойдёшь, что надо остановиться.

но ты собираешь последние капли воли,
какой-то бродяга делится алкоголем
и вроде уже не страшно, уже не зыбко.
и ты совершаешь немыслимую ошибку.

на узких улочках в сердце чужого мира
стихии сошли с ума, до утра штормило.
не нужное ни себе, ни ему, ни маме
лежало тело, вмёрзшее в серый камень.

когда улеглись последние волны паник,
в кармане был найден чеканный портрет. на память

ЛИЧНЫЙ АПОКАЛИПСИС

кажется, что ты всё уже здесь постиг?
думаешь, больше нечего изымать?
тоненькой струйкой прямо за воротник
медленно спустится ядерная зима.
время тогда совсем остановит ход
и расстояния сузятся до нуля...
всех без остатка память тебе вернёт
ровно за миг до того, как умрёт земля.

МАРИЯ Котова

СОЛО КЛЕНОВОГО ЛИСТА повесть

Старая кленовая ветка сбросила с себя ещё один лист. Недавно – сочно-зелёный, теперь – безжизненно коричневый, он небрежно коснулся твоего окна, приник на мгновение к стеклу, встретился с тобой взглядом...

Не бойся, Теодор. Это всего лишь – мёртвый кленовый лист. Он уже отправился дальше – на встречу с землёй – к своему последнему пристанищу.

Никаких причин для беспокойства, Теодор. Будь безмятежен. И даже если я и есть тот самый лист, то тебе всё равно ведь не дано знать об этом...

Где-то на соседних дачах жгут листья. И – дождь... Такой мелкий-мелкий, такой надоевший. Сыро и мерзко, правда, Теодор? Не твоё это время года. Не твоё, знаю...

Но тебе пора, Теодор. Поторопись... Завтра выходной, но ты всё-таки поспеши...

И не задавайся ненужными вопросами, не надо. Переодевайся, садись за руль.

Спеши, Теодор, спеши.

Так вдруг захотелось на городскую квартиру, правда? Правда. Там по комнатам витает иллюзия определённости и защищённости, которая как-то сама собой исчезла здесь, на даче.

Не думай ни о чём, Теодор. Пспеши – и всё.

Вот она, твоя уютенькая, ласкающая взгляд зелёнькая «Маздочка»... Ждёт тебя, словно послушная и преданная глуповатая собачонка – обожаемого кормильца-хозяина.

Спеши, Теодор, спеши...

Женечка уже в пути. А ему и ехать дольше, и везёт его в Одессу из Николаева не новенькая «Мазда», даже не среднестатистический «Москвич», а уставший от затянувшейся однообразной жизни автобус. И место Жене досталось в этом устаревшем виде транспорта неудобное – скрипучее и продавленное...

Торопись, Теодор...

И не беспокойся о дороге. Всё будет хорошо, мой несостоявшийся мужчина со странным именем. Всё будет просто замечательно... Блуждающие в тебе сомнения пусты, поверь мне. Ничего не случится с тобой в дороге. Ни листопад, ни дождь, ни паршивое настроение не приведут ни к какой аварийной ситуации. Всё будет нормально, опять-таки прошу поверить мне...

Ветер поднялся? Листья прямо в лобовое стекло? Плюнь, Теодор. Не обращай внимания. Не помешает тебе засуетившаяся под ветром листва. Она, снова напоминаю тебе, мертва. И тот лист, что заглянул в твоё окно, и все его собратья. Нет их, Теодор. Они – иллюзия. Точь-в-точь как я теперь...

Не о чём тебе волноваться. Переходи на любую скорость. Ты никого не собьёшь – ни человека, ни собаку, ни кошку. И ни один ганшик не обратит на тебя никакого внимания – хоть правила нарушай, хоть доводи спидометр до бешенства, если тебе хочется.

Спеши, Теодор, спеши...

У меня есть к тебе лишь одна просьба. Пожалуйста, отыщи старую кассету с музыкой Таривердиева... Она есть, есть, я знаю. Ты не выбросил её. И она в твоей машине. Поставь её, пожалуйста, очень тебя прошу.

Помнишь, как мы заслушивались сначала пластинками с этой музыкой... Потом – бобинами... Потом – кассетами... Я вот только не успела послушать Таривердиева на лазерных дисках...

Что, Женечка, устал? Не от дороги ты устал, знаю. От мыслей обо мне ты устал, романтик мой несчастный.

Глупый, глупый Женька...

Автобус трясёт тебя, не убаюкивает. Ты же, как всегда, ничего не продумал заранее, не построил никаких планов, не позаботился о современном и комфортабельном виде транспорта. Примчался на автовокзал, взял последний билет на последний автобус, следующий в Одессу. Вот и тащит тебя эта колымага, жёсткая, старая, унылая. А ты и этому рад, Женька.

Рад, знаю...



Чему ещё ты радуешься, Женька? Бумажке с адресом Теодора Гаева?..

Нет, я не стану ни просить у тебя прощения, ни пытаться оправдываться, ни молоть романтическую чушь. Во-первых, тебе всё это, слава Богу, не дано услышать. Во-вторых, я виновата и перед тобой, и перед остальными... Так виновата, что никаких слов не отыщешь...

Вот это и есть самое страшное – не найти тех единственно необходимых слов... Самое страшное?.. Подожди, дай подумать... Нет, не в словах дело... Не в их присутствии или отсутствии. Нет, не в них, конечно. Слов вообще не нужно... Так, во всяком случае, мне показалось однажды. Так показалось, что подумала – вот она, истина, схваченная за хвост. И я промолчала... Тогда, на катере... Но ты не знаешь об этом, Женечка. Ты не знаешь...

А я разве знаю?..

Мои мысли шатают, как и твой автобус, который с удовольствием сдал бы сам себя на металлолом. Одна радость – ты меня не слышишь... Меня ведь нет. Я – кленовый лист, коричневый, с жёлтыми разводами. Я шуршу себе потихоньку, поддаваясь осенней непогоде, почти невесомая, беспельная, неприкаянная. Никакая...

Ты можешь быть доволен, Женька. Ты приедешь вовремя. И сможешь застать дома Теодора Александровича Гаева. Ты увидишь его, Женька...

Больше того, ты получишь то, за чем едешь в Одессу.

На кой только оно тебе надо, Женька?..

Глупый, глупый ты, Евгений Степанович Авраменко, сорокадвухлетний мужчина среднего роста, среднего телосложения. Такой среднестатистический, с такой обычной внешностью. Ты был так незаметен в толпе, Женька! И это каким-то странным образом влекло к тебе. Словно хотелось решить задачу. Простую, казалось бы, задачку: кто такой? Почему никаких особых примет?

Эту загадку решали многие, Женька. Её решала твоя жена... Она так и не решила. Не успела. Засиделась в медовом месяце с тобой, перерадовалась вашему засахаренному единению...

Снова меня не туда повело, Женька. Что поделаешь – ветер меняет направление. И это он, октябрьский ветер, несёт лист совсем не туда, куда надо.

А куда надо?..

Ну что, Теодор, прошёлся по своим трём комнатам? Всё в порядке, правда? И ты уже расположился в кресле, умиротворённый и сонный.

Что, опять захотелось послушать Таривердиева? Удивляешься, что захватил старую кассету с собой из машины? В дороге слушал – показалось мало? С чего бы это, Теодор? Что за сентиментальное наваждение? Ну что ж, подкорми магнитофон скрипящей кассетой из прошлого. Всё бывает. Осень опять же. А лучше завари себе кофе, устройся в кресле, вруби телик...

Не хочется... Потерпи, ждать осталось совсем немного...

Опять я забыла, что ты никого не ждёшь.

Но он всё равно придёт, Теодор.

Он даже потратился на такси. А ведь он беден. Денег у него никогда не было. И вряд ли они появятся в карманах его старого пиджака. Деньги ведь – как черта характера: они либо есть, либо – нет...

Так вот, Теодор, ты, конечно, можешь завалиться спать, раздумывая, а какого, собственно, чёрта тебя потянуло в город, когда ты твёрдо решил провести выходные на даче. На воздухе то есть. В тишине, напоённой осенней влагой. Ты, конечно, можешь... Но...

Звонок, Теодор. Да, да, тебе не показалось – это не телефон. Это звонят в дверь.

Сколько времени? Половина десятого? Чуть поздновато, конечно. И это, скорее всего, Галина Валентиновна, соседка напротив. Ей всегда скучно. И она любит поговорить. Хотя ты всячески этого избегаешь...

И ты идёшь открывать, не слишком злобно матеря в душе назойливую одинокую старуху, с которой, однако, ссориться окончательно всё же не решаешься, потому что она – соседка. Всё-таки лишний глаз за квартирой.

Нет, это не Галина Валентиновна, Теодор.

Это – незнакомый тебе мужчина. Вы родились в один год и даже в один месяц. Но под разными созвездиями. Астрологи скажут... Нет, я не знаю, что они скажут. Они вообще много говорят...

Вы стоите друг против друга. Вас разделяет порог. Ты, Женечка, пытаешься изобразить располагающую улыбку (она получается у тебя подобострастной). Ты, Теодор, пытаешься понять, как это тебя угораздило открыть дверь в полдесятого вечера, предварительно не посмотрев в глазок.

Всё очень просто. Одного из вас любила я. Второй любил меня.

Это и в самом деле так просто, так банально. Это случается почти в каждой судьбе. Если вообще случается.

Я не знаю о других. Мне хватило своего. С избытком. Нет, я не жалею. В моём положении уже не воюю от безысходности и злобы.

Может быть, порадоваться этому?

Но в моём положении не радуются...

Ветер, ветер виноват во всех этих отступлениях.

Мои мальчики, Теодор и Женечка, стоят друг на друга. Один – как будто пришёл просить прощения, другой – с откровенным недоверием.

Хватит смотреть друг на друга. Твоя реплика, Теодор.

— Кто вы? — спрашиваешь ты так зло и угрожающе, что бедный Женька совсем растерялся.

Не бойся, Женечка. Теодор не набросится на тебя с ножом. Это он от страха. Он тебя боится, Женька. Время такое, Женька. Две тысячи третий на дворе. За три гривны прикончить могут. Столько случаев всяких бывает... Ты только не молчи, ответь ему. Пусть поймёт, что твои намерения можно назвать как угодно — идиотизмом, шизофренией, навязчивым состоянием. Но злых умыслов у тебя нет никаких. Наоборот. Совсем ведь наоборот. Ну же, Женька...

— Меня зовут Евгений. Я из Николаева. Валерия... Валерия Горенко... Ваша... бывшая жена... Я... знал её. Я — к вам.

Итак, Теодор, бояться нечего. Это всего лишь какой-то не совсем нормальный тип, ты уже понял, да? Давай, очень хочется послушать...

— Валерия?.. Валерия никогда не была моей женой. Мы знали друг друга... Несколько лет... А что вы хотите? Вы её муж?

Спасибо, Теодор. Молодец. «Знал несколько лет»... Самое главное — правда. Я никогда не была твоей женой.

— Я... Нет, я не был её мужем...

О, вот тут, Женечка, тебе захочется быть откровенным. И смелым. И ты добавляешь:

— Я её любил...

Теодор, ты пожимаешь плечами... Я тебя понимаю. В половине десятого вечера. Незнакомый, немного жалкий с виду мужчина. Со словами любви. Обо мне. О той, с которой ты был знаком несколько лет.

— Поздно, молодой человек. Я занят. И вообще... Что вы хотите?

— Нам нужно поговорить, — говоришь ты, Женька.

И спасибо тебе за твою решительность. Вот только толку от неё мало. Потому что твой красивый собеседник, тот самый Теодор, блондин с зелёными глазами, о котором ты так много слышал, заявляет тебе, ударяя откровенностью наотмашь:

— Мне не хотелось бы говорить о Валерии. И вообще...

— Так вы меня не выпустите?

— Думаю, что нет. Я занят. До свидания.

Правильно, Теодор. Здравомыслие, здравомыслие и ещё раз — здравомыслие. Излишне взбалмошных натур в твоём роду и так хватало.

Ты закрываешь дверь перед Женькиным носом. Ты идёшь в комнату, садишься в кресло и морщишься. Потому что как назло — кассета. Таривердиев исполняет соло на рояле. Ты думаешь — мистика какая-то. Старая кассета, забывгая почти музыка, которую так обожала ещё одна чересчур взбалмошная натура — Валерия Горенко.

Кассета, и вдруг — словно специально — какой-то тип захотел говорить о ней... Валерия. Лерка. Шаровая молния. Ожог.

Можно ли любить шаровую молнию?..

Лерка...

Лерка — это я.

Я — это мёртвый кленовый лист.

Теодор... Пожалуйста, встань, подойди к двери. Посмотри в глазок...

Ты встаёшь из кресла, выключаешь магнитофон. И медленно-медленно, неслышно, подходишь к двери.

Твой неудачный посетитель сидит на лестнице. Примостился на ступеньке, не подумал, что пыльно, что и плюнуть кто-то мог. Сидит, руками голову обхватил. Да, он не ушёл. Он думает о чём-то. Знаешь, Теодор, ему ведь некуда деться в этом городе. Он к тебе приехал. Ты открываешь дверь. И говоришь этому жалкому субъекту:

— Не сидите на лестнице. Заходите.

Женька, не маши так радостно головой. Хозяин квартиры окончательно решит, что ты — псих. А психов он не жалует.

Кто их, собственно говоря, жалуёт?..

Ты ведёшь Женьку на кухню. Накорми его, Теодор.

— Кто вы? Какое отношение имеете к ней? К Валерии...

Женька, оторвись, наконец, от тарелки. Я знаю, ты ешь не только потому, что голоден. Так тебе проще. Ты ищешь нужные слова. А слов нет. Их ведь, нужных, как всегда, нет... И вот ты низко склонился над этой тарелкой. Совсем низко, Женечка... Словно спрятался. Комплекс страуса. Но ты же всё-таки инженер... Ты руководил отделом... Ну, что же ты... И так смешно выглядит, как ты с набитым ртом начинаешь усиленно жевать и давиться, торопясь дать ответ...

— Никакого, Теодор, я к ней отношения уже не имею, — говоришь ты. — Она погибла. В девяносто пятом...

Ну, Теодор... Как?.. Никак? Нет, пожалуй, так — почти никак. Смерть всё-таки. И мы ведь ровесники. И поэтому нетрудно догадаться, что в девяносто пятом мне было только тридцать четыре. И я тебе тогда ещё снилась. Только не знала об этом.

Это ведь только теперь я знаю многое. Теперь, когда знание это — ни к чему. Оно уже не доставляет никаких ощущений.

Какие могут быть ощущения у кленового листа?..

Мальчики мои, мальчики... Один и второй... Такие разные. Такие...

Молчите вы что-то слишком долго. И Женька, бедный, все жуёт и жуёт, чем вызывает раздражение у тебя, Теодор. А ты, Женька, смотришь на Теодора как на счастливого соперника. И привычно ненавидишь его. Не терзайся, Женя, не надо... Кого ты ревнуешь, глупенький?.. Лист, у которого всё предопределено? С листом всё ясно, Женька: потреплет его ветер, поиграет, и бросит то ли в костёр к собратьям, то ли на землю для удобрения...

Жуй, Женька... Держи паузу. Думай, Теодор, вспоминай... А мне пора рассказать вам обоим старую легенду. Потому что именно с легенды началась история, нашедшая продолжение сегодня, в октябрьский вечер две тысячи третьего года...

Наша с вами история.

Твоя, Теодор. Твоя, Женька. И моя...

В одна тысяча восемьсот девяносто восьмом году, в древнем городе с красивым названием Феодосия, жила семья старого чеканщика Самвела. Жили они недалеко от старой мечети Муфти-Джами. Семья была большая и бедная. И был у Самвела младший сын Вардан, тоже чеканщик. Неудачный, кстати, сын – хромой и некрасивый. Потому, конечно же, любимый.

Вардан был нелюдим и хмур. И так малоразговорчив, что некоторые считали его немым от рождения. Целыми днями сидел Вардан в полуподвальной мастерской, доводя до совершенства свои чеканки. Он работал, часами не выпуская из пальцев чеканы – специальные металлические выколотки, – и появлялись на медных листах волны и корабли, люди и звери, птицы и цветы...

Чеканки Вардана раскупались быстро, быстрее даже, чем работы его отца. И Вардан был доволен. Только никогда не показывал этого. И улыбаться как будто вообще не умел.

Постукивали чеканы по медным листам. Трудился Вардан. Старался. Молчал.

Ему исполнилось двадцать, когда однажды он встретил на улице Ольгу. Обыкновенную девушку, дочь мелкой купчихи Савельевой. Он и раньше видел её иногда. И в лавку к купчихе ходил. Зайдёт, пальцем на товар покажет, расплатится молча. Уйдёт. И девочку Ольгу там иногда встречал. Не замечал? Не вглядывался?

Бог его знает, но именно тогда, в тот день, он как-то особенно посмотрел на черноглазую девушку, торопившуюся куда-то ранним утром. Посмотрел. Остановился. И продолжал смотреть ей вслед. А вечером, отложив работу, Вардан уже крутился возле дома купчихи, всматривался в освещённые окна за забором. И не видел ничего. Окна были зашторены. И было тихо.

Ему не повезло в этот вечер. И в следующий не повезло. И через неделю. Но Вардан дождался своего часа. И уже очень скоро он говорил Ольге о своей любви. А черноглазая Ольга смеялась, смущаясь, опускала глаза. А когда поднимала их, то у некрасивого чеканщика всё переворачивалось внутри от счастья. И задумался он тогда: а как же передать на чеканке неповторимую черноту глаз своей любимой?

Он работал ночи напролёт, но ничего не получалось. Не Ольга появлялась на медном листе. Другая. Красивая, может быть. Даже необычная. Но не Ольга.

Чёрные глаза... Её глаза. Только её, Ольгины... Не выходило.

Влюблённые стали прятаться, боясь, что мать Ольги узнает об их встречах. Узнает – не простит. Негоже купеческой дочери держать за руку неприглядного бедняка Вардана. Негоже ей слушать пыльные признания из уст инородца. А Ольга держала. А Ольга слушала. И за развалинами старой крепости она отвечала на его поцелуи. И говорила ему: «Миленький...».

Феодосия – маленький городок. Не удалось влюбленным прятаться долго. Увидели люди – стали слухи распускать. Купчиха Савельева не снизошла до чтения нотаций. Не стала увещевать единственное свое чадо и наследницу. Посваталась к дочери купец Градов – мать Ольге сообщила:

– Дмитрий Харитоныч тебе честь оказал. Руки твоей просит. Пойдешь за него.

И Ольга пошла. Плакала, пальцы и губы себе искусала, а пошла.

Из церкви выходила, в толпе Вардана разглядела – споткнулась. Люди шептались: «Примета недобра...».

Вардан закрылся в мастерской. Не работал. Думал. Не плакал – молчал. Совсем замолчал. Старый Самвел за сына испугался. Решил женить. Вардан сказал:

– Не надо, отец... Не женюсь.

Не женился. За чеканы опять взялся. А портрет Ольги всё не получался. Не проступали чёрные глаза на медном листе. Не слушались пальцы – что-то не то делали...

Он Ольгу иногда встречал. Она глаза опускала. Он не заговаривал. В мастерскую возвращался. Изводил себя.

Ольга умерла через год. С тоски. С отчаянья. В горячке.

Он у её могилы несколько ночей провёл.

Люди думали – помешался.

К сороковому дню её кончины Вардан закончил чеканку. Сорок сантиметров на двадцать пять. Девушка с чёрными глазами. Как получились – сам не понял. И никто не понял.

Закончил чеканку – умер. Со скалы бросился.

Люди с тех пор так и называли – Варданова скала...

... Что приуныли, мальчики? Легенда печальная? Все легенды печальны. Потому что на жизнь очень похожи.

Похожи — и только...

И так же далеки от неё, от жизни этой непонятной...

Кстати, именно эту легенду услышал на феодосийском базаре одессит Павел Павлович Гаев. Было самое начало века — тысяча девятьсот первый год. Павел Павлович ходил по базару, приглядываясь и прицениваясь, что бы такое привезти в подарок своей беременной жене, с нетерпением ожидавшей мужа, уехавшего по делам в Феодосию. Денег было у Гаева мало, а подарок хотелось сделать хороший.

Старик-армянин продавал чеканки. Много чеканок. Разных. И цветы с птицами, и море с кораблями. Но взгляд остановился на одной. Девушка. Волосы собраны в высокую причёску. А глаза...

— Сколько эта черноокая стоит? — спросил.

Старик посмотрел странно. Ответил:

— Нравыца? Так бэры. Нэ нада дэнег. Сын мой дэдал. Всэ в доме гаварат — продай. Я нэ хатэл. Так бэры.

И Гаев взял. И ещё переспросил:

— Бесплатно, да?..

Старик не ответил. Спросил только:

— Далько увывезешь?

— В Одессу.

— Взы.

Сцену эту старушка наблюдала. Старушка была любопытна. И всё знала. Она Гаева догнала, поинтересовалась:

— А вы хоть знаете, что купили?

— Мне подарили, — признался удивлённый Гаев. — А что?

Старушка легенду и выдала. Говорила быстро, боясь, что её не дослушают. И добавила, что старый Самвел совсем плохой теперь, после смерти сына. А вещь эта, чеканка то есть, хоть и красива, но не надо бы её было брать...

Павел Павлович Гаев был человеком несусеверным, потому старушку вежливо поблагодарил, а чеканку в тряпицу завернул, потом — в бумагу, чтобы довести хорошо, Наденьке своей подарить. И ещё Гаев радовался, что так хорошо всё вышло — и вещица красивая, и денег не стоит...

Хорошо всё вышло...

Павел Павлович Гаев... А ведь это твой прапрадед, Теодор... Ты что-то должен помнить из рассказов своей бабушки, правда? Да, что-то такое... Да, что-то такое — и про легенду, и про чеканку, которую, кстати, никогда не видел. Но ты сейчас не думаешь ни о каких легендах... Твой мозг занят другим, я знаю.

И, кстати, о легенде... Ещё немного о старой легенде...

Людам так свойственно оборачивать события в слова, словно колбасу — в упаковочную бумагу. Нет, не в целлофан. Именно — в бумагу. Целлофан прозрачен, значит — конкретен. Бумага немного сказочна, потому что даёт возможность надумать себе что-то, нафантазировать. Пока не раскроется пакет, конечно.

Вот так точно обернули в нечто розовое и неконкретное старую историю, которая действительно произошла в маленькой Феодосии. Да, влюбился обычный себе чеканщик Вардан в девушку Ольгу. А девушка Ольга и думать не думала прятаться с армянским парнем за старой крепостью, ибо воспитания была строгого. Достойного. Посмеивалась себе над младшим чадом огромной армянской семьи, когда тот пялил на неё глаза. А потом вышла замуж. Скончалась она вовсе не с тоски по возлюбленному, а от инфлюэнцы, то есть гриппа. И не бросался Вардан ни с какой скалы, и не называл никто эту скалу Вардановой. Да и скалы никакой не было, как и ночных бдений чеканщика у могилы возлюбленной. Вардан элементарно утонул, потому что большую ногу свело судорогой... Достаточно распространённое явление... Так что расстояние между вымыслом и правдой в старой легенде, привезённой Гаевым вместе с чеканкой из Феодосии — огромное. Такое же примерно, как от высшей точки на Вардановой скале до морского дна, куда плавно опустилось мёртвое тело бедного чеканщика.

А вот чеканка... А вот чеканка как раз была. И Вардан в самом деле сумел передать на листе меди размером сорок на двадцать пять сантиметров чёрные глаза... Ольги — не Ольги, какая разница... Тут другое. Все его работы были — так себе. А эта... Глаза — два угля. Вот-вот запылают...

Ну что, мальчики, пригляделись друг к другу? Теодор, не надо раскаиваться в благородном поступке. Не надо себя мысленно ругать, что впустил в дом этого голодного мужика. Что разговор никак не клеится. Что вообще... И в частности...

Женька, и ты не майся... Говори. У тебя получится.

Я знаю.

— Я выгляжу идиотом, понимаю. Это было давно. В девяносто пятом... Нет, раньше, конечно. В восемьдесят девятом Валерия приехала в Николаев. И устроилась к нам в отдел. Это был большой завод. Отдел научно-технической информации... Я руководил этим отделом... Она... Она была так несчастна, — вдруг добавляешь ты, Женька, как бы не к месту.



Поймал упрёк в голосе собеседника, Теодор? Поймал. И сразу перехотелось тебе окончательно слушать Женьку, потому на фига он тебе, этот Женька с упрёками, да?

– Нет, вы не перебивайте, пожалуйста, мне многое ещё нужно успеть, – просишь ты, мой чуткий Женька.

Молодец... Давай дальше, он дослушает...

– Понимаете, у нас был отдел такой... Мы занимались научно-технической информацией. Тогда это было на уровне не очень высоком, понимаете? Понимаете...

– Понимаю, понимаю... Короче можно?

– Да, конечно. Извините... Так вот, тогда ни компьютеров ещё... В общем, одна маломощная ЭВМ, но мы справлялись... Завод большой... Валерия приехала, к нам устроилась... Я так долго объясняю... А ведь главное я уже сказал... Я любил её... И не только я...

Теодор, а ну-ка поставь его на место, как ты это умеешь – одной фразой. Что он лепечет тебе о своей любви? Он ведь о другом должен, раз уж приехал и сообщил... Логично?

– Как она умерла? – спрашиваешь ты с настойчивым спокойствием.

– Она погибла... А вообще... Она исчезла... Мы были на катере. Она попросила пива... Она не любила пиво. Но почему-то попросила... А людей на катере почти не было... Знаете, уже не сезон. Тем более, там, на корме, где мы с ней стояли... Холодно уже становилось... Я спустился в бар. Бар был закрыт. Я поднялся. Я поднялся, а её уже... не было. И никто не видел. И тело не нашли. Исчезла. Она такая... Ты должен знать. Ты не можешь не знать.

Женька, ты окончательно смяк. Ты запутался...

– Так это было самоубийство?

– Она исчезла, – упрямо повторяет Женька и смотрит тебе в глаза, Теодор.

Теодор...

– Так вы, – делаешь ты ударение на том, что вовсе не собираешься переходить на «ты», – приехали мне рассказать о вашей маломощной ЭВМ, о смерти Валерии и своей любви к ней?

– Нет, – говорит несчастный Женья, прикрывает глаза и мямлит что-то невнятное.

– Я не понял вас...

– Я о чеканке приехал с вами говорить... Всё остальное – так... Вас совсем не задело, что её уже нет?

– Какое вам дело? – искренне спрашиваешь ты, Теодор.

Ты прав, Теодор. Ты... Понимаешь, ты ведь всегда был прав... И действительно, какое ему дело? Тоже мне, заезжий исповедник.

– Да, конечно... Она говорила... Но это действительно, как я понимаю, вам уже не нужно...

И он смотрит на тебя, Теодор, с последней надеждой. Он впечатлителен до безобразия, Теодор. Встретясь он той самой Валерии раньше... Получилась бы такая замечательная пара – два витающих в небесах... Чуть не сказала – кленовых листа... Нет уж, лист – это только я... А вы себе живите. И договоритесь же, наконец... Постойте, а куда спешить...

Ты не хочешь обо мне говорить, Теодор. Это прекрасно. Потому что никому и никогда не пояснишь то, чего не понял сам. Ты сначала и понимать не пытался. Самое замечательное в тебе – это умение жить просто так. Жить – как дышать. То есть, как-то вот живётся само собой – и ладно. Это ведь единственный способ сохранить себя подольше. И не этому же приезжому рассказывать обо мне. Тем более обо мне – в связи с самим собой. Тебе никогда не требовался задушевный собеседник. И это только лишний раз доказывает главное – ты здоров. Ты здоров, Теодор. И это прекрасно, любимый мой мальчик.

Сколько нам было с тобой, когда мы стукнулись друг о друга в институтском коридоре? По девятнадцать, да? Именно стукнулись – лбами, довольно болезненно. Ты читал на ходу какой-то учебник, я почему-то засмотрелась на плакат, изображавший сосредоточенного и вместе с тем задорно-розовощёкого комсомольца. Партия сказала: «Надо!» Комсомол ответил: «Есть!». Да, именно это изречение было написано огромными красными буквами вверху плаката...

Мы потирали свои пострадавшие лбы, и ты вдруг сказал:

– Какие глаза!..

Мои глаза... Ненормально чёрные глаза...

У листьев нет глаз... У листьев ничего нет. Участь этих опавших созданий печальна...

Нисколько не печальнее, правда, чем то, что началось со мной с того дня, когда мы с тобой столкнулись в коридоре родного политеха...

...– Какая чеканка? – спрашивает Теодор.

Ну же, Женька, не мямли. Не перескакивай. Объясни ему. Давай же, Женька!..

– Это старая чеканка. Я знаю о ней. Валерия рассказывала... Она принадлежала вашей семье. Вы, Теодор, никогда её не видели. Но слышали. Вспомните. Девушка с чёрными глазами... Вам бабушка рассказывала, а вы – Лере. Так вот, я, кажется, знаю, где она находится.

– Кто? Кто где находится? Я вас не понимаю! Или говорите внятно, или...

– Чеканка. В том доме на Молдаванке, где вы родились. В сарае. В старом заброшенном сарае. Я вычислил. Я попытаюсь объяснить. Только вы не кричите на меня, а то я всё время сбиваюсь...

Вот и я сбиваюсь, Женья. Но мне простительно. А ты ведь всю дорогу речь готовил. Старый автобус вытряхнул из тебя все внятные словосочетания? Что ты пугаешь Теодора? Как ты смеешь... Ой, меня опять занесло... И даже, кажется, оторвало остренький уголочек на самом верху. Коричневенький такой уголочек... Значит, моя тайная надежда на гербарий вянет на корню...

Увы, Теодор... Увы, Женя...

Вы снова замолчали. И снова каждый окунулся в свои ощущения... Я знаю, инстинкт самосохранения где-то на уровне подсознания подсказывает вам, что всё еще впереди. Уйма времени впереди. Разговор ваш не клеющийся – впереди. Ненужное выяснение отношений...

А впереди-то как раз и нет ничего... Инстинкт самосохранения – вещь опасная. Он-то, конечно, часто оберегает от всяких там глупостей, но и лжёт нередко.

Вы молчите... Женя изучает вилку. Теодор – ноготь на среднем пальце левой руки. Тишина.

Что ж, я расскажу вам обоим ещё кое-что...

Твой прапрадед, Теодор, привёз в Одессу чеканку. Обыкновенную чеканку – девушка себе как девушка. Ну глаза... Ну и что? Ну рассказала старушка какую-то легенду. Ну и что? Не от прапрадеда ли ты унаследовал своё трезвое мышление? Свою единственную гордость...

Чеканку повесили на стене. Наденька, жена Павла Павловича, любовалась ею, хвалила выбор мужа. Муж радовался. Легенду жене рассказывал, не особенно напирая на всякие там услышанные им от болтливой старушки страхи.

И родилась у них дочь. И назвали они её Полиной. Это была твоя прабабушка, Теодор.

Годы шли. А чеканка всё висела себе на стене в доме на Молдаванке. В доме было два флигеля. Остальные постройки – сарай. В них держали уголь. Жизнь текла тихо. Размеренно.

Была во дворе печь. Такая вот печь, которую топили раз в году. Как раз между сараями какой-то умелец-печник соорудил. Ты застал её, Теодор. Ты должен помнить... Эту печь растапливали один раз в году. Весной. В ней пекли паски. Именно – паски. Местный диалект требовал именно так произносить то, что производят из пасхального теста. Слово «кулич» здесь не употреблялось вовсе...

Тесто у Полины Гаевой получалось лучшее во дворе – на зависть и бабе Кате, и бабе Люсе, и тётке Гале... И бережно вынимались потом из форм высокие и пахнущие только так, как может пахнуть хорошо выпеченное пасхальное тесто, паски...

Твоя прабабушка, Теодор, была спокойна, как и полагается девушке-невесте. В семнадцатом она обручилась. Но женой так и не стала. Погиб жених. Жених погиб, так и не успев дать свою фамилию твоей прабабушке, Теодор. Прабабушке и младенцу, которого она носила в себе. Да, так вот получилось. Согрешила прабабушка. Не дождалась венчания. Над женщинами в вашем роду вообще что-то такое... Нет, не надо мистики. Ты не любишь мистику, знаю... Твоя бабушка Анна получила фамилию Гаева. И была, следовательно, незаконнорожденной. Но она родилась в двадцатом, году довольно смутном, а потому никто во дворе особенно не шептался. Так, для порядка разве что. Тем более что прабабушки твоей вскоре не стало. Воспитывала девочку прапрабабушка, та самая Наденька Гаева, которой привёз когда-то муж из Феодосии последнее произведение несчастного хромого Вардана.

Анна подрастала, бабушка её старела... Сказки ей рассказывала. Чаще всего – про чеканку. То ли помнила эту легенду лучше других сказок, то ли в память о муже сама для себя лишний раз повторяла, чтобы не забыть. И стояла Анна у чеканки, приглядывалась повнимательнее в лицо таинственной девушки... И поняла вдруг – похожа она на неё. И бабушка не раз повторяла:

– Ты, Анечка, на девушку эту с портрэта похожа что-то очень... Береги чеканку. Это не просто так... Это дедушка твой из Феодосии привёз... Я беременна матерью твоей была...

Она вздыхала и чуть слышно всхлипывала.

Она так и говорила: «портрэта», «Феодосия» – через «э». Хотя никаких армянских корней не имела. Одесский язык – вещь вообще довольно странная...

Бабушки, дедушки, чеканки...

Вы всё молчите, мальчишки мои сорокадвухлетние... Всё не начнёте о главном. Что же, мне одной всё говорить и говорить, а?

Вам меня не услышать. Мне – не докричаться...

Меня ветер может вот-вот унести куда-то, ведь всё уже predetermined, а вы молчите, не торопитесь...

Что же мне теперь, как и раньше, всё одной, да? Одной и одной... Да, конечно, я не всегда была жертвой. Но даже когда становилась палачом, то только играла... «Наиграла» только вот слишком уж много всякого... Так наиграла, что потом не выпуталась... Чёрные глаза... Угли... У меня они-то откуда? А у Анны, мать и отец которой – голубоглазые?.. Нет-нет, Теодор, никакой мистики. Дальше, только дальше.

Анна Гаева... А рядом во флигеле – Жора Устимович. Другом детства не назовёшь, потому что старше был на десять лет. Тоже мне, препятствие для нежных чувств... Только бабушка твоя, Теодор, воспылала к соседу вовсе не нежными чувствами. Она загорелась, словно угли, на которые были похожи её глаза. И скоро во дворе стали шептаться. Случилось это незадолго до войны. «Моя бабка влюбилась в соседа, – рассказывал ты мне, Теодор. – Совсем спятила от любви...».

Да, Теодор, она «спятила». Теперь-то я знаю... А тогда я смеялась вместе с тобой, потому что думала, что меня «минет чаша сия». А сама-то ведь я уже пила из этой чаши. Неужели не понимала? Крышу ведь уже сносило по полной программе. Как же так... Хотелось вторить тебе, да? Подстраиваться под тебя? Вот я, мол, смотри: своя девочка. Своя в доску.

Если бы я знала...



Теперь знаю...

Теперь поздно...

Потому что для меня уже нет ни теперь, ни завтра...

Жора Устимович смотрел на чеканку, смотрел. Однажды сказал:

— Вот в такую бы я влюбился. Она немного на Шурочку Павлову похожа...

Почему на Шурочку Павлову, подумала Анна. И чуть не закричала:

— Да ты присмотришься повнимательней. Она на меня похожа! Вернее, я на неё похожа. У нас глаза — один в один!

Но Жора посмеивался в ус, благодарил за чай, уходил к себе в сарай, где часами мастерил из старых деталей довольно сносные велосипеды. Жора Устимович был-таки помешан на велосипедах!

Анна заносила ему в сарай свежие булочки, в глаза заглядывала, вопросы задавала о велосипедах его дурацких. А он никак не реагировал. Называл Аннушкой, правда. Ну и что? Не поцеловал ни разу, к себе не привлёк...

Анна ждала. Однажды дождалась...

Дождалась, прежде всего, разговора, довольно неприятного, со старой бабой Тасей. Насчёт старой — может, и преувеличение. Возраста её никто толком не знал. Вполне вероятно, что и сама не знала. Баба Тася, да баба Тася... Она и для тебя была бабой Тасей, Теодор, помнишь? Она умудрялась не меняться. Встречаются иногда люди, которые чуть ли не с малолетства становятся бабками и дедками. Она была такой.

Бабу Тасю во дворе на Молдаванке побаивались. Она отличалась какой-то невероятно сдержанной гордостью, ходила прямо, высоко держала голову. А если вслед кому-то из соседей смотрела, то те как-то сжимались, съёживались, старались побыстрее поздороваться и пройти мимо. В доме на Молдаванке здороваться было обязательным ритуалом. Говорить нужно было не как-нибудь там «здрась», а членораздельно, внятно, желательно и головой покивать, демонстрируя полное дружелюбие. Баба Тася жила одна, всё обо всех знала, обо всём имела собственное суждение. Могла отругать. Могла похвалить. Могла промолчать, но так, что лучше бы выматерилась. Материлась баба Тася редко. Но метко.

Именно баба Тася и поманила к себе полусогнутым пальцем Анну, высматривающую однажды утром своего Жору.

Анна повиновалась, потому что выхода иного не было — она была истинной дочерью двора, порядки знала. Она подошла к бабе Тасе и поздоровалась. Её голос слегка дрогнул, как, собственно и установлено было неписаными правилами внутреннего распорядка в доме на Дальнической.

А баба Тася выдержала положенную паузу, и высказалась откровенно на странном диалекте, который не всегда понимали даже её соседи.

— Здравствуй, Анна, здравствуй... Ви, Гаеви, странные все какие-то... Не моё дило, канешна, токо ты, Анна, зря за Жоркой бегаешь. Дивка у него есь. С Костецкой. Шуркой звут. Так шо булочки ему не таскай. Зря ета всё. От... Зразумела?

— Да, — сказала Анна и улыбнулась.

— А ты не лыбься. Смотри, как бы не реветь потом... Ихние вон... Керосина нету второй день...

— Какого керосина? — спросила Анна.

— А его я вже не тебе грю. Ета я Фросе грю...

Анна Гаева обернулась. Никакой тети Фроси не было и в помине. И Анне стало не по себе. Собственно, как и всегда от встречи с бабой Тасей. Она всегда так неожиданно прерывала разговор — то ли переходила на другую тему, то ли просто заговаривалась.

Анна не особенно обратила внимание на зловещее предсказание насчёт «реветь потом». В двадцать лет восприятие другое, по себе знаю. Баба Тася — она и есть баба Тася. Карга старая... Или не очень старая... Какая разница...

Не было, конечно, никакой разницы, сколько исполнилось лет и зим местной полуведьме-полунормальной тётке. Стоял такой прекрасный май. И на душе было светло и радостно. Потому что был Жора. Он чинил и мастерил велосипеды и улыбался, припрятывая улыбку в усы...

Она решилась. Она подошла к его сараю почти ночью. Но там было темно. И дверь была закрыта. Она уже решила уйти обратно, радуясь, что не наделала глупостей. Но потом, когда глаза привыкли к темноте, она поняла, что замок на сарае не висит. Да и дверь прикрыта как-то необычно. А потом услышала... Шёпот... Еле слышный смех... Один тихий голос принадлежал Жоре. С кем он был? Кому шептал что-то?

Она дождалась, Теодор. Это от бабушки своей ты унаследовал терпение, да?..

А ждать ей пришлось долго, почти до рассвета. Она спряталась за печью, в которой пекли паски.

И увидела Анна, как из сарая выскользнула тоненькая фигурка Шурочки Павловой с улицы Костецкой. И поняла Анна, что именно происходило там, в сарае, заваленном велосипедными деталями...

Спустя несколько минут она каталась по полу в своей квартире. Безучастно разглядывала и выслушивала её рыдания Ольга со старой чеканки. А ничего не понимающая бабушка читала над Анной молитвы и плакала, хотя и не знала толком, что же случилось с бедной её внученькой...

На дворе стоял май сорок первого...

Я знаю, что случилось с бедной внученькой. Я знаю, Теодор. Да, сейчас я обращаюсь именно к тебе. Ты так и не понял. Ты подумал, что она спятила. Потому что знал свою бабушку уже такой — чуть спятившей, злой, нелюдистой. Она любила тебя одного. И предсказывала тебе, что ты встретишь

девушку с чёрными глазами. То есть меня. Ей было очень важно, чтобы это было именно так. Она жила этим. Потому что, откатавшись по деревянному плохо выкрашенному полу, она поднялась другой. Чем-то вдруг ставшей похожей не на Ольгу с чеканки, а на ту самую бабу Тасю, так пугавшую её с детства одним своим видом... Но об этом потом...

Об этом потом. Хотя даже я не знаю, сколько времени ещё есть, чтобы договорить. Вы же по-прежнему молчите, вы думаете каждый о своём. Но это не так страшно. Ваша пауза по меркам вашего времени не так уж и затягивается. Это у меня тут...

У меня тут всё иначе. Иначе – и всё...

Анна Гаева поднялась с пола. Сняла со стены чеканку. Всмотрелась. Поцеловала зачем-то семейную ценность. И вышла во двор. Она знала, что встретит не бабу Тасю и не какую-нибудь другую соседку, обязательно бы полюбоществовавшую, что это там Анна несёт. И кому несёт. И зачем... Она знала, что встретит того, кого нужно. И она встретила. Жора Устимович посмотрел на Анну, поторопился объяснить:

– Я на работу, Анечка... А ты что, плакала что ли?..

Жора был здоров, крепок и совершенно счастлив... Так показалось Анне. И она, в общем, была недалеко от истины. От истины был далёк Жора, боявшийся опоздать на родной судоремонтный завод. Анна Гаева ведь не плакала. Анна Гаева просто перестала быть Анной Гаевой.

Никто не понял, Теодор. Ни её бабушка, ни соседи, ни сам Жора. И потом не поняли – ни её дочь, ни ты... Никто. Даже я не поняла, когда ты рассказывал иногда. Я и не задумывалась. Хотя именно мне и надо было бы... Я потом поняла. Когда понимать уже было и не нужно... Или всё-таки нужно? Если это понимание дано – значит, так было надо, правда?

Кого я спрашиваю? Тебя, Теодор? Тебя, Женька?..

Они стояли в парадной. И Анна подумала вдруг, что старая лестница – их единственный свидетель. И она их понимает, потому что перила похожи на извилины. Она так подумала – и испугалась. И как было не испугаться этому странному сравнению?.. И тому, что оно пришло в её голову?..

Анна протянула чеканку Жоре:

– Я не задержу тебя надолго. Не беспокойся. Бери. Это тебе. Это она, твоя Шурочка Павлова. Люби её. А я буду любить тебя. Но тебя это уже никогда не коснётся.

Он хотел отказать. Он знал, что эта вещь издавна висит в квартире Гаевых. Но что-то такое незнакомое появилось в хорошо знакомых глазах влюблённой в него девушки, что он взял и промямлил:

– Спасибо... Ты про Шуру знаешь, значит?

– Очень даже хорошо знаю. Торопись. Ты опоздаешь на работу...

Жора Устимович вернулся, чтобы оставить подарок дома.

Анна стояла на лестнице. Она словно хотела дожидаться, чтобы ещё что-то сказать. И он посмотрел на неё, снова ничего не понимая. Он сказал, словно оправдался:

– Шурочка сегодня уезжает. К тёте. В Николаев. На всё лето... Мы теперь долго не увидимся.

Он говорил это просто так. Он терялся почему-то. Словно понимал, что Анна знает о том, что произошло между ним и Шурочкой в эту ночь. Она и правда знала. Но он-то и помыслить об этом не мог. Он бы не поверил, что Аннушка могла простоять почти всю ночь у его сарая, где им с Шурочкой было так хорошо. И девочка эта двадцатилетняя не испугалась... А если и испугалась, то даже и виду не подала... Он думал о Шурочке. Он не понимал Анну. Не понимал её странного поведения, неожиданного подарка.

Он торопился на работу.

Анна не задерживала. Всего только ответила ему с некоторым опозданием:

– Кто знает, кто с кем и когда увидится... Да и увидится ли вообще...

На дворе заливался всеми красками май сорок первого...

Май прямо-таки был необуздан в желании радовать глаз, веселить, любоваться собой...

...Проводы на фронт были торопливыми, что в доме на Дальнической считалось неприличным. В доме на Дальнической свадьбы, крестины, похороны и другие знаменательные события должны были проводиться по соответствующему укладу. Чинно, размеренно. Но это была война. Война – это неожиданность.

Баба Тася поманила к себе Жору, посмотрела, плечиками своими узюсенькими почему-то повела, спросила чуть издевательски про Шурочку Павлову:

– А де ж дивка твоя, Жьора?

– Закопал я дивку, баба Тася. В сарае. Так что прощайте.

Кажется, впервые в жизни бабу Тасю обескуражили. Баба Тася впервые в жизни не успела испортить собеседнику настроение. Баба Тася стояла с чуть приоткрытым от ужаса ртом...

Эту сцену, ни слова, правда, не слыша, наблюдала Аннушка Гаева. Наблюдала, думала... И вдруг испугалась. Захотелось выбежать, расцеловать его хоть единственный раз в жизни. Но как это можно было сделать, вспоминая, как он дышал той ночью, его нежный шепот и то, как произносил ненавистное ей имя – Шу-роч-ка...

А ещё больше испугалась Анна, когда вдруг поняла – она больше никогда не увидит своего любимого, своего бесконечно чужого Жору Устимовича...

Жора Устимович погиб под Киевом в июле сорок первого...

Не унывайте, мальчики. Вам не уходить на фронт, слава Богу.

Вам нужно решить всего одну проблему, а потому всё же придется говорить обо мне. Ты хочешь говорить обо мне, Женька, я знаю. Я знаю, к сожалению. И тогда, когда ещё не была кленовым листом, знала. Помочь ничем не могла. Наоборот, только подталкивала к пропасти. Тебя. И других. В результате сама же себя в неё столкнула. Ты не должен был меня любить. И таблетки те глотать не должен был. . .

Кто кому что должен? Кто себе что должен?..

Ты полюбил ту, которая любить уже не могла. Она уже отлюбила. И стала пустой. . . Получается, что ты любил пустоту. А я никак не могла тебе это объяснить. Опять же, не нашлось нужных слов в нужное время.

Значит, слова всё-таки нужны, да?

Не знаю, не знаю. . .

Да, Женька, больше всего на свете тебе хочется говорить обо мне. Потому что тебя никто уже не слушает. Валерия – Лера – Лерка – Горенко – «одна женщина» – «та, которой уже нет». . . Всё это уже так осточертело твоим немногочисленным знакомым, которых ты «перегрузил» и которые теперь просто-напросто избегают тебя. . .

А ты, Теодор. . . А тебе как раз меньше всего хочется говорить обо мне. Потому что я стала потихоньку стираться из твоей достаточно хорошей памяти. Она, память твоя, имеет такое отличное свойство – выбрасывать ненужное. Я же говорила, что ты здоров. Это так ценно в наше нездоровое время. А тут этот гость. А незадолго перед гостем – Таривердиев. . .

– Я вам всё сейчас объясню. . . – в который раз начинает Женя Авраменко.

А Теодор смотрит на него уже даже без раздражения, потому что устал немного, потому что фразу эту его собеседник повторяет то ли в пятый, то ли в шестой раз. И ничего не объясняет, голос у него, видите ли, срывается. «Валерия. . .». «Чеканка. . .».

Какая чеканка? Откуда он про чеканку знает? Что Лерка рассказывала ему?.. И зачем. . . Тоже мне, тема. . . Рассказы полоумной его бабки. . . Ну и странное совпадение, конечно. Лерка – из Николаева. Теодор – из старого двора на Дальнической. А оказалось, что связь между ними существовала так давно. . . А если не между ними, то между их пращурами. . . Ну и что?..

Теодор, твоё трезвое мышление тебя же и подводит. Дважды два – конечно же, четыре. . . Но речь идёт не о таблице умножения, Теодор. . . Какое же у тебя все-таки дурацкое имя. Постаралась твоя странная мамочка. . . Твоя мама, тетя Мила, тысяча девятьсот сорок третьего года рождения. Незаконнорожденная, опять же. Как и ты, между прочим.

«Ох, уже эти Гаеви», – неодобрительно шептала баба Тася, когда в разгар войны Анна Гаева родила дочь. . . Без мужа. Может быть, даже от румына. Скорее всего, именно от румына. И – вот же досада – никто ничего не замечал. Ну, что б провожал её кто-нибудь в военной форме. Или хоть бы беременность просматривалась. Ну разве что когда Анна уже почти на сносях была. . . Что уж тут особенно обсудить. . . Самое интересное-то проглядели. . .

Шурочку в своё время благодаря бдительности бабы Таси просекли. . . Шурочку с Костецкой, что путалась с Жорой. Шурочка уехала. В мае сорок первого. В Николаев. К тётке. Оттуда на фронт рванула. Она такая была: если что решила – не отговоришь. Доводов не отыщешь. Она и помчалась на фронт, не зная пока о своей беременности. Что-то такое, правда, природа ей уже подсказывала. Но до того ли было Шурочке Павловой, комсомолке, если враг напал на её горячо любимую Родину?!

А потом, когда та же природа уже всю забила тревогу, Шурочка Павлова, моя воинственная бабуля, решила так: скрывать, пока есть такая возможность. Да, Теодор, это была моя бабушка. . . И она скрывала беременность, пока могла, рискуя и собой, и ребёнком, то есть моей будущей мамой. Бабуля была, как говорили во времена нашей с тобой комсомольской юности, идейная. Она в это слово вкладывала особый смысл, она так и осталась до конца своих дней в комсомольской юности, она, абсолютная атеистка, даже не догадывалась, что это и было её религией. . .

Так вот, Шурочка Павлова доносила в себе мою маму до тех пор, пока её отряд не попал в окружение. И во время безнадежного боя, где силы наступавшего противника во много раз превосходили силы оборонявшихся, Шурочка разрешилась от бремени скоротечными родами. От страха и безысходности, от шока она даже не успела почувствовать боль. И с тех пор не понимала, когда женщины, уже в мирное время, могли часами рассказывать о предродовых и родовых страданиях и муках. . .

Не было никакой вероятности выбраться оттуда живой. Да ещё с младенцем. Но она выбралась. Вместе с немногими, кто остался в живых.

У неё потом будут брать интервью. . . И я стану смотреть на бабулю по телевизору. Она громко и звонко, словно отчитываясь на очередном партийном собрании, будет рассказывать о самом памятном эпизоде на войне. И подробности будут расти с каждым годом. . . Славные такие подробности. И медали у бабули станут прибавляться, как те самые подробности. . . И помрёт она однажды на митинге, проводимом Коммунистической партией. . . Это будет в ноябре две тысячи четвертого. Седьмого ноября. На главной площади города. . . С портретом вождя в руке. . . Операторы склонятся над ней. И видеочкамаера скользнёт по бабуле, чтобы показать её в вечерних новостях, освещающих, как коммунисты славного города Николаева празднуют несуществующий уже праздник. . .

Она меня не любила... Нет, скорее она меня не замечала. Она жила партийной жизнью, вполне заменившей ей семейную, половую и любую другую.

Да, Теодор, да, Женя, моя бабушка пока ещё жива. Вряд ли она помнит, правда, тот май сорок первого, тот сарай на Дальнической улице и велосипедиста Жору, с которым случился у бабули грех...

Что, Женька, голова болит? Болит твоя глупая голова, да? И ты боишься, что тебе всё-таки укажут на дверь...

Да говори же, Женька, говори... Хотя что-нибудь... А лучше — о главном...

— Знаете, когда Лера у нас появилась... Она такой независимой казалась, такой жизнеспособной... Но я сразу увидел в её глазах какую-то... побитость, что ли... Затравленность такую... А глаза у неё удивительные были... Чёрные-пречёрные. Как у ведьмы. В ней и в самом деле что-то такое было...

— Я знаю, — отвечает Женьке Теодор.

И мне, жалкому кленовому листу, превращающемуся под мелким дождём в полное ничто, делается чуть легче...

Легче ли? Кажется, всё кажется. Мне — никак...

Я же знаю, что — никак...

Это память о прошлом хранит в себе ощущения оттуда...

Оттуда, из жизни, где бывает и легче, а чаще всего — очень тяжело. Даже невозможно...

Да, Теодор, именно в восемьдесят девятом я сбежала из Одессы. Нет, не из города. От тебя. Я испугалась тогда. То есть пугалась я много раз, но тогда... Тогда пере-пугалась. Слишком уж. Инстинкт самосохранения подсказал: беги. Я и побежала, глупая, надеясь спастись. Я убежала в город своего детства. В Николаев. Я думала, что нашла выход... А выхода мне уже не было.

Так бывает — нет выхода.

Мне было двадцать восемь. Меня учили, что выход всегда есть.

Теодор, в девятнадцать лет мы стукнулись лбами в институтском коридоре.

Когда нам было по двадцать, ты в первый раз излишне сильно схватил меня за руки, заклиная, что самое лучшее у нас — впереди. Ты заклинал, ты просил, чтобы я простила тебя...

Я простила. Да какой там простила... Тоже мне, слово нашла... Я ведь и представить себе не могла, что такое вообще можно — не выслушать тебя, не понять, не принять все твои слова на веру. И то, что лучшее — впереди... Это же так понятно, а как же иначе?..

Да, опять тороплюсь. Мне, как вы оба помните, всегда не хватало размеренности в суждениях и поступках...

Вы себе разговорились, наконец. Я опять забегаю то вперед, то назад, пытаюсь поправить вас, остановиться, чтобы задуматься... А это в принципе невозможно. Как невозможно отыскать то единственно правильное решение, к которому так стремятся граждане всех времён и народов...

Говорите, мальчики, говорите... Знаешь, Теодор, ты не удивляйся, что упоминание о чеканке вдруг перенесло тебя в детство. Не удивляйся и тому, что тебе захотелось вспомнить о нём вслух.

Говори, Теодор, говори...

...Как и повелось, по словам бабы Таси, «у Гаевих», ты родился от незарегистрированной в загсе любви, в достаточно мирное время, в шестидесятом. Твоя мать произвела тебя на свет, едва успев окончить среднюю школу. Кто был твой отец, никто в доме на Дальнической так и не узнал, хотя обсуждался этот вопрос в каждой квартире в отдельности и у дворового крана на импровизированном общем собрании. Кран стоял посередине двора, проглядывался из каждого окна, и твоя бабушка, понимая, что обсуждают в данный момент её дочь, тихонечко нашептывала своей непутевой Милке:

— Ничего, ничего... Пусть трепятся... Посмотрим...

Она возлагала на тебя большие надежды, Теодор. Она именно тебя избрала исполнителем своей непонятной мести.

Или такой понятной?..

Но мне придётся опять вернуться к собственной бабушке, воинствующей Шурочке Павловой. Война для неё окончилась вместе с первым криком моей будущей матери. Бабуля не дошла до Берлина. Бабуля исполняла материнский долг. Есть у меня обоснованное серьёзное подозрение, что бабушка тяготилась своим внеплановым материнством, помешавшим ей совершать героические подвиги на поле брани.

Война закончилась, бабуля попала в Николаев, встала на партийный учёт и стала изо всех сил уголять свою вечно неутолённую жажду быть полезной родине хотя бы в мирное время. Верочка подрастала. Она не мешала бабуле в её деятельности на идеологическом фронте, хорошо училась, была примерной девочкой. И — главное — не мешала. В шестидесятом, правда, окончив школу, она почему-то отчаянно засобиралась выходить замуж. Никакие уговоры, требования и воспитательные беседы матери не помогли. Одноклассник Лёничка заполнил её мысли до отказа. Мало того, Вера вдруг стала задавать вопросы, которых Александра Павлова не ожидала. Вера стала спрашивать об отце. Более того, она даже подсчитала, что её появление на свет — не итог военно-полевого романа. Верочка требовала ответа. Она знала, что её мать до войны жила в Одессе, и перед замужеством девочке страшно захотелось познакомиться с отцом. Партийный работник растерялась. Её застали



врасплох. Она не подготовилась заранее. А на ходу сочинить историю про красивую любовь с красивым одесским парнем, который стал лётчиком, ей не хватило фантазии. Как не хватило воображения в красках изобразить прощание перед уходом обоих фронт, трогательное обещание ждать друг друга. Ну, и, конечно же, героическую смерть любимого во время неравного воздушного боя.

Кроме того, партия учила говорить правду. И Шурочка Павлова сказала правду. Почти правду. Она упустила «сарайные» подробности. Но адрес назвала. И Верочка, моя бедная мама, помчалась в Одессу в надежде познакомиться с отцом.

Это был шестидесятый год. И ты уже был в этом мире, Теодор. Мила Гаева гуляла с тобой у улице Дальнической. Ты лежал в коляске и спал. Твоя бабушка стала странноватой после того, как провела ночь под сараем Жоры Устимовича. Твоя же мать была такой с рождения. Она мало говорила и много читала. Читала, правда, одного и того же автора. Теодора Драйзера. Прочтёт — перечитает. И снова прочтёт. И так по кругу. Так и прожила всю жизнь. С томиком Драйзера в руках. Как она умудрилась завести что-то вроде собственного романа, в результате которого появился ты? Одно закономерно и вполне понятно — имя твоё, доставившее тебе столько неприятностей в виде насмешек...

Во двор на Молдаванке вошла девушка, покрутилась, чуть нахмурилась брови. Она не знала, что по меньшей мере шесть пар глаз уже изучают незнакомку из окон. Девушка стояла у крана. Того самого, что в центре двора.

Баба Тася вышла первая. Она смотрела на Верочку, вопросов не задавала. Ждала. Дождалась. Девушка спросила у неё:

— Вы не подскажете, где живёт Жора... Георгий Устимович?

При упоминании фамилии Устимовича, баба Тася сплонула, промямлила что-то непонятное себе под нос про какую-то «дивку» и пошла по направлению к дому. Но она не вошла в парадную. Чутьё подсказывало ей, что уходить рановато. Всё только начинается. Баба Тася не ошиблась. Анна Гаева, распрямив плечи, с ведром в руке направлялась к крану.

— Вы кого спрашиваете? — спросила она.

— Георгия Устимовича. Он...

Анна Гаева молча подставила ведро под струю воды, снова выпрямилась, поинтересовалась:

— Зачем он вам?

Верочку Павлову мама учила говорить правду. И она сказала:

— Я его дочь.

Твоя бабушка, Теодор, застыла. Вода переливалась через край. А она стояла у крана, с ненавистью смотрела на несчастную мою будущую маму и молчала. Верочка закрутила кран. Она ничего не понимала. Ей стало страшно. Анна сказала вдруг:

— Пошли в дом!

И Верочка послушно поплелась за странной женщиной.

Твоя бабушка и предположить не могла, что события одной майской ночи перед войной имели вполне конкретные последствия. И эти последствия предстали теперь перед ней в виде худенькой девчушки, зачем-то явившейся бередить её, Анны, прошлое.

На всякий случай, надеясь на чудо, она спросила:

— Твою мать Шурой зовут?

— Да. Александра Владимировна.

— В Одессе живете?

— Нет. В Николаеве. Вы об отце знаете?

— Погиб твой отец, — чуть ли не радостно произнесла твоя бабушка. — Нет его, Жоры Устимовича. В его квартире люди другие живут. А он погиб, — повторила она ещё раз.

Верочка про отца всё поняла. Женщина эта, правда, какая-то странная. Стало неудобно, захотелось уйти. Да и что ей до этой женщины? Война — есть война. На войне погибают. Её отец погиб. И это понятно. Пора домой. В Николаев. На собственную свадьбу.

— Я пойду, — сказала моя будущая мама. — Извините.

— Никогда не прощу, — вдруг прошипела твоя бабушка. — Никогда. Я ему чеканку отдала... Я...

Она схватила Верочку за руку, та чуть не закричала от неожиданности.

— Вот, видишь эту стену? — спросила шепотом Анна. — Здесь чеканка висела. Я её ему отдала. А он дел куда-то. Не Шурке, не маме твоей ли отдал, а?!

— Я... не знаю... Отпустите меня. А то я закричу.

— Отпущу. Тебя отпущу, — вполне миролюбиво вдруг заговорила твоя бабушка, Теодор.

Она отпустила Верочкину руку и сообщила вятно, спокойно и даже как-то безразлично:

— Теодор уже подрастает... А ты выйдешь замуж и родишь дочь с чёрными глазами. С такими глазами, как на той чеканке... Это будет, я знаю... Твоя дочь полюбит... Как я когда-то твоего отца. И мой внук заставит её страдать. Она будет страдать, да. Она станет кататься по полу, как я тогда, в сорок первом, в мае. Это будет... А потом она пойдёт дальше, чем я... Твоя дочь станет разрушительницей... Разрушительницей...

Верочка стала пятиться к выходу. Твоя бабка её не останавливала. Она ведь уже сказала всё, что хотела сказать...

Она только успела повторить ещё раз:

— Разрушительницей!..

Когда Верочка, рыдая, пересказывала своей матери жуткую историю про посещение двора на Молдаванке, моя бабушка её резко оборвала:

– Что за мракобесие, Вера?! Что за чушь?! И я это слышу из уст своей дочери, комсомолки, человека с аттестатом зрелости...

Как ни странно, но слова партийного работника подействовали на мою будущую маму умиротворяюще.

Мама вышла замуж.

В шестьдесят первом родилась я. Валерия Леонидовна Горенко.

Девочка с чёрными глазами.

Как угли в ожидании огня.

Как страсть в поисках выхода...

Что ж ты наморщил лоб, Теодор?

О чём ты так сосредоточенно задумался?

Вспоминаешь? Музыка Таривердиева в тебе зазвучала, да?

О, эта музыка...

Женька, ты не сердись. Не сжимайся в страхе, что хозяин дома тебя выставит за дверь, так и не дослушав, так ничего и не сказав в ответ на твои явные и скрытые вопросы. Дай ему подумать, Женька. Дай ему сосредоточиться, вслушаться в зазвучавшую внутри музыку. Ты только помолчи немного.

Да, Теодор, это Таривердиев. И это – его музыка. То единственное, пожалуй, что нас соединяло. Ведь всё остальное... Что это было, Теодор? Скажи, что это было? Что происходило с тобой и со мной все те девять лет? Почему я сознательно избрала роль жертвы? Знаешь, мой... Нет, ты не мой... И ничей. Ты никогда никому не принадлежал. В этом твоя сила. И потому воспоминания в тебе не бурлят, а всего лишь чуть теребят, не очень приятно, но вполне терпимо. И ты не задаёшь себе вопрос: а что же это было? Ты всего лишь поневоле окунаешься в то уже далёкое время, когда мы были студентами.

Мы – студенты политеха. Я живу в общежитии, в одной комнате с тремя девчонками. Их нет, потому что здесь ты и я. Девочки всё понимают. И даже чуть-чуть мне завидуют.

Валя. Алёнка. Зиночка...

Их нет. Мы – есть. Мы и Таривердиев на бобине. Магнитофонная лента не очень качественная. Но нам подходит. Нам с тобой всё подходит. Лишь бы Таривердиев. Лишь бы никто не мешал... В девятнадцать вода в реках течёт иначе, правда? Медленнее, да? И ты ласкаешь меня, а я пытаюсь посмотреть тебе в глаза. Ты зажмуриваешься. Зачем?..

Валя. Алёнка. Зиночка.

Не завидуйте, глупенькие. Не такой уж красавчик этот Теодор. И не такой уж...

Конечно же, тогда я так не думала. Это я из сегодняшнего дня шлю привет той черноокой дурочке. Чуть инфантильной и слишком влюблённой. Это из сегодняшнего дня я говорю этой самой дурочке, что зря она чуть жалеет своих подруг. Ведь каждая из них по очереди скоро очутилась в этих самых объятиях...

Теодор, тебе нужен был гарем, да?

И в этом всё дело, да?

Ну объясни же мне, мне теперешней, которой уже нет, пошли мне мысленно ответ, Теодор.

Перед тем как превратиться в ничто, так хочется понять...

Ох уж эта моя страсть к ответам на вопросы.

Я ведь давно уже знаю, что то и другое только в нас самих.

Но меня уже нет...

Чего же я жду?

Твоего раскаянья, Теодор? Но зачем оно мне теперь, теперь, когда я – всего лишь кленовый лист, мокнувший под дождём?

Комната в общежитии политеха... И ты ласкаешь меня под музыку Таривердиева... И всё ещё так прекрасно... И ты рассказываешь мне о своём детстве. Весело и образно ты обрисовываешь мне свой ветхий дом на состарившейся Молдаванке.

«Лерка, я – дитя асфальта...».

Да, Теодор, ты – дитя асфальта. И дитя Молдаванки. Старой Молдаванки, улицы которой в самом деле успели заасфальтировать как раз в период твоего детства.

Ты родился в старом доме. Без удобств. И без папы.

Твоя мама читала Драйзера. Твоя бабушка тебя обожала. Потому что свято верила: однажды ты встретишь меня и отомстишь мне за её девичью обиду. Её обидой был мой дедушка. Ответить за него должна была я. Логично, правда? Особенно если учесть, что мой дедушка, по большому счету, ничем твою бабушку не обидел. Просто он её не любил. Но твоя бабушка отдала ему чеканку. Мой дедушка не понял, что это не подарок. Всего лишь залог будущей мести. А он, бедный, наивно посчитал, что Анна Гаева отдаёт ему семейную реликвию только потому, что изображённая на ней девушка так похожа на его Шурочку Павлову. На мою бабушку.

Бабуши-дедушки. Дедушки-бабушки...

Я-то перед ними в чём виновата?..

Виновата. Но не перед ними.

«Моё детство, Лера, утопили в керосине...».

Ты лобил повторять эту фразу. И я хохотала.

Керосин привозили по средам. На соседней улице собирались счастливые обладатели канистр всевозможных цветов и ёмкостей. Канистры выстраивались в ряд. В очередь. Их хозяева стояли чуть в стороне, обмениваясь новостями. Новостей было немного. Международное положение никого особенно не волновало. Больше всего волновали цены на уголь и его качество. И ты с детства запомнил – «семечка», «орешек»... Тонна, полтонны...

В твои обязанности входило доставлять керосин по средам. Прислушиваться к колокольчику, которым хмурый небритый дядька возвещал о приезде машины по уборке мусора. Ты хватал ведро с мусором и волок его через подъезд на улицу. Мусорщик следил за содержимым ведра, иногда выхватывал оттуда какие-то тряпки, брезгливо принохивался к ним, приглядывался и откладывал в сторону. Он всегда был недоволен. И тебя, маленького и лопоухого, это пугало...

Керосинщик Сёма, напротив, всегда улыбался. Сёма пропах керосином и тебя занимала мысль: когда он уйдёт на пенсию, то тоже будет также благоухать или запах выветрится, вымоется, испарится... У Сёмы были гнилые зубы и тебе было противно к нему приближаться...

Ты ненавидел керосин и примус, которым его заправляли. Примус шипел громко и озверело. Его звук мешал тебе. Даже преследовал. И потому все неприятные звуки ты сравнивал с работающим примусом.

Для примуса нужны были специальные иглы. Чтобы прочищать маленькое отверстие, через которое тоненькой струйкой подавалось то горючее, за которым ты стоял в очередях по средам. Иглы продавались на Алексеевском базарчике. Бабушка брала тебя за руку и говорила: «Пойдём на Алексеевский. Там купим иголки для примуса и сухой спирт». Она косилась на твою маму. Мама зевала. Мама была безучастна. Бабушка что-то грозно шептала, хватала тебя и уводила...

Сухой спирт – тоже для примуса. Им прогревали горелку примуса перед тем как разжечь. Примус требовал много жертвоприношений.

Ты не хотел переться на Алексеевский базар. Ты не желал делаться жертвой примуса, потому что это рычаще-гудяще-шипящее пугало стало для тебя символом полуниченской жизни, твоей полоумной бабушки, кривым пальцем указывающей время от времени на стенку, где когда-то висела чеканка, холода по утрам, когда ваша несчастная печка не хотела растапливаться, походов в замёрзшую и вонючую уборную, куда нужно было топтать через весь двор.

Ты боялся смотреть в окна. Оба окна выходили во двор. А весь двор был уставлен палками-подпорками для белья. Подпорки с гвоздем на конце. Чтобы удобнее было зацепить за веревку. Палки служили иногда последним аргументом при выяснении межсоседских и межсемейных конфликтов. Помнишь, Теодор? Тётя Валя ловко отцепляет палку от верёвки и что есть сил метелит своего вечно пьяного супруга – дядю Володю. И кровь на его лице заставляет тебя сжаться, потом – разрыдаться. А бабушка не понимает, что тебя так напугало. Подумаешь, жена с мужем разбираются. Пора привыкать. Это жизнь...

Ты не хотел такой жизни. Ты был ещё слишком мал, чтобы предпринимать конкретные меры. Ты молча бунтовал. Ты накапливал обиды за горшок у кровати бабушки и мамы, за бабу Тасю, это дворовое страшило, которое вечно преследовало тебя в ночных кошмарах, а наяву смотрело тебе вслед так жутко и так непонятно.

Баба Тася... Мне всегда было немного смешно, когда ты, двадцатилетний парень, член институтского комитета комсомола, способный студент, с каким-то суеверным ужасом, на полном серьёзе, рассказывал про старую Тасю, кивавшую в сторону заброшенного сарая...

– Закопали дивку... Закопали... – повторяла баба Тася.

Она повторяла эту фразу неустанно. Повторяла каждому по очереди и всем жильцам вместе на общих дворовых сходках. А когда в дворовой печи пеклись паски, то баба Тася доходила до крика:

– Не, ну вы сатрите на их. Тоже мне, хузяйки хреновые. Паски оне печуть. До праздника оне готовятся. А дивку там закопали, так никто ж и не думаеть про ета!

На бабу Тасю не то чтобы внимания не обращали. К ней просто привыкли. И к её «дивке закопанной» – особенно. Лишь бы вслед проклятий не слала. Проклятий боялись, это да. А дивка... Кто там её знает, эту старую ворону Таську, что она, малость тронутая, мозгами, значит, поехавшая, имеет в виду...

А ты боялся, Теодор. А ты про дивку у бабки своей спрашивал. Но Анна Гаева думала не об этом. Она жаждала мщения. Она знала жертву. Она растила мстителя. Она даже и не предполагала, насколько они связаны воедино – «закопана дивка» и её давно и тщательно запланированная вендетта.

«Что ты хочешь от меня, обременённого тяжёлым детством с деревянными игрушками, Лерка?».

В самом деле, что я хотела от тебя, Теодор?

Любви? Понимания? Сочувствия?

Я искала у тебя сочувствия? У тебя, уже обласкавшего и Валю, и Алёнку, и Зиночку? Почти у меня на глазах?

«Я – мужчина, Лерик. Пойми»...

Простила – значит, поняла?

Но почему ты выбрал для утех именно их? Тебе ведь было всё равно – кого. Они просто оказались под рукой, да?

Как под рукой потом оказались те, другие, о которых ты мне же подробно рассказывал и снова советовал:

– Пойми...

И мне бы внять твоему совету. Мне бы понять. И спокойно уйти. Красиво. Но я не могла. Я растворилась в тебе, потому что мы были суждены друг другу. Так хотела твоя бабушка... И не случайно, значит, потащила я в Одессу, нисколько не вникая в уговорам мамы, которая так боялась, что мы и в самом деле встретимся, как ей предсказала однажды твоя бабка.

И мы встретились. И учились в одном институте. И столкнулись лбами. И потом всё сопоставили. И смеялись, как всё совпало. И я, балдея от счастья, не прочувствовала, что за всем этим стоит совершенно конкретное проклятие. И что оно может сработать...

У тебя были деревянные игрушки. Они достались тебе по наследству от мамы. На новые не было денег. А, скорее, не было желания приобретать их для тебя. В конце концов, не так уж дорого стоили яркие и смешные пластмассовые мишки и металлические машинки. Но твоей маме было не до тебя и не до бабушки. Она снова и снова погружалась в мир сестры Керри, Дженни Герхард и Фрэнка Каупервуда, перечитывала страницы, которые и так уже знала почти наизусть. Твоя бабушка методично готовила тебя к встрече со мной...

И мы встретились... Я повторяюсь? Я много раз повторяюсь, да? Но это же так объяснимо...

Я росла в нормальной семье. У меня были папа и мама. И преданная Коммунистической партии бабушка. Меня любили и даже баловали. Мне покупали игрушки. Много-много разных игрушек. Я росла в квартире со всеми удобствами. Что такое примус, я представляла себе довольно туманно.

Меня не готовили к мести.

Может быть, к жертве?

Старая чеканка... Произведение мастера Вардана... Бедный Вардан, ты любил или ненавидел, когда творил, а?..

Что, Теодор, вспомнились длинные рассказы бабушки?

Что, Женька, тебе вспомнились мои рассказы? Я ведь ничего другого и не могла тебе рассказывать, ты уж найди в себе силы понять... Сообразить, что у меня просто-напросто не было других тем, кроме как о Теодоре, о его детстве, о том, как мы с ним встретились и как расстались. О том, что нам суждено было столкнуться на мою беду... И о чеканке, конечно... Которую в глаза никогда не видел ни Теодор, ни его мама, ни я, ни ты, Женья...

Теодор, отключись от музыки. Нет никакой музыки. Тишина на кухне. Вы ведь снова молчите. Говорю я. Это – мой монолог. Моё соло. Под музыку Таривердиева. Потому что я заказала эту музыку. И звучит она для меня. Ты понял, Теодор? Мы девять лет слушали Таривердиева. А потом я целых шесть лет не могла слушать его, потому что мелодии возвращали меня назад, к тебе. А мне нужно было от тебя избавиться...

Избавиться...

Не оценила я твою бабушку, Теодор.

Разве я могла от тебя избавиться?

Но не об этом сейчас речь. Сейчас – музыка Таривердиева. И мне не больно её слышать, потому что мне – никак. Мне нужно всего лишь довести до конца одно дело. И я доведу... Только потерпите друг друга ещё немножко. Особенно ты, не слишком терпимый к чужим причудам Теодор. Подожди ещё чуть-чуть... Так надо.

Не вам. Мне.

Осень постанывает. Осень проливает слезы.

Я прилипла к твоему окну, как когда-то, ещё живая, прилипла к тебе.

Всё повторяется, Теодор. С той лишь разницей, что теперь мне не страшно, как тогда. Тогда, когда я тебя просила:

– Пожалуйста, давай поженимся.

Ты подумал, посмотрел на меня, словно оценивая, и сказал:

– Это так банально, Лерка. Мы с тобой выше всех этих глупостей.

Ты приходил ко мне по пятницам. Оставался на выходные. Я, молодой специалист с только что полученным дипломом, снимала квартиру у одинокого дедули. Он казался глуповатым, глуховатым и подслеповатым.

Но он всё понимал, слышал и видел.

Сказал однажды:

– Дура ты, Валерия. Этот твой Теодор – клоп. Неужели до сих пор не разобралась?

Я обиделась. Не на тебя. Не на себя. На деда. Но с квартиры не съехала. Дед брал недорого. И тебе ко мне было удобно добираться. Всего две трамвайные остановки.

Иногда ты приходил со своим начальником. Начальник напивался и смотрел на меня нехорошо. Он откровенно меня мысленно раздевал. Однажды я тебе об этом сказала. Ты спросил:

– У тебя проблемы с психикой, что ли? Откуда в тебе взялся комплекс старой девы? Это состарившимся девицам всё время мерещится, что их прямо-таки жаждут раздеть все мужчины подряд. Не дури. И не пугай меня.

Я заткнулась.

Мне хотелось быть самой лучшей. Самой удобной. Даже удавалось самой себе внушать, что твои подробные донжуанские исповеди меня всего лишь веселят.

Подумаешь, переспал нормальный здоровый молодой мужик с какой-то ничего не значащей для него бабой. Мужик ведь любит меня, а не её...

Иногда тебе не хватало денег. А у меня были хорошие родители. Они частенько мне помогали материально. И всё у нас с тобой было общим. Это ведь так естественно.

Всё было естественно и нормально. Только на работе меня иногда спрашивали:

– Ну почему же у тебя такие грустные глаза, Валерия?

Такие большие. Такие чёрные. И такие грустные.

Как ты, Женька, сказал однажды? «В ней побитость какая-то была»...

Да, была побитость.

В восемьдесят девятом ты пришёл со своим начальником. Он обещал выбить для тебя загранкомандировку. В тот вечер ты был немного не похож на самого себя. Ты почему-то чуть заискивал передо мной, когда мы сидели за столом. Твой начальник привычно напивался и привычно меня развёл глазами. Ты позвал меня на кухню.

– Лерик, тут такое дело... Ты понимаешь, я сейчас должен уйти. А Петр Алексеевич останется... Хорошо? Ты же хочешь, чтобы я поехал в Чехословакию, правда? Это же залог нашего с тобой будущего, понимаешь?

Я не поняла. Я переспросила:

– Как это Петр Алексеевич останется? Где останется? У меня? Зачем?

И ты посмотрел на меня недовольно:

– Лерка, ты же умница. Ты должна понимать. Он тебя хочет. Конкретно тебя хочет. Он сказал, что если ты не станешь ломаться, то вопрос с Чехословакией решен. Он же тебе нравится, правда?

– Совсем не нравится. Он мне противен. И ты это знаешь.

И тогда ты посмотрел на меня так, что стало понятно: я тебе сейчас противна. И знаю это.

– Если тебя настолько от него тошнит, что у меня сорвется загранпоездка, то...

Ты помолчал немного. Потом добавил:

– Ты ломаешься или прикидываешься? Никак не пойму. Неужели трудно для меня постараться каких-то там полчаса или час? Он пьян. Он быстро уснёт. Так я пошёл..

Милосердное подсознание попробовало меня утешить. Оно подсказало выход – Теодор всего лишь проверяет меня. Он хочет удостовериться, что ему верна.

Но ты ушёл, Теодор. И в дверях мне даже подмигнул:

– Будь умницей, Лерка.

Дверь захлопнулась.

Я упала на пол. Прямо возле двери. В коридоре. Я каталась по полу, как это случилось однажды с твоей бабушкой, Теодор. Я каталась по полу и выла, как вот этот осенний ветер.

Проклятие подействовало? Твоя бабушка могла бы порадоваться. Но ведь она не видела этого. Чему же тогда радоваться?

Не видела, но слишком уж точно знала, что так и будет.

Так и случилось.

А в чём же, собственно, состоит проклятие твоей бабушки, Теодор? В чём страшная месть несчастной Анны Павловны Гаевой, ни с того ни с сего пославшей на мою неповинную голову страшные слова? Мало ли кто с отчаянья падает на пол, рвёт на себе волосы и воет от бессилия?.. Так ли уж страшно это – упасть на пол?

Не это страшно, Теодор... Не это...

Тогда, перед самой войной, твоя бабушка упала на пол, оплакивая своё неразделенное чувство к моему дедушке – Жоре Устимовичу. Она страдала и извивалась на полу, словно раненое животное. Страшно не это. Жутко другое – подняться с пола другим человеком. Человеком, внутри которого уже нет ни разделённой, ни неразделённой любви. Ничего нет, кроме одного – неуёмной жажды мстить.

Я поняла это, когда поднялась на ноги и посмотрела на свои пальцы. Ногти были сломаны. Один даже слишком близко к коже. Я посмотрела на кровь и сразу поняла, что имела в виду Анна Павловна Гаева. Потому что поднялась в тот вечер с пола не я, Валерия Леонидовна Горенко. Поднялась другая. Та, которая была уже в состоянии посылать проклятия. И мстить. Уже всё равно кому.

Твой Петр Алексеевич икал и что-то пытался мне сказать. В чём-то признаться. Я его прервала:

– Не надо. Я согласна. Вот диван. Вперёд...

Нет, я не оказывала тебе услугу, Теодор. Я чётко следовала по следам давнего проклятия. Я становилась разрушительницей. Я сделала свой выбор. Я разрушала. Я начала этот мучительный процесс с себя самой. С собой же и закончила...

Ну вот, Женька, так и знала, что ты меня перебьёшь. Ты набрался решительности именно в тот момент, когда мне захотелось закончить свой рассказ. Ну что ж... Ты уже набираешь воздуха в лёгкие, да?.. Да, но ты лишь вздохнул тяжело, чем заставил Теодора посмотреть на тебя внимательно... Не смотри на него так, Теодор, не пытайся понять...

Ну вот, Женя, ты стоишь у окна, ты всматриваешься в ночную улицу, ты прислушиваешься к дождю. А по мне лишь слегка скользнул взглядом. Правильно, всё правильно... Так ли уж важен этот

жалкий промокший кленовый лист, что прилип к оконному стеклу?.. Говори. Теодор ждёт.

— Чеканка, — повторяешь ты это ключевое слово, словно называешь пароль. — Я почти уверен, что знаю, где она...

— У вас с Лерой не было других тем для разговора? Что вы повторяете, словно попугай — чеканка, чеканка...

— Чеканка, — упрямо говоришь ты ещё раз. Да так уверенно, так настойчиво, что сам не узнаёшь себя. — Знаете, вы правы. Валерия в самом деле говорила почти всегда лишь о вас, о вашем детстве, о дурацком проклятии... Да, действительно, ей всегда хотелось говорить лишь о вас... И я почти привык... Вот что смешно... Я принял эти условия игры... Она всегда играла...

— Вряд ли... Она не играла... Она была такой... От Лерки всегда двести двадцать било...

— Не надо... Пожалуйста, не надо... Я не хочу говорить о ней с вами. Вам не понять. Я не хочу. Я приехал за другим. Помогите мне найти чеканку... Нет, не перебивайте. Я знаю, где она. Я знаю, где ваша семейная реликвия. Я почти на сто процентов уверен... Мне это очень важно... Сарай Жоры Устимовича... Она закопана там. Помните — «Закопали дивку»? Я не знаю, откуда узнала ваша свихнувшаяся соседка об этом... Но она была права... Нет, не смотрите на меня так. Я не сошёл с ума... Хотя очень близок к этому, наверное... Так вот, та ваша старая баба Тася повторяла про закопанную дивку и указывала в сторону сараев. Она была недалеко от истины. Дедушка Валерии закопал там ту самую чеканку, которую ему подарила ваша бабка. И, вероятно, сказал однажды об этом бабе Тасе. А баба Тася уразумела это как могла, то есть дословно. И пыталась рассказать об этом всему двору. А её не понял никто. Да она и сама толком не понимала, что говорит. Это же так ясно. Вам разве так не кажется? Жора Устимович закопал чеканку на тот случай, если дом разбомбят или случится что-то такое... Война ведь, понимаете? Он надеялся вернуться с фронта и раскопать своё сокровище... Ведь изображённая на ней девушка напоминала ему его Шурочку... Девушку с чёрными глазами... Как у Леры...

— Фантазёр вы, Женя... И только, ради Бога, не начните плакать.

— Я уже своё отплакал... Мне нужна чеканка. Помогите мне её найти. Пожалуйста, ради памяти о ней... Я знаю, чеканка принадлежит вам и вы...

— Послушайте, вы в самом деле считаете, что я потащусь с вами на Молдаванку и начну раскопки в сарае, которого уже давно нет? Сарай, который ещё во времена моего детства негласно считался плохим местом?.. Какая чеканка, Евгений?.. Ваши предположения гроша ломаного не стоят. Вы больны?..

— Болен. Но не так, как вы думаете... Пожалуйста, Теодор, я очень вас прошу... Валерия... Её уже нет, но вы же человек, вы должны понять...

Ты же человек, Теодор, ты же должен понять его... Самое смешное, что он прав. И ваши интересы полностью совпадают. Тебе не нужна чеканка, знаю. Но есть нечто другое, что тебе никогда не мешало, чего никогда не бывает много и что ты ценишь... Прости, пожалуйста, это снова голос той, из прошлого. Кленовый лист мудрее, он знает, что ты даже перестрадал в своё время...

В то самое время, когда уже другая Валерия Горенко переспала с твоим начальником. Не для услуги тебе, Теодор, а для придания себе шальной уверенности, что она способна принадлежать не только тебе...

И не знала я тогда, судорожно собираясь покинуть Одессу, что ничего тебе не перепало — ни загранкомандировки, ни покровительства твоего Петра Алексеевича. Он на следующий день вызвал тебя в кабинет и предложил уволиться. Откуда мне было знать об этом? Откуда мне было знать, что именно так вдруг поступил твой пьющий начальник? И ты не понял ничего и спросил его, что же случилось, что же это я такого натворила, когда мы остались одни. Он послал тебя матом. Что он понял в ту ночь, на том диване в моей квартире?

Откуда мне знать было тогда?

К чему мне задумываться теперь?

Откуда мне было знать, что ты позвонил в ту квартиру, что дверь тебе открыл тот самый странный дедуля и сказал, что я уехала неведомо куда? И что он добавил, что очень рад этому. А ещё он сказал, что ты, Теодор — мразь из мразей.

Разве я знала?

Не знала.

Знаю теперь, когда это уже мне ни к чему.

Знаю и то, что ты отстранил хозяина квартиры и потопал в комнату, которая была как бы нашей. И что ты понял, что тебе некому теперь рассказывать о доме на Молдаванке, о своей бабушке, о бабе Тасе и примусе.

И как я могла знать, что ты присел на как бы наш диван и у тебя опустились руки? И тебе померещилось, что они пахнут керосином.

Как я могла знать, что с тех пор ты стал видеть сны? И что именно я, Валерия Горенко, приходила тебе в этих снах, живая и тёплая.

И длилось так несколько лет.

Знать бы...

И что тогда?..

А озарение, пришедшее после того, как меня не стало — это как?

Это к чему?

Ни к чему.



Я не знала, Теодор. Я добровольно отправилась в город детства и юности, то есть в Николаев. Я обиделась на весь белый свет, но белому свету было глубоко начхать на мою обиду.

Осознанно или подсознательно поплелась я по своей новой дороге? Какая разница? Всё уже рушилось внутри меня, и хотелось одного – рушить всё вокруг себя.

Это был мой выбор.

При чём же здесь проклятие, а?

Я появилась на пороге отдела научно-технической информации. Я посмотрела и поняла – то, что нужно. Их было шестеро. Три пары. По штату было положено семеро сотрудников. Седьмой стала я. Без пары. Но я уже знала – не будет вам, ребята, никаких пар. Не хочу никаких пар, раз у меня не получилось. И такая вдруг сила появилась, такая сила...

Да, Женя, да. Это ты, начальник отдела, подумал, что берёшь меня на работу. Это все остальные так решили, когда разглядывали меня. Я же знала – это я, ребятки, беру вас. Это я приглядываюсь к вам, чтобы навести здесь свой порядок. Мой порядок – беспорядок.

Хаос. Бедлам. Кавардак. Путаница.

Ты был в меру демократичен и в меру строг, бедный мой Женька. Ты вводил меня в курс дела. Остальные на меня смотрели. И твоя жена, Лидия Авраменко. И все остальные – Володенька и Любушка. Кузя и Муся. Володенька собирался жениться на Любушке. Кузя – на Мусе. Вы обращались друг к другу нежно-ласкательно. Вы вместе проводили время на работе и всё свободное время – тоже. Вы были слишком дружны, и всё у вас было запланировано наперёд. И все друг друга понимали.

Вас было шестеро. Я – одна.

Справилась...

Я посмотрела на Володеньку и он покраснел. Любушка побледнела. Так продолжалось примерно месяц. И чем больше краснел Володенька, тем больше бледнела Любочка. Очень скоро Володенька стал моим любовником. Любушку жалели наши сердобольные дамы. Отпаивали валерианкой. Говорили – это временно. Меня дамы возненавидели. И всячески это демонстрировали.

Володенька краснел и в постели. А я закрывала глаза и представляла тебя, Теодор. И ничего у меня не получалось.

Кому же я мстила?..

Кузя таскал мне цветы и нашёптывал, что Володя элементарно глуп. Кузя вообще слишком любил слово «элементарно» и повторял его к месту и не к месту.

Муся рыдала прямо в отделе.

Кузя заменил Володеньку.

Твоя жена решила от меня избавиться. Она мне так и сказала:

– Ищи другую работу, грязная ты подстилка.

Я ответила:

– Поискала бы ты лучше слова помягче, Лидочка. Грубо ты как-то высказалась. А я таких вещей не прощаю.

Кузя был рядом со мной дольше Володеньки. Кузя продержался целый год. Потому что мне было всё равно. А ему понадобилось три с половиной сотни дней, чтобы разобраться, что я элементарно не с ним обнимаюсь, целуюсь и делю постель. Элементарно с кем-то другим. Но я не подарила ему возможность уйти первому. Сама прогнала. И тогда он элементарно влюбился. И снова стал таскать цветы. И смотрел влюблённо и даже покорно.

Женя, ты смотрел на меня иначе. С тобой получилось сложнее. Я поняла – ты цветы таскать не будешь. Ты не влюблён в меня. Ты меня любишь. И мне даже сделалось не по себе. Даже решила и в самом деле уйти с работы. Но не ушла.

Потому не ушла, что так и не смогла больше слушать Таривердиева. Мой путь – разрушение, повторяла я себе. И понесла себя по этому пути дальше.

А ты, Теодор, был всё время рядом. Нет, хуже – во мне самой. Ты мне так мешал, Теодор, так был неудобен. Ты был тяжёлой ношей, которую мне было суждено нести, словно крест. Я не могла от тебя избавиться, Теодор, как невозможно освободиться и от креста, который тащишь на себе всю жизнь. И я стала разрушать дальше.

Звук чужого страдания заглушал, перекрывал моё собственное?

Женька, Женька... Примерный семьянин... Три года брака с Лидой – медовый месяц без перерыва... Что ж ты потащился тогда за мной, когда мне так не хотелось возвращаться домой с работы? Что ж ты упал передо мной на колени? Что ж ты наделал?..

Что наделала я?..

Четыре с половиной года ты был моей тенью. Четыре с половиной года ты был моим почти мужем, почти другом, почти братом... Ты умел слушать. Мне необходимо было говорить о Теодоре. О его детстве и юности. О доме на Молдаванке. О творении чеканщика Вардана. Я могла говорить об этом без конца. Ты взял на себя роль вечного слушателя и страдальца. И ты же меня убеждал, что счастлив.

Ты был счастлив, Женя?..

Настолько счастлив, что проглотил однажды невероятное количество снотворного, и остался в живых лишь чудом? И сделал ты это только потому, что я сказала, что нам пора расстаться... Я ведь к

тому времени уже успела рассказать тебе о Теодоре всё. И помногу раз. До мельчайшей детали.

Ты был счастлив, Женька?..

В больницу к тебе вызвали психиатра, потому что все, совершающие суицидальную попытку, нуждаются в консультации специалиста именно этого профиля. Я сидела у твоей кровати, когда вошёл доктор. Мне хотелось ему сказать, что в помощи психиатра нуждается вовсе не вернувшийся с того света Евгений Степанович Авраменко. В помощи психиатра...

Нет... Я уже не нуждалась ни в чьей помощи. Мстительная эйфория, шесть лет продержавшая меня на этом свете, проходила. Всё уже проходило. Кроме Теодора. И мне стало страшно. Настолько страшно, что я тебе, Женька, пообещала, когда ты выписался из больницы:

– Не нужно больше так делать. Я не люблю тебя. Но буду с тобой.

Ты был счастлив, Женька?..

Ночь на исходе, мальчики. Закончился дождь. И ваш диалог – тоже. Он получился жалким. В нём было слишком много пауз. Таких вот воздушных ям. Ваш диалог состоял из дыр. Говорила в основном я. Но не это главное. Главное то, что ты, Теодор, сейчас поднимешься, плеснёшь воды на своё усталое от бессонной ночи лицо и скажешь Женьке:

– Поехали...

И вы едете на старушку Молдаванку, на Дальницкую улицу, в дом, который вот уже несколько десятилетий считается ветхим. Потому, наверное, и стоит себе до сих пор, целенький и невредимый.

Уже нет ни бабы Таси, ни твоей бабушки, Теодор. Нет и твоей мамы, давшей тебе жизнь и не очень благозвучное для одесского уха имя. Нет печи, в которой пеклись паски. По средам сюда не возят керосин. Вместо мусорной машины у входа во двор стоит контейнер для мусора. Всё остальное изменилось очень мало...

Осталось лишь подобие того, что когда-то было Жориным сараем...

– Это здесь, – говоришь ты, Теодор. И голос твой почему-то чуть-чуть подрагивает, совсем как я. Ты недовольно косишься в сторону флигеля, где прошли твоё детство и юность. – Ненавижу этот район и этот двор, и этот дом. Здесь никогда ничего не меняется. Всё стоит, как и сто лет тому назад... Без признаков элементарной цивилизации... – Потом, покосившись ещё раз на останки сарая добавляешь без паузы: – Сейчас, конечно же, соседи сбегутся смотреть, что мы здесь собираемся делать. Я не думаю, что нам позволят здесь копать...

– Шо собираемся копать, Теодор? – доносится до вас голос дяди Пети.

Дядя Петя – старожил. Он тебя помнит ещё маленьким. Дядя Петя не меняется. У него хорошая память. Он рано встаёт и все знает. Он рад возможности пообщаться с бывшим соседом. А ведь ты обрадовался встрече с ним, Теодор. Знаешь почему? Знаешь. Его сарай находится рядом с той полуразрушенной постройкой, ради которой вы припёрлись с Женей сюда.

Ты отводишь дядю Петю в сторону и волнуешься, что он не поймёт.

Он поймёт, Теодор. Потому что этого хочу я.

Потому что у меня мало времени.

Дядя Петя не подведёт.

Нет, твои сбивчивые объяснения до него, естественно, не дойдут. Ты ведь слишком торопишься, говоришь быстро и непонятно. Да и голос старой Таси тебе мерещится. И ты испугался этого её: «Закопали дивку. Закопали!..». Как в детстве испугался.

Дядя Петя же конкретен. Ему никакие голоса не мерещатся. Да и мало ли что твердила там когда-то эта старая ворона Таська. Дядя Петя соображает лишь одно – нужны две лопаты. Он неторопливо идёт за ключом от своего сарая. Он обстоятельно возится с замком, аккуратно пригибает голову у входа и с радостью выносит вам необходимый инструмент. Он это делает, Теодор. И ты удивляешься. Не надо, не соображай слишком долго. Это я так хочу, Теодор. Мне некогда.

Мусор над останками сарая Жоры Устимовича, словно надгробие...

Сарай мог не сохраниться. Его могли сравнять с землей. На его месте могли уже много раз что-то построить и перестроить.

Но так не случилось. Так не могло произойти. Потому что всё было предопределено. Не для того Вардан увековечил свою любимую. Не для того Жора погиб под Киевом. Не для того меня не стало однажды...

Разгребайте мусор, мальчики...

Копайте, мальчики, копайте...

Торопитесь... Так нужно... Пока я ещё не стала трухой...

...Тогда, в девяносто пятом... На катере... Погода была такая же. И время года – то же... Осень. Конец октября... Лиственная агония... Мне захотелось покататься на катере. Я уже знала? Какая разница – знала, не знала... Меня, по большому счёту, уже не существовало. Меня не существовало с того момента, когда я поднялась с пола на чужой квартире в чужой Одессе...

– Катера уже не ходят, наверное, – сказал ты, Женька, и прижался ко мне так сильно, словно понимал...

– Ходят, Теодор, – назвала я тебя не твоим именем, Женя.

И ты посмотрел на меня внимательно. И мы пошли к причалу. И подошёл старенький катер. И людей почти не было.

Мы стояли на корме. Женька, глупенький, ты боялся, что мне холодно...

Я попросила пива. Ты спустился в бар.

Помню пенный след от катера. Я смотрела на эту пену, как иногда смотрят на облака, принимающие самые причудливые формы. Причудливых форм не было. Были конкретные лица. Твоё, Теодор. И тех шестерых, в чью жизнь я вошла, чтобы разрушить. Чтобы крушить. Ломать. Доставлять страдания. Все вместе, все шестеро, они образовали круг. Лида и Женя. Володенька и Любушка. Кузя и Муся. В середине этого круга я увидела себя. Поняла – мне уже некуда деваться. Вне этого круга был ты, невредимый и спокойный. Ты даже не смотрел в мою сторону.

А круг сужался.

И мне вдруг стало хорошо. Словно нашёлся долгожданный и единственный выход... Из сужающегося круга.

Наверное, у меня ещё был и другой выход. Может быть, стоило упасть прямо на палубу и кататься по ней. И чтобы ногти – в кровь... И, кто знает, может быть, я поднялась бы другой. И всё ещё можно было бы исправить...

Но круг сужался. Глаза шестерых смотрели. Ждали.

«Разрушительница»...

Напоследок я увидела свои собственные глаза... Они были чёрными-чёрными... Страшными...

И я решилась...

Каких-то несколько секунд...

Так не всё ли равно чем я захлебнулась – собственной обидой, злостью на весь мир, страстью к тебе, Теодор, или горьковато-солёной пенящейся водой октябрьского холодного моря?

Моё тело не нашли...

Да, Женя, я лишила тебя возможности ухаживать за моей могилой...

Жора Устимович надеялся вернуться домой. Более того, он считал, что война продлится недолго. Многие так считали. И потому зарыл чеканку неглубоко. Завернув перед тем в плотную ткань.

Истлела ткань. И деревянная основа превратилась в ничто. Да и сама медная чеканка позеленела до уродства...

Ничего...

Вот она, сорок на двадцать пять...

И сквозь зелень...

– Это её глаза! – говоришь ты, Женька. – Это Валерия! Посмотрите, разве не похожа?!

И ты, Женька, начинаешь вытирать своё сокровище платком. Платка явно мало. Ты срываешь с себя куртку...

– Евгений, вы сошли с ума, – призываешь ты, Теодор. И достаёшь свой платок...

И вы уже возвращаетесь обратно, и ты, Женька, прижимаешь к себе нечто грязное, пролежавшее в земле более шестидесяти лет. И так ты счастлив, что даже мне, всего лишь кленовому листу, чуть завидно. Хотя так быть не должно. У отживающего своё листа не должно быть никаких эмоций. Скорее всего, я переживаю их за тебя, Теодор. А ты ведёшь машину и думаешь. И я знаю, о чём...

Снова кухня. Как будто и не уходили, правда, мальчишки?

Но как всё изменилось.

Ты счастлив, Женька?..

Что ж ты так улыбаешься?.. Чему же так рад?..

– Она такая грязная, – чуть брезгливо говорит Теодор.

– Я почищу! Я узнаю, чем надо, чтобы лучше было... Я к специалистам обращусь... Теодор, а вот глаза... Посмотрите, они чёрные... Всё зелёное, а глаза чёрные...

– Евгений, вы должны меня понять... Я, конечно, благодарен, что вы догадались, где находится чеканка... Но она издавна принадлежала нашей семье... Вы должны понять...

– Да, конечно. Конечно... Сколько вы хотите за неё? Я найду деньги... Я... Сколько вы хотите?

– Это очень старинная вещь... Она стоит дорого. Боюсь, что ваше материальное положение...

– У меня прекрасное материальное положение, – бессовестно врёт Женя. И спрашивает ещё раз: – Так сколько же?

– Тысяча долларов. Думаю, что она стоит дороже, но в знак того, что именно вы распутали эту загадку... Тысяча долларов.

– Конечно, – говорит Женя. – Я уезжаю. Я приеду завтра или послезавтра. Вы только её не продавайте. Я привезу вам деньги. Хорошо?

Ты киваешь, Теодор. Ты отлично знаешь, что никто больше, кроме этого романтического полунормального типа, не заплатил бы тебе за кусок позеленевшей меди и десятой доли названной тобой суммы.

Он привезёт тебе деньги уже завтра вечером. Он наодалживает требуемую сумму по частям. И в блокнотик запишет, сколько кому. Потому что трудно не запутаться в огромном количестве людей,



принявших посильное участие в выкупе позеленевшего куска меди с изображением девушки с чёрными глазами.

Он достанет деньги, он будет потом отдавать их. Тоже частями. Как сможет. Он сможет, Теодор. Он – сможет.

Женька, может быть ты и в самом деле счастлив?..

Вот, кажется, и всё...

Мне пора, мальчики...

Всё вышло хорошо, правда?

Каждый из вас получил, что хотел.

Мне хотелось поговорить с вами обоими. Разговор не состоялся. Люди не беседуют с листьями. Тем более – опавшими.

Но вот снова зазвучала музыка Таривердиева...

Соло... Без голоса... Под музыку Таривердиева...

«ОКОЁМ»

От редакции: в первом номере журнала «Южное Сияние» за 2011 год в рубрике «Окоём» мы публиковали произведения победителей Международного литературного конкурса «Согласование Вре́мён – 2010». Прошло два года, в жюри конкурса в течение этих лет работали члены ЮРСП, и теперь мы публикуем произведения авторов лонг-листа «Согласования Вре́мён – 2012», которые, по мнению редакции, являются наиболее интересными из представленных на конкурс.

ЕВГЕНИЯ КОСТЮКОВА

Ростов-на-Дону – Москва

МУЗЫКА

по прихоти мамы кроху назвали музыкой.
по прихоти господ она родилась немой.
в свидетельстве о рождении стоит – русская,
папа был немец, стыдился, скрывал, сколько мог.
девочка выросла в травах, в поверьях, в кружеве.
чаплина обожала, считала, что мир – кино.
внешне – углы да трапеции – неуклюжая,
только внутри клокотал кипятик из нот.

жил по соседству парнишка, слегка застенчивый.
тайком наблюдая, как бездонно она молчит,
как смешны рядом с нею кричащие женщины,
мечтал познакомиться и предложить свой щит.
слух потерял в двадцать шесть. утешало главное,
которого не лишиться – воздух-огонь-вода.
взяв руку музыки, выдохнул людовиг: славная,
я тебя слышал и слышу... всегда-всегда.

ГОЛОС

1

луна, худюшая корова,
уткнулась мордью в окно.
да, в этом мире всё не ново,
но вкуса-то не лишено.
мычание ещё не слово,
а боль (начало языка).
мычи созвучия, корова,
тучней нагуливай бока.

2

ветер шептал, напоследок сорвался на крик:
дерево, хватит балакать на птичьем наречье.
корни, побеги – вот сила, о них говори,
на языке своём вечном.



столько живительных соков поют под корой!
стройте, скитальцы, коня и корабль одиссея.
голос теряется, но возвращается вновь,
только намного сильнее.

МЕЛОДИИ СУДЬБЫ

«Ланмонголизм! Хоть имя дико...»
Вл. Соловьёв

хворь и киноварь – вольный октябрь.
машут книги ветвями-страницами,
где церковнославянская хмарь
пахнет страхами, шулыми лицами.

невесомая тяжесть снегов
для земли – только белое золото.
из «двенадцати» помню шесть слов
да немое дыхание холода.

парадигма больших перемен
рассыпается малыми бедами,
мельтешащая кровь мельпомен
истекает лазурными лентами.

в зазеркальной утробе воды
снова жизнь зарождается. Около
поры дышат, потопы чисты.
богу – богово, и...
блоку – блоково.

МАСТЕРУ

заговори со мной на идише,
хотя я не пойму ни слова,
мудрец – увиденный и видящий –
постигнувший первооснову.
меня приковывай звучанием.
на память – метка прометея.
с пузатым чайником-фырчальником
в подвале слаще и теплее.
но мошкару родного города
не трогай, ласточка, не трогай.
за шторами крутого норова
я шгопала одежды бога,
за неимением наследников.
прощай, империя истерик.
ладони листьями последними
ложатся на снега постели.

НАТАЛЬЯ РЕЗНИК

Ленинград – Боулдер, США

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Пишет красавица чудовищу письмо
Про хозяйство, детей, завтраки и обеды,
Мол, ты уж расколдуйся как-нибудь пока само,
В этот раз, к сожалению, не приеду.

Отвечает чудовище красавице,
 С трудом заставляя писать свою мохнатую руку:
 «Рад наконец от тебя избавиться,
 Видеть тебя не могу, проклятую суку!
 Не приезжай, ненавижу тебя всё равно
 За то что, устал столько лет без толку дожидаться,
 За то, что понял давным-давно,
 Что не в силах самостоятельно расколдоваться».

Пишет красавица чудовищу: «Не хочу тебя больше знать,
 Гад, мерзавец, подлец! (и всякие другие ругательства).
 Ты же обещал, что всю жизнь меня будешь ждать.
 Не ожидала от тебя подобного предательства.
 Будь ты проклят, неменяемый зверь.
 Ты же клялся, что будем непременно вместе.
 Ну, держись, завтра же приеду теперь,
 Выдерну остатки твоей свалявшейся шерсти».

Пишет чудовище: «Прости за звериную бесчеловечность,
 Я же чудовище, человечности не учился.
 У меня впереди в самом деле целая вечность,
 Не знаю, почему внезапно погорячился».

А жена чудовища говорит: «Опять пишешь своей одной?
 Хочешь со свету меня сжить, урод и скотина?»
 И чудовище плачет рядом со своей женой,
 А она чешет ему его горбатую спину.

А красавица читает ответ,
 Меняет дату на затёртом билете,
 Как обычно, встаёт чуть свет,
 Работает, готовит, улыбается детям.
 И сходит, сходит, сходит, сходит с ума
 До следующего письма.

ВЛАДИСЛАВ ДЕКАЛОВ

Волгоград

В.

Никогда не поймёшь, где счастье на самом деле:
 во дворце со стеклянными лилиями, в капели,
 на последнем трамвае, в Боге, в ангеле, в преисподней,
 в свободном падении или в падении от свободы.

Всё равно, знаешь, есть в тебе что-то кроме
 лица, осанки, походки, плоти, костей и крови.
 И счастье, когда чьё-то зеркало ловит этого «что-то» движения,
 не исказив отражений.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ

Этой зимой память опять берётся за старое.
 В комнату с проигрывателем, в город, который почти забыли,
 Гэри Ньюман снова ведёт свою верную армию
 по дорожкам, белым от звёздной пыли.



За окном опять синева – гулкая и глубокая.
 На окне – поцелуй и оставленная ресница.
 Кружат стрелки часов над затёртым томом Набокова,
 переворачивая страницы.

Но я снова не помню многое из того, что надо бы,
 что, как говорят, составляет суть нашей жизни, истину нашей боли.
 Волга впадает в Каспийское – помню. Люди были приматами.
 Остальное, увы, не помню.

Нет, слова, имена остались. Стали частью предметов мебели.
 Их, как пятна, уже не вывести, как нити – их не распутать.
 Но за ними есть что-то такое странное, страшное и нелепое,
 что постоянно напоминает: «Тебя не было, понимаешь? Не было,

ибо тебя никогда не будет».

НЕМО

Я боюсь искать кого-то другого. Ласку
 так легко потерять в прикосновениях щёк,
 когда чувствуешь на чужом лице не лицо, а маску.
 И ещё одну. И ещё.
 Ты – океан. Я так глубоко нырнул в тебя, что нет силы
 вернуться, поднять на солнце свой батискаф,
 чтобы выйти, искать следы, оставленные до прилива
 в горах водорослей и песка.

А если и выйду, то не найду. Забыв про жажду и голод,
 сяду и буду вслушиваться в дыхание волн,
 не понимать, что со мной: делириум, мания, кома, –
 хотеть услышать твой разговор

и повторять: «Знаешь, я не смогу найти никого другого,
 потому что больше нет никого.
 Я не смогу найти никого другого –
 больше нет никого...»

ДИПТИХ

1. ОРФЕЙ

Как всё перемешалось! Фразы, числа,
 фамилии, названия цветов...
 Я жить среди людей не научился,
 но уходить пока что не готов.

И словно кто-то сильною рукою,
 поднял меня за шиворот, и вот,
 как бабочка, я должен быть проколот,
 засушен и поставлен на комод.

Я рос, все схемы, планы перепутав,
 не ощущая кранов и стропил.
 И кажется, что я любил попутно,
 как будто бы и вовсе не любил.

2. ЭВРИДИКА

И только становилось тихо-тихо,
 а мир как будто таял в серебре,
 я вёл тебя за руку, Эвридика,
 сквозь сотни нарисованных дверей.

И никогда об этом не жалея,
Я всё смотрел украдкой назад
и видел только тёмные аллеи
в твоих непонимающих глазах.

Поэзия... Должно быть, ты — лишь память
о правилах неведомой игры,
где всё возможно выразить словами,
но тщетны все попытки говорить.

ПИСЬМА

1.

Звукозапись — величайшее изобретение среди мусора,
придуманного человеком со времён заката античной драмы.
Я люблю твою музыку, но только, когда эта музыка
не тянет на дно оркестровой ямы,

но делает мысли по-детски наивными, чистыми,
ведь не так уж важно, какой формы в небе облако серебрится,
не важно, ветер ли в нас кидается листьями,
или же с веток сами срываются листья.

Пусть всё это звучит странно, самонадеянно,
но каждым словом я вновь и вновь доказываю, что существую,
боясь потеряться между четырьмя с половиной стенами,
книжным шкафом, кроватью, столом и стулом.

2.

Да, скоро осень. Я помню, что мы расстанемся.
Пусть и не так, чтобы навсегда, но уже нестерпимы
аэропорты, дороги, железнодорожные станции,
четырёхкрылые серафимы.

Мы встретимся позже, быть может, чуть более взрослыми,
быть может, не здесь. Правда, разница будет в том, что
всё вокруг, обещаю, станет чуть более просто и,
обещаю, менее тошно.

У нас с тобой будет долгая и счастливая жизнь, дорогая.
Да, долгая и счастливая.
Когда-нибудь и у нас будет долгая и счастливая жизнь,
очень долгая, очень счастливая.

СВЕТЛАНА ЧЕРНЫШОВА

г. Большой Камень, Приморский край

КАМЫШИ

Саше Герасимовой

так по ком сохнет лето, и вязкий кипит рассвет?
забывания яд медлительней душной ночи...
у земной нерадивой няньки безглазы и тьма, и свет...
пожалей их, Отче.



вижу, как сочится солнце из дымных землистых пор
слышу, как стрекозам над мелкой речушкой тесно,
и блесит небес до скрипа выдраенный фарфор
родом из поднебесной.

в трещинах и сколах его — пусто... пустоши,
лишь на золочёной потёртой кромке
не дают уплыть заросли-камышы
души опустевшей джонке

какое счастье — эта жизнь одна
с бедой, виной, вином наполовину...
смотри, как месит голубую глину
небес
под утро пьяная луна.

и время с ней... прекрасная чета —
плохой гончар и никудышный лекарь...
смотри, течёт у бога из-под века
звёзд столько, что уже не сосчитать.

и не считай. загадывай на них
[и жизнь одну] — ошибки, прегрешенья,
всё, что осилишь... но не воскрешенье.
оно — для сумасшедших и святых.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОЧИВШЕГО НА ПАСХУ (1)

сегодня мне на рыбалке Ли-Хэн сказал —
пойманной рыбе никогда не смотри в глаза,
там, на дне вытекающего зрачка
можно увидеть тень огромного мотылька
мечется тень, на истомной реке дрожит
будит, волнует до срока чужую жизнь,
и просыпаются в многоводии той реки
под тростниковыми рёбрами — рыбаки,
просыпаются из реки — жабры полные крови, ила, песка,
у каждого ненависть вложена в ножны костистого плавника,
они заполняют землю, идут по земле — к плечу-плечо...
— Ли-Хэн, скажи, а при чём здесь рыба?
— наверное, ни при чём,
все мы, вышедшие из лона большой реки,
в муках, до срока рождённые рыбаки...

я запускаю по локоть руки в ведро,
вижу — течёт меж пальцев мёртвое серебро...

ЯН БРУШТЕЙН

Ленинград — Иваново

МЕСТО РЕЧИ

Место речи неизменно,
Вместо встречи — дым и тлен.
Только павший на колена
Не поднимется с колен.

Долгий голос из-под гнёта
 Просочится, как живой,
 И покажутся тенёта
 Синевой над головой.

Зуд подкожный, звон острожный,
 Судьбы читаны с листа.
 Место речи непреложно –
 Там, где божья пустота,

Там, где битая посуда
 Где виновен – хоть секи. . .
 Там, где рвутся из-под спуда,
 Как мычание, стихи.

ЭТИ ТРАВЫ И ЭТИ ДЕРЕВЬЯ

эти травы и эти деревья приходят ко мне из земли,
 из младенца зерна и давно постаревшего корня.
 что узнали они, выходя из подменного сонного в горний,
 что забыли они навсегда, что запомнить смогли?

я боюсь наступить неподсудным своим башмаком.
 стебли выгнуты луком, но неуловимы их стрелы.
 и рисуют они времена и зелёным и жёлтым на белом,
 и нескошенным телом слепой утверждают закон.

кто ещё в этом времени, мире по пояс навеки зарыт,
 кто закрыт на тюремный замок и не может укрыться. . .
 и стоят, и качаются, их растворяются лица.
 вот и эта страница сгорает на углях зари.

СЕДЬМАЯ ВОДА

От первой воды – ни беды, ни отгадки,
 И были бы взятки привычны и гладки
 У тихой рабочей пчелы.
 Вторая вода – забодай меня птица:
 Такая страница под утро приснится,
 Починище двуручной пилы.

Где травы напитаны кровью и солью,
 Там бешеный волк породнился с лисою,
 И эта вода не для вас.
 Вы третью просите – из ветки кленовой,
 Не новой, но всё же по масти бубновой,
 Готовой гореть напоказ.

В четвёртой и пятой – судак и плотица,
 Могли бы ловиться, коль не суетиться. . .
 Шестую не пьёт и зверьё.
 Шестая – она для тоски и позора,
 В ней вымыгты руки и ката, и вора,
 И ворон не помнит её.

Но если поднимутся страсти земные
 По сердце, по душу, по самую выю,
 И ты покоришься судьбе,
 Седьмая вода – из под корня и камня –
 Захватит, завертит, застынет и канет,
 И память сотрёт о тебе.



МУСЯ

маме

Из ада везли по хрустящему льду
Дрожащую девочку Мусю...
Я к этому берегу снова приду
Теряясь, и плача, и труся.

Полуторка тяжело ползла, как могла,
Набита людьми, как сельдями,
И девочка Муся почти умерла,
Укрыта ковром с лебедями.

А там, где мой город сроднился с бедой,
Где были прохожие редки,
Ещё не знакомый, такой молодой,
Отец выходил из разведки.

Над Ладогой небо пропахло войной,
Но враг, забывающий тонко,
Не мог ничегошеньки сделать с одной
Едва не погибшей девчонкой...

Встречали, и грели на том берегу,
И голод казался не страшен,
И Муся глотала – сказать не могу,
Какую чудесную кашу.

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ФУТУРИСТЫ В ОДЕССЕ

О футуристах в Одессе писали многие. Сергей Зенонович Лущик, Ольга Барковская, Алёна Яворская; разумеется, Евгений Михайлович Голубовский. Размышляя о том, что может быть в моей статье оригинального, я пришёл к выводу, что оригинальным будет наиболее полный обзор всех деталей, событий и обстоятельств «футуристической» жизни в нашем городе. В течении двадцати лет в Одессу приезжали, в Одессе жили художники, поэты и даже архитекторы, для которых футуризм был родной стихией и формой самовыражения.

Сразу хочу оговориться, что и в одесской, да и вообще в российской прессе в 1910-е годы футуристами часто называли всех представителей новых течений и направлений в искусстве – без разбору и оглядки на то, кубист он, имажинист, акмеист или фовист. Мы не будем уподобляться тогдашней критике и будем вести речь только о тех художниках и литераторах, которые в определённый период своей жизни и творчества действительно исповедовали футуристические идеи и эстетику. И тут нужно отметить ещё одну важную деталь.

Несмотря на кажущуюся близость русских и европейских футуристов, традиции и менталитет придавали каждому из национальных движений свои особенности. Одной из главных характеристик русского футуризма стало «всечество» – восприятие всевозможных стилей и направлений в искусстве.

Русский футуризм не стал целостной художественной системой. Этим термином обозначались самые разные тенденции русского авангарда – собственно, сам авангард и был системой. Футуризмом его назвали в России по аналогии с итальянским. В итоге футуризм оказался течением гораздо более разнородным, чем предшествующие ему символизм и акмеизм.

Прекрасно понимали это и сами футуристы. Один из участников группы «Мезонин поэзии», Сергей Третьяков писал: «В чрезвычайно трудное положение попадают все, желающие определить футуризм (в частности литературный) как школу, как литературное направление, связанное общностью приёмов обработки материала, общностью стиля. Им обычно приходится плутать беспомощно между непохожими группировками <...> и останавливаться в недоумении между “песенником-арханком” Хлебниковым, “трибуном-урбанистом” Маяковским, “эстет-агитатором” Бурлюком, “заумь-рычалой” Кручёных. А если сюда прибавить “спеца по комнатному воздухоплаванию на фоккере синтаксиса” Пастернака, то пейзаж будет полон. Еще больше недоумения внесут “отваливающиеся” от футуризма – Северянин, Шершеневич и иные... Все эти разнородные линии уживаются под общей кровлей футуризма, цепко держась друг за друга!»

Несмотря на это, со временем у критиков – да и, собственно, у самих художников и поэтов, – сложилось чёткое понимание того, кто футурист, а кого к ним причислили по ошибке. И по прошествии ста лет мы можем говорить об этом совершенно уверенно.

Родоначальниками русского футуризма общепризнанно считаются «будетляне» (термин, предложенный Велимиром Хлебниковым – русская интерпретация понятия «футуристы»), члены группы «Гилея» (Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Василий Каменский, Бенедикт Лившиц, Елена Гуро), в декабре 1912 года выпустившие манифест «Пощёчина общественному вкусу», в котором они призывали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности». «Гилейцы» были кубофутуристами (этот термин был публично озвучен в 1913 году Корнеем Чуковским). Вообще поэзия футуризма и живопись кубофутуризма тесно переплетены. В разные периоды своего творчества в стиле кубофутуризма работали художники Казимир Малевич, Давид и Владимир Бурлюк, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Любовь Попова, Александра Экстер и другие. Сборники группы «Гилея» иллюстрировали Давид и Владимир Бурлюки, Елена Гуро, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Казимир Малевич, Александра Экстер.

Кубофутуристы противопоставляли себя эгофутуристам во главе с поэтом Игорем Северянином. Кроме того, параллельно существовало несколько умеренных футуристических групп. Это были со-



зданная в 1913 году московскими футуристами группа «Мезонин поэзии» под началом Вадима Шершеневича и «Центрифуга» – московская литературная группа, возникшая также в 1913 году и просуществовавшая до конца 1917 года, основными участниками которой были Сергей Бобров, Борис Пастернак, Николай Асеев, Иван Аксёнов. Позже были созданы объединение «41°» и группа «Творчество». После Октябрьской революции бывшие футуристы составили ядро ЛЕФа (Левого фронта искусств), распавшегося к концу 1920-х. Как мы видим, русский футуризм разнообразен и разнороден.

И ещё одно небольшое уточнение. Я постарался выстроить историю футуризма и футуристов в Одессе в хронологическом порядке. Не всегда это получалось, поэтому в некоторых местах я буду забегать вперёд, а в некоторых – возвращаться назад.

Итак... Всё началось с **Давида Бурлюка**. «Отец русского футуризма» в первый раз приехал в наш город в 1900 году – учиться в художественном училище. Правда, самого футуризма как течения тогда ещё не существовало – официальной датой его возникновения считается 20 февраля 1909 года, когда на первой странице парижской «Фигаро» появился «Манифест футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти. Бурлюк проучился в Одессе всего один год, уехав потом в Казань, но через десять лет вернулся, чтобы закончить образование и получить диплом учителя рисования. Вернулся не один, а с братом Володей, поселившись в той же самой квартире на Преображенской, 9, наискосок от училища, где жил в первый приезд. Вот что пишет Давид Бурлюк в своих воспоминаниях: «1900-1 год в Одесском художественном училище я был переведен по рисованию в фигурный класс, а по живописи в головной. Встреча здесь с художником-учеником Исааком Бродским, с Тимофеем Колца, с Анисфельдом, с Мартышенко и Овсяным (умер вскоре в туманах Питера) соединила меня дружескими узами с Одессой. Мой колорит ознакомился с лиловатыми гаммами русского импрессиониста Костанди, и когда я в 1901-2 году опять появился в Казани, затосковав по своим казанским друзьям, то в бесконечном количестве привезённых опять на берега мной этюдов юга было гораздо больше мягкости и понимания тональности».

А вот ещё фрагмент из воспоминаний Бурлюка: «Отправился в Одессу. Я жил тогда в Одессе “пыльной”... Поселился в доме номер 9 по Преображенской улице как раз наискосок от школы. Позже через десять лет вернувшись в Одесское художественное училище, чтобы “получить диплом”, опять пришёл в этот же старый дом, поднялся на тот же этаж в ту же квартиру: и поселился “чтобы вполне себя чувствовать учеником, в той же комнате: “под крышей”, с окнами бойницами, где по потолку Воронцовский маяк проводил полосы своих огней. Пол в комнате был наискось, упавшая гантель, с которой гимнастировали, катилась с грохотом до наружной стены».

Одесса – морской порт: весь город устремляется улицами к Эвксинскому порту. Там я научился любить море».

Однако в течение девяти лет, которые прошли между двумя периодами учёбы Давида Давидовича в Одессе, и он сам, и брат Володя неоднократно приезжали в наш город. В 1905 году Володя познакомился и сдружился с Владимиром Барановым-Россине, которого Бурлюки приглашали к себе на пленэр в Козырщину Екатеринославской губернии летом 1906 года.

В октябре-ноябре 1906 года в Городском музее изящных искусств состоялась XVII периодическая выставка Товарищества Южнорусских художников, на которой были представлены в числе прочих работы трёх Бурлюков – Давида, Владимира и Людмилы. Через год там же открылась следующая, XVIII выставка, на которой, как писал в рецензии Михаил Соломонов, «модернистам отведён отдельный зал». В числе модернистов были Давид и Людмила Бурлюк, Вольф Баранов (Владимир Баранов-Россине).

Чуть раньше, в 1904-1905-м, Бурлюки сдружились с **Алексеем Кручёных**, автором знаменитого «Дыр бул шьль», который в 1902-1906 годах также учился в Одесском художественном училище и жил одно время на Малой Арнаутской, 55.

В Одесском областном архиве, среди личных дел учеников Одесского художественного училища, есть и дело Алексея Елисеевича Кручёных (Ф. 368, ед. хр. 594). «Сын крестьянина, православного вероисповедания, родившийся 9 февраля 1886 г. 16 августа 1902 г. допущен к экзамену и принят во II кл. 1902/1903 г.» – указано в нём. 7 февраля 1903 года он был переведен в III класс, 13 ноября того же года – в IV класс, а 12 февраля 1904 года – в V класс. Все эти данные – об учёбе по специальности, то есть на живописном отделении.

С 1902 года успешно окончившие ОХУ ученики начали получать дипломы на звания учителей чистописания, рисования и черчения с правом преподавания в средних учебных заведениях. Дипломы зависели от отделений, законченных учениками – живописного, скульптурного или архитектурного. В 1903/1904 учебном году училище состояло из 5 художественных и 7 научных классов – ещё с 1877 года в программу были включены общеобразовательные предметы. Вот с общеобразовательными предметами Кручёных «задержался» – его в 1904-1906 годах увлекла революционная деятельность, что совершенно определённо видно из выписок. К маю 1903 года он был принят в III класс по аттестату Херсонского городского трёхклассного училища с дополнительным экзаменом по французскому языку, который он сдал в августе на 3 с плюсом. В 1903/4 годах у него 27 пропущенных по неуважительным причинам уроков, отличное поведение и много хороших отметок, он переведён в IV класс без экзамена. А вот в 1904/5 учебном году будущий автор «зауми» пропустил уже 65 уроков – да и отметки значительно хуже, разве что по геометрии одни пятёрки. В конце концов все трудности были пре-

одолены, и Алексей Кручёных окончил ОХУ и получил 24 июня 1906 года аттестат под номером 162.

Первое стихотворение Кручёных появилось в газете «Херсонский вестник» в начале 1910 года, а до того он был художником, участвовал в выставках «Импрессионисты» (Санкт-Петербург) и «Венок» (Херсон), выступал как художник в печати и опубликовал несколько работ по вопросам живописи. Алексей Елисеевич воплотил в жизнь призыв ещё одного великого футуриста Велимира Хлебникова: «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью».

Именно сочетание живописи и литературы станет знаковым для футуризма. И Давид Бурлюк, и Владимир Маяковский, и Алексей Кручёных, начав свой творческий путь как художники, позже обратились к литературе.

В 1907 году Давид Бурлюк знакомится с Михаилом Ларионовым. 24 декабря 1907 года Бурлюк вместе с Ларионовым и Георгием Якуловым создают группу «Стефанос» (в переводе с греческого «Венок») и 27 декабря открывают групповую выставку в залах нового здания Строгановского училища на Рождественке, в Москве. В выставке, кроме Давида, участвуют и Владимир, и Людмила Бурлюки.

Родившийся в Тирасполе Михаил Ларионов регулярно проводил летние месяцы периода 1900 – начала 1910-х годов не только в родном городе, но и в Одессе. Сохранились его воспоминания об Одессе – очаровательные лирические отрывки, в которых он не устаёт восхищаться нашим городом, цветами его домов, неба, деревьев, винограда, фруктов – сразу понятно, что заметки писал художник. «Ах Одесса я тебя никогда не устану описывать – Фруктовые лавочки с янтарным и рубиновым виноградом и дынями блестящими на солнце как полная луна точно вычищенными кремом для жёлтых ботинок». Или вот ещё: «Утро в Одессе это Бог знает как прекрасно». В записках этих много, очень много эротики: «Вечернее небо как уснувшая женщина с бледно-голубой кожей на груди, которой едва выделяясь дышит, вместе с ней дорогое бриллиантовое ожерелье – Ожерелье это звёзды – Одна из этих звёзд так ярко и нежно горит как уста влюблённой, разгорячённые страстными поцелуями...»

Можно предположить, что Бурлюк и Ларионов, помимо Чернянки – «родового гнезда» Бурлюков, – встречались и в Одессе, где оба в первое десятилетие двадцатого века часто бывали. В любом случае тесное общение и дружба, перемежающаяся с ревностью, дали свои плоды – и не только совместное участие в выставках. В 1912 году Михаил Ларионов начинает иллюстрировать книги поэтов-футуристов, членов объединения «Гилея» – в первую очередь Алексея Кручёных и Велимира Хлебникова. И тут самое время рассказать об одесских эпизодах самого, пожалуй, талантливого поэта-футуриста – Велимира Хлебникова.

«Председатель земного шара» **Велимир (Виктор) Хлебников** в Одессе не учился, но бывал неоднократно. В первую очередь это связано с тем, что в нашем городе некоторое время жили родственники Хлебникова – тут учился его брат Александр и жили двоюродные брат и сестра Коля и Маруся Рябчевские – вместе с матерью, Варварой Николаевной Рябчевской, урождённой Вербицкой – она была родной сестрой матери Велимира Хлебникова. Более того, вся семья Хлебниковых чуть было не переехала жить в Одессу. Но обо всём по порядку.

Весной 1908 года жившая в Казани семья Хлебниковых принимает решение покинуть Казань – из писем главы семейства Владимира Алексеевича видно, что летом 1908-го он начинает хлопотать об отставке, с тем чтобы всей семьёй переселиться или в Майкоп, или в Туапсе, или в Одессу – всё равно куда. Сам Велимир весной 1908 года подает прошение о переводе его на пятый семестр естественного отделения Санкт-Петербургского университета – к тому времени в Казани он имел четыре зачётных семестра. Брат Александр подает прошение о переходе в Одесский университет. На лето Екатерина Николаевна с Виктором, Верой и Александром уезжают в Судак. В сентябре 1908 года, когда дачный сезон заканчивается, Хлебников уезжает в Петербург. Одновременно с этим Александр переезжает в Одессу, а родители и сёстры собираются в Харькове.

В конце ноября Хлебников сообщил отцу: «Ради «воссоединения церквей» я готов переселиться к вам в Одессу, закончив свои литературные дела». Но в Одессу Хлебников не поехал. В конце декабря он уезжает в Москву, а оттуда в Киев. В Киеве в художественном училище занималась Вера Хлебникова, а в пригороде Киева, Святошине, жила семья Варвары Николаевны Рябчевской (урождённой Вербицкой). С её детьми – Марусей и Колей – у Хлебникова сложились очень близкие, дружеские отношения, совсем не такие, как с питерскими родственниками. Николаю Рябчевскому, талантливому скрипачу и композитору, посвящено эссе 1912-1913 годов «Коля был красивый мальчик...». В этом эссе есть замечательные строки об Одессе:

«В Одессе, а это было в Одессе, многие переселялись на берег моря в легкомысленных клетушках, воздвигая их вдоль тропинок, угощая в праздник<и> т<олпу> дорогим чаем и дешёвыми песенками. В этой полурыбацкой жизни находили прелесть. Дети неловкой пухлой рукой подымают запутавшуюся в водорослях удочку. Другие, устав от уроков, видят ось жизни в ловле мелких рачков, толпами скользящих в воде. Волны – чувственный р<ой> от купа<льщиков>, в зелёном саду бродят еврейки и бросают жгучие и томные взгляды своего племени. Чёрные зрачки и белые белки их глаз удивительны, и они справедливо гордятся ими».

В Марию Николаевну Рябчевскую Хлебников был тогда влюблён и даже посвящал ей стихи – известно «Армянское послание Марии Рябчевской».

В феврале 1910 года Хлебников познакомился с братьями Бурлюками – их познакомил Михаил



Матюшин. Это знакомство, переросшее в дружбу, даст свои огромные плоды. Вот что писал Хлебников о своих друзьях-футуристах:

«Существуют ли правила дружбы? Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк, может быть, не были друзьями в нежном смысле, но судьба сплела из этих имен один веник.

И что же? Маяковский родился через 365х11 после Бурлюка, считая високосные дни, между мной и Бурлюком 1206 дней, между мной и Каменским 571 день. 284х2 = 568.

Между Бурлюком и Каменским 638 дней.

Между мной и Маяковским 2809 дней...»

Со времени знакомства с Бурлюками Хлебников – частый гость Чернянки, имения графа Мордвинова, которым управлял отец большого семейства Бурлюков Давид Фёдорович. Уже летом того же 1910 года Хлебников с братьями Бурлюками уезжает на Украину. Чернянка становится своеобразной штаб-квартирой русского футуризма. Древнее название этой местности, которое встречается у Геродота, – Гилея – становится ещё одним названием группы. Многие сборники футуристов, и в том числе Хлебникова, вышли в издательстве «Гилея». Для друзей-футуристов или, если угодно, будетлян это было местом, где всё ещё ощущалась связь с античной культурой.

Этим же летом 1910-го в Чернянке жил и работал Михаил Ларионов. Оттуда Хлебников уехал в гости к Рябчевским, в Одессу. Вот что писал Давид Бурлюк в июле 1910 года в письме к М.В.Матюшину: «Работаем мы это лето и много, и мало. Всё лето почти у нас писал М.Ф. Ларионов. Был Хлебников, сейчас он уехал – Одесса-Люстдорф, дача Вудст'а». По воспоминаниям Марии Николаевны Рябчевской (см. статью Александра Парниса «В Одессе, а это было в Одессе...» в 1-м номере альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»), в этом году они жили в доме № 13 по улице Белинского и на даче Вирта в Люстдорфе.

В сентябре того же года брат Александр перевёлся на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета и из Одессы, разумеется, уехал.

В начале лета 1912 года Хлебников последний раз в Одессе – он недолго гостит у Рябчевских на Базарной, 10, проведя перед этим несколько месяцев в Чернянке и куда вновь возвращается из Одессы.

А тем временем в нашем городе уже произошёл ряд событий, оказавших существенное влияние на развитие русского футуризма. Во-первых, в наш город вернулся Давид Бурлюк – причём не сам, а с братом Владимиром. Во-вторых, скульптор Владимир Издебский провёл два своих знаменитых «Салона». Итак, обо всём по порядку.

Осенью 1910 года Давид Бурлюк вновь поступает в Одесское художественное училище. Позади – годы учёбы в Казанском художественном училище (1899-1900, 1901-1902 гг.); неудачная попытка поступления в Академию Художеств в Санкт-Петербурге в 1902 году – тогда в Академию поступила старшая из сестёр Людмила, а Давид «провалился» на рисунке натурщика – ему досталось место в конце зала, откуда он почти ничего не видел единственным «рабочим» глазом; затем была учёба в Мюнхене и Париже, куда он позвал с собой и Владимира. Именно с Владимиром он приезжает учиться в Одессу. У каждого из братьев были свои веские причины: Владимиру нужно было спастись от неизбежной солдатчины, а Давид хотел получить диплом, дающий право преподавания в средних учебных заведениях. Такие дипломы ОХУ начало выдавать только в 1902 году, то есть уже после первого «захода» Давида Бурлюка на учёбу в Одессу.

Давид Давидович понимал, что, не имея законченного художественного образования, он не будет иметь профессионального статуса и ему будет трудно зарабатывать деньги на жизнь. Доходы от продажи картин были скромными. Он твёрдо решает завершить свое художественное образование. «... Зиму 1910-11 я и Володя учились в Одессе, где я получил диплом окончания «Одесского художественного училища» с правом быть учителем искусств в средних учебных заведениях. В России – без диплома – заработок денег был невыносим» – эти его слова опубликованы в 55-м номере журнала «Color & Rhyme».

А перед этим у Бурлюков было насыщенное лето 1910 года, когда в Чернянке гостили Михаил Ларионов и Велимир Хлебников. Вот что пишет в июле 1910 года Бурлюк в письме к М.В.Матюшину, которое я уже цитировал ранее: «... Очень было бы хорошо, если бы Вы приехали в первых числах Августа, ибо Вове предстоит, кажется числа 25 Августа, уехать куда-нибудь в школу, спастись от неминуемой сей год солдатчины, а может и числа 15-17 Августа. Пропал он бедняга – ему ведь рядовым». Этим «куда-нибудь» и стала Одесса, а затем Пензенское художественное училище. В сборнике «Лестница моих лет», выпущенном Давидом Бурлюком в 1924 году в Нью-Йорке к 25-летию его художественно-литературной деятельности, он ещё раз упоминает об Одессе:

«В 1909 году поступил вновь и в одну зиму окончил Одесское Художественное Училище. Здесь: архитектор Трегубов (ныне в Пенсильвании). В 1910 году вступил по конкурсу в училище живописи В. и З. в Москве». Об этом же пишет Бурлюк в письме от 14 августа 1964 года к известному одесскому краеведу Александру Розенбойму: «Одесса мне была близка с 1900 года, когда я учился в худ. училище Преображенская 25 и жил в доме № 9. Снова зиму 1910-11 провёл там и в одну зиму получил диплом худ. училища – чтобы осенью поступить по конкурсу в Моск. Акад. и встретиться там Вл.Вл.Маяковскому. <...> В те же годы в Одессе Нилус, худ. Кузнецов, худ. Костанди».

В марте 1909 года в Одессе Давид Бурлюк знакомится и сближается с Василием Васильевичем Кандинским. Их знакомит в процессе подготовки к первому «Салону» Владимир Издебский. Знаком-

ство состоялось в присутствии художницы Александры Экстер, с которой Д. Бурлюк был знаком с 1908 года. Там же присутствовал поэт Николай Гумилёв, задержавшийся в Одессе по пути в Абиссинию.

Две ключевых фамилии – Издебский и Экстер. Об Александре Александровне я расскажу немного позже, а сейчас самое время рассказать о «Салонах».

«Салоны» Владимира Издебского давно стали легендарными. И это заслуженно – именно благодаря «Салонам» российская публика смогла познакомиться с произведениями ведущих французских художников, а вместе с ними – и с работами своих соотечественников, находящихся в авангарде художественного поиска и экспериментов. Хотя Владимир Издебский всегда старался сбалансировать представляемых на «Салонах» авторов – наряду с «леваками» Давидом и Владимиром Бурлюками, Ильёй Машковым, Аристархом Лентуловым, Александрой Экстер, Алексеем Явленским были представлены работы художников, входивших в привычные и признанные «Мир искусства», «Союз русских художников», Товарищество Южнорусских художников, – именно работы «леваков» вызвали наибольшее внимание и даже скандалы. «Незнакомец» (Б.Д.Флит) в статье «Наброски на лету» (Одесские новости, 5.12.1909) писал: «В “Салоне” три разряда: Правые, средние и левые картины... Правыми публика льбуется, средними восхищается, левых – не понимает».

Первый «Салон» (04.12.1909 – 24.01.1910) открылся в бывшем помещении Литературно-артистического общества – дворце князя Гагарина и проработал в Одессе до 24 января 1910 года, вызвав значительный интерес как публики, так и критики и переехав затем в Киев, Петербург и Ригу. Давид Бурлюк был представлен на первом «Салоне» 8-ю работами, Владимир представил три работы, обозначенные как «витражи». Кроме того, на «Салоне» экспонировались семь работ – в основном этюды, – мамы многочисленного семейства Бурлюков – Людмилы Иосифовны, которая выставлялась под девичьей фамилией Михневич. Семейные узы были у Бурлюков необычайно крепкими – сыновья старались представить на выставках работы матери при малейшей возможности.

Владимиру Издебскому удалось отобрать для экспозиции работы самых передовых европейских художников – среди них были Эмиль Бернар, Пьер Боннар, Жорж Брак, Феликс Валлоттон, Морис Вламинк, Эдуар Вьюяр, Альбер Глез, Морис Дени, Кис Ван Донген, Мари Лорансен, Анри Манген, Альбер Марке, Анри Матисс, Жан Метценже, Одилон Редон, Жорж Руо, Анри Руссо, Поль Синьяк, Анри Ле Фоконье и Отон Фриез...

Работы представленных на «Салоне» французских художников произвели большое впечатление на Давида Бурлюка. Он пишет Николаю Кульбину в Петербург (6 декабря 1909): «Выставка очень интересна – так много милых французов – прекрасный Ван Донген, Брак, Руссо, Вламинк, Манген, и мн. др. <...> Приехали в деревню поработать до января – ужасно хочется (после французов)».

Что касается русских художников, то они были подобраны во многом самим Бурлюком. Г. Издебская-Причард пишет о том, как Владимир Издебский выбирал авторов для выставки: «В Париже ему помогал Мерсеро, в Мюнхене – Кандинский, в Москве и Петербурге – Давид Бурлюк, Ларионов и Камышников».

Работы футуристов были представлены в «левом» крыле первого «Салона Издебского» – именно они привлекли к себе наибольшее внимание публики и прессы. Помимо Давида и Владимира Бурлюков, свои работы представили будущие «Бубновалетцы» Аристарх Лентулов, Илья Машков, Александра Экстер, а также входивший в круг «будетлян» Михаил Матюшин. К сожалению, работы Михаила Ларионова появились только в киевской экспозиции «Салона» и далее были представлены в Санкт-Петербурге и Риге.

Удивительно, что, несмотря на критику «левого» искусства, переполнявшую одесские газеты во время работы «Салонов», именно эти работы продавались активнее всего – в первую очередь работы Давида и Владимира Бурлюков. К сожалению, дальнейшая судьба этих работ неизвестна.

Второй «Салон», прошедший в Одессе с 6 февраля по 3 апреля 1911 года по адресу: улица Херсонская, 11, стал бенефисом русских «левых». Так как нас интересуют футуристы, я перечислю только их работы. Наталья Гончарова представила 24 работы, Михаил Ларионов – 22. Кроме четырёх Ларионов-Гончарова, во втором «Салоне» зрители могли увидеть большое количество работ и других футуристов. Разумеется, это были Давид и Владимир Бурлюки, Николай Кульбин, Владимир Татлин, «Бубновалетчики» Пётр Кончаловский (15 работ), Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Илья Машков (17 работ) и Роберт Фальк. Группа более чем представительная.

Давид Бурлюк представил 26 работ. Семья Бурлюков была представлена на втором «Салоне» практически полностью – из рисующих отсутствовали только работы Людмилы. Владимир Бурлюк представил 12 работ, Людмила Иосифовна представила пять работ; кроме того, в отделе детских рисунков (замечательная инициатива Издебского) среди прочих были представлены работы двенадцатилетней Надежды Бурлюк.

Работы «левых» на втором «Салоне» вызвали скандальную реакцию в среде местной публики. Это была уже не просто критика – произведения Гончаровой, Ларионова, Кончаловского, Владимира Бурлюка и Кандинского были попорчены чернильными карандашами. «В течение последних дней на выставке попорчены – перечёркнуты чернильным карандашом, продраны и т.п. – около десяти картин и скульптур. Доходит даже до того, что гипсовые бюсты испещряются заборными надписями», – писали «Одесские новости» 4 марта 1911 года.

Наибольший поток критики и вообще внимания привлекли работы **Владимира Бурлюка**. Имен-



но его портреты Владимира Издебского, Михаила Ларионова и Аристарха Лентулова наделали столько шума, что были даже отображены в шаржах различных авторов. Возмущённые критики соревновались в негативных эпитетах. Например, вот что писал Альцест в своей статье «В “Салоне” В.А. Издебского» («Одесское обозрение», 16.02.1911г.):

«Но, всё-таки, как далеко ни шагнул в “новаторстве” г. Д.Бурлюк, брату его удалось уйти ещё дальше. Молодой художник успел окончательно перешагнуть за черту, отделяющую наши художественные и эстетические принципы и восприятия от вкусов и прихотей дикаря или душевнобольного. Таковы его знаменитые в своём роде портреты Вл. Издебского (№47), художников Ларионова (№38), Лентулова (№48) и автопортрет (№40). Не менее оригинален художник и в качестве пейзажиста. В этом жанре наиболее любопытными являются две его вещи: “Весенний пейзаж” (№41) и “Цветущая сирень” (№42). Если эта живопись не продиктована только соображениями чисто рекламного характера, то, несомненно, с ней ведаться необходимо не художественной критике, а врачебно-медицинской экспертизе».

Тем не менее работы Бурлюков и вообще «левых» были одними из самых продаваемых на втором «Салоне». 26 февраля 1911 года «Одесские новости» писали: «Несмотря на явное недружелюбие, питаемое большой публикой к новому искусству, картины левых художников, выставленные в “Салоне”, очень бойко продаются. Любопытно, что наибольшее количество продаж досталось на долю едва ли не самого умопомрачительного из декадентов – Д.Д. Бурлюка: до сих пор разными лицами приобретено девять его полотен» (как видим, тут Бурлюка называют декадентом). Продан был даже вызвавший столько шума портрет Владимира Издебского работы Владимира Бурлюка. Вообще успех второго «Салона» превзошёл все ожидания – выставку посетило более 3 тысяч человек. «Распроданы почти все картины Давида Бурлюка» – писал «Одесский листок» 11 марта 1911 года.

Давид Бурлюк и Пётр Пильский принимали также участие в организованном Владимиром Издебским публичном диспуте «Новое искусство, его проблемы, душа, техника и будущее». Диспут состоялся в зале «Унион» на Троицкой, 43.

Александра Александровна Экстер представила на втором «Салоне» шесть своих работ. С Одесской её связывает не только участие в выставках, но и пусть небольшой, но значимый период в её жизни – значимый потому, что в те революционные годы, когда она приехала в наш город, время ощущалось по-иному.

Будущий член объединений «Бубновый валет» и «Союз молодёжи», Александра Экстер познакомилась с Давидом Бурлюком в начале января 1908 года в Москве, на выставке «Стефанос (Венок)», и уже в ноябре того же года в Киеве, на Крещатике, 58 состоялась выставка «Звено», в которой принимали участие Давид, Владимир и Людмила Бурлюк, Аристарх Лентулов, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова и другие. В Одессу Александра Александровна переехала в феврале 1919 года из раздираемого сменами власти Киева.

Интересно, что после взятия Киева 5 февраля 1919 года Красной Армией именно левых художников (И. Рабиновича, К. Редько, С. Никритина и других) власть привлекла к оформлению города сначала в День Красной Армии, а затем и к Первомайскому празднику. То же самое случилось и в Одессе – после взятия Одессы большевиками в апреле 1919-го (уже 23 августа Одесса была взята Добровольческой армией Деникина) часть левых художников оформила город к Первомайскому празднику. Бригада в составе Амшея Нюренберга, Сигизмунда Олесевича, Сандро Фазини, Теофила Фраермана и приехавшей из Киева Александры Экстер делала эскизы, по которым в мастерских художественного училища изготавливались портреты, панно и плакаты, развешанные потом по всей Одессе. В газете «Известия» Одесского исполкома третьего мая была опубликована благодарность художникам за удачное оформление города, причём Александре Экстер была объявлена отдельная благодарность. Амшей Нюренберг вспоминал, что «около плакатов собирались толпы одесситов, оживлённо обсуждая наше искусство». Тем удивительней фрагмент из записок отца футуризма Филиппо Томмазо Маринетти, в которых он, ссылаясь на очевидцев, пишет, что в Одессе солдаты топтали ногами сделанные Александрой Экстер плакаты. Маринетти увидел в русской революции наступление варварства, царство «естественного человека», уход в прошлое, а не полёт в будущее, о котором он мечтал.

8 июня 1919 года в здании городского музея открылась «1-я народная выставка картин, плакатов, вывесок и детского творчества», на которой в числе прочих были представлены работы тех же Олесевича, Фраермана, Фазини, Нюренберга и Александры Экстер.

В октябре Александра Экстер открыла мастерскую-студию по адресу: улица Херсонская, 17, кв. 2. В студии велись занятия по живописи, в том числе театрально-декоративной. В студии преподавали приглашённые Александрой Александровной Филипп Гозиасон и Вениамин Бабаджан. 23 октября она прочла в литературно-художественном обществе лекцию «Художник в театре». Кроме преподавательской работы, Александра Экстер создала костюмы для танцовщицы Эльзы Крюгер, в которых та танцевала на ряде вечеров в декабре 1919 года.

Александра Экстер вернулась из Одессы в Киев в апреле 1920 года и в августе уехала в Москву.

Однако я забегал далеко вперёд. Самое время вернуться в начало 1910-х.

Именно Александра Экстер познакомила с «отцом русского футуризма» Давидом Бурлюком ещё одного футуриста – одессита **Бенедикта Лившица**, хотя такое определение будет для него слишком узким. Поэт, блестящий переводчик – создатель уникальной антологии новой французской по-

эзии, летописец зарождения русского футуризма... Бенедикт Константинович Лившиц родился в Одессе в 1887 году, окончил Ришельевскую гимназию и юридический факультет Киевского университета и уже в 1909 году публикует свои стихотворения в журнале Н. Гумилёва «Остров», а в следующем году – в петербургском журнале «Аполлон». Зимой 1911 года Александра Экстер познакомила Лившица с Давидом Бурлюком. Вот как описывает это сам Лившиц в своём легендарном «Полугораглазом стрелце»:

«Однажды вечером, когда я уже собирался лечь в постель, ко мне в дверь неожиданно постучалась Александра Экстер. Она была не одна. Вслед за нею в комнату ввалился высокого роста плотный мужчина в широком, по тогдашней моде, драповом, с длинным ворсом, пальто. На вид вошедшему было лет тридцать, но чрезмерная мешковатость фигуры и какая-то, казалось, нарочитая неуклюжесть движений сбивали всякое представление о возрасте. Протянув мне непропорционально малую руку со слишком короткими пальцами, он назвал себя:

– Давид Бурлюк.

Приведя его ко мне, Экстер выполняла не только моё давнишнее желание, но и своё: сблизить меня с группой её соратников, занимавших вместе с нею крайний левый фланг в уже трёхлетней борьбе против академического канона. В 1908 году, когда Бурлюки впервые появились со своей выставкой в Киеве, я ещё не был знаком с Экстер и мало интересовался современной живописью. Только в следующем году, начав бывать у Александры Александровны, я у неё в квартире увидел десятка два картин, оставшихся от “Звена” и поразивших мой, в то время ещё неуклюжий, глаз. <...> Выставка Издебского сыграла решающую роль в переломе моих художественных вкусов и воззрений; она не только научила меня видеть живопись – всякую, в том числе и классическую, которую до того я, подобно подавляющему большинству, воспринимал поверхностно, “по-куковски” – но и подвела меня к живописи, так сказать, «изнутри», со стороны задач, предлежащих современному художнику.

<...> Давид Бурлюк был мне знаком не по одним его картинам. В 1910 году в Петербурге вышла небольшая книжка стихов и прозы, первый “Садок Судей”. В этом сборнике рядом с хлебниковскими “Зверинцем”, “Маркизой Дезэс” и “Журавлём”, с первыми стихотворениями Каменского, были помещены девятнадцать “опусов” Давида Бурлюка.

Их тяжеловесный архаизм, самая незавершённость их формы нравились мне своей противоположностью всему, что я делал, всему моему облику поэта, ученика Корбьера и Рембо. Я помнил эти стихи наизусть и с живейшим любопытством всматривался в их автора.

Он сидел, не снимая пальто, похожий на груды толстого ворсистого драпа, наваленного приказчиком на прилавок. Держа у переносицы старинный, с круглыми стёклами, лорнет – маршала Даву, как он с лёгкой усмешкой пояснил мне, – Бурлюк обвёл взором стены и остановился на картине Экстер. Это было незаконченная темпера, *interieur*, писанный в ранней импрессионистской манере, от которой художница давно уже отошла. По лёгкому румянцу смущения и беглой тени недовольства, промелькнувшим на её лице, я мог убедиться, в какой мере Экстер, ежегодно живавшая в Париже месяцами, насквозь “француженка” в своём искусстве, считает за мнением этого провинциального вахлака.

Она нервно закурила папиросу и, не видя поблизости пепельницы, продолжала держать обгорелую спичку в руке. Бурлюк, уже успевший разглядеть в моей комнате всё до мелочей, заметил под кроватью приготовленный на ночь сосуд и носком, как ни в чём не бывало, деловито пододвинул его к Александре Александровне. Это сразу внесло непринужденность в наши с ним отношения, установив известную давность и короткость знакомства.

Я жадно расспрашивал “садкосудейца” о Хлебникове. Пусть бесконечно далеко было творчество Хлебникова от всего, что предносилось тогда моему сознанию как неизбежные пути развития русской поэзии; пусть его “Зверинец” и “Журавль” представлялись мне чистым эпигонством, последними всплесками символической школы, – для меня он уже был автором “Смехачей”, появившихся незадолго перед этим в кульбинской “Студии Импрессионистов”, и, значит, самым верным союзником в намечавшейся – пока ещё только в моем воображении – борьбе.

– У него глаза как тёрнеровский пейзаж, – сказал мне Бурлюк, и это всё, чем он нашёл возможным характеризовать наружность Велимира Хлебникова. – Он гостил у меня в Чернянке, и я забрал у него все его рукописи: они бережно хранятся там, в Таврической губернии... Всё, что удалось напечатать в “Садке” и “Студии”, – ничтожнейшая часть бесценного поэтического клада... И отнюдь не самая лучшая.

<...> он (*Бурлюк – прим. автора*) – это была его постоянная манера, нечто вроде тика, – не раскрывая рта, облизывал зубы с наружной стороны, как будто освобождая их от застрявших остатков пищи, и это придавало его бургистскому, лоснящемуся лицу самодовольно животное и плотоядное выражение.

Тем более странно и неожиданно прозвучали его слова:

– Деточка, едем со мной в Чернянку!

Мне шёл двадцать пятый год, и так уже лет пятнадцать не называли меня даже родители. В устах же звероподобного мужчины это уменьшительное “деточка” мне показалось слуховой галлюцинацией. Но нет: он повторяет свою просьбу в чудовищно несообразной с моим возрастом, с нашими отношениями форме. Он переламывает эти отношения рокотом нежной мольбы, он с профессиональной уверенностью заклинателя змей вырывает у наших отношений жало ядовитой вежливости



и, защищённый всё той же нежностью, непререкаемо-ласково навязывает мне своё метафизическое отцовство — неизвестно откуда взявшееся старшинство.

— Едем, деточка, в Чернянку. Там все... все хлебниковские рукописи... Вы должны поехать вместе со мной... завтра же... Если вы откажетесь, это будет мне нож в сердце... Я с этим и пришёл к вам...

Экстер, на глазах которого происходит это необычайное зарождение необычайной дружбы, присоединяется к его настояниям:

— Это необходимо и для вас, Бен.

Почему необходимо для меня? Почему мой отказ будет ударом ножа в бурлюковское сердце? Почему я должен ехать немедленно? Над всем этим мне не дают подумать. Мои государственные экзамены, мой очередной роман, — всё это отодвигается на задний план, отбрасывается в сторону натиском человека, которого я впервые увидел час тому назад.

Я прошу у читателя прощения за столь длинную цитату — но кто, как не Бенедикт Лившиц, сможет погрузить нас в то время — и погрузить так достоверно, что, кажется, мы сами находимся в той самой комнате с ним, Бурлюком и Экстер...

Эта встреча действительно изменила жизнь Бенедикта Лившица — он стал одним из участников группы «Гилея», стихи Бенедикта Лившица вошли в сборники «Пощёчина общественному вкусу», «Садок судей П», «Дохлая луна», «Молоко кобылиц», «Рыкающий Парнас». Собственно, само название «Гилея» было предложено именно Лившицем.

Тем временем в нашем городе начала оформляться группа молодых художников, которые считали традиции Южнорусской школы, а уж тем более передвижников, устаревшими и сковывающими развитие нового искусства. Одесские независимые — так они назовут себя немного позже. Теофил Фраерман, Амшей Нюренберг, Сандро Фазини, Сигизмунд Олесевич, Исаак Малик, Михаил Гершенфельд, Филипп Гозиасон, Георгий Бострем, Виктор Мидлер, Иосиф Константиновский, Израиль Мексин, Полина Мамичева — их имена сейчас вновь воскрешены из многолетнего забвения благодаря выставке работ из коллекции Якова Перемена, состоявшейся в 2002 году в Музее русского искусства имени Цетлиных в Рамат-Гане, в Израиле, и благодаря последовавшей за этим продажей части коллекции на аукционе «Sotheby's» в Нью-Йорке. В 2012 году вышла в свет замечательная монография Ольги Михайловны Барковской «Общество Независимых художников в Одессе».

Представители «независимых» принимают участие в выставках ТЮРХ, обоих «Салонах», а в апреле-мае 1913 года на Дерибасовской, 21 состоялась 2-я весенняя выставка картин «объединённых», в которой в числе прочих приняли участие Исаак Малик и Амшей Нюренберг. Вот что писал о выставке Пётр Нилус («Одесский листок», 5 мая 1913 года): «Есть на выставке вещи, отсталые от общего движения лет на 20-30, есть и модернисты, однако тоже отстающие лет на пять, так как на выставке нет ни кубистов, ни футуристов — этой моды наших дней». И действительно, среди одесских «независимых» художников в футуристической манере работали некоторое время только **Сандро Фазини** и **Сигизмунд Олесевич**. Ярче всего это проявилось у Фазини в его работах, послуживших иллюстрациями к сборникам одесских поэтов «Авто в облаках», «Седьмое покрывало», «Чудо в пустыне».

Но об этом чуть позже. А пока наступает 1914 год — год расцвета футуристического движения в Одессе. Правда, расцвет этот вызван в первую очередь «гастролёрами», выступавшими в нашем городе — кубофутуристами и эгофутуристами. Поехавшие совместно на гастроли Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Игорь Северянин и принимавший их в Крыму Вадим Баян после выступлений в Севастополе и Керчи рассорились и в Одессу приехали уже по отдельности. Как пишет Андрей Крусанов в своём замечательном многотомнике «Русский авангард», Северянин приревновал к успеху Маяковского у публики и понял, что пёстрая компания Бурлюк-Маяковский затмевает его на сцене.

Итак, 16 и 19 января в Русском театре состоялись вечера футуристов. Но перед этим — небольшая предыстория.

После окончания Одесского художественного училища Давид Бурлюк поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где знакомится и завязывает дружеские отношения с **Владимиром Маяковским**. Начавший писать стихи во многом благодаря влиянию Бурлюка Маяковский очень быстро «расправляет плечи». Например, Игорь Северянин, с которым Бурлюк и Маяковский будут участвовать в «Первой Олимпиаде футуризма», писал в начале декабря 1913 г. поэту Вадиму Баяну (В.И.Сидоров): «Я на днях познакомился с поэтом Влад. Влад. Маяковским, и он — гений». В декабре 1913 года Давид Бурлюк, Василий Каменский и Владимир Маяковский начинают «гастроли кубофутуристов». После выступлений в Харькове, Симферополе, Севастополе и в Керчи (в Крыму вместе в ними выступали также Игорь Северянин и Вадим Баян) троица кубофутуристов приезжает в Одессу, где к ним присоединяется критик Пётр Пильский. Благодаря стараниям **Василия Каменского** вечера футуристов в Одессе рекламировались уже с 11 января 1914 года. Основной «приманкой» для зрителей, жаждавших скандала и раскупивших все билеты, была раскрашенная в футуристическом стиле кассирша. Вот что писал «Одесский листок» 16 января 1914 года: «Уже давно вестибюль Русского театра не видал такого оживления, какое там царит со дня приезда футуристов. Здесь можно встретить представителей всех слоёв общества: тут и прикащик, офицер, и чиновник, особенно мелькают студенческие фуражки. За кассой сидит футуристическая дама с позолоченным носом и губами. Щёки разрисованы какими-то каббалистическими фигурами. <...> И любят — но как-то по особенному — самым бесцеремонным образом подходят к кассе, заглядыва-

вают в лицо и отпускают самые рискованные остроты. Кассирша сидит с каким-то видом, как будто это её совсем не касается».

Собственно, эти четыре дня – с 11 по 15 января, – именно безымянная кассирша, в единственном лице олицетворявшая собой футуризм и футуристов, была основным объектом не всегда корректного внимания одесской публики и прессы. Некто Н.Бр. в заметке «Футуристы», опубликованной 15.01.1914 г. в газете «Южная мысль», писал: «На лбу, над переносицей у неё нарисован голубой треугольничек, а на щеках нарисованы два квадрата, синий и красный, у футуристки нос и губы вымазаны сусальным золотом. В остальном футуристка мало чем отличается от прочих смертных: волосы острижены а la мужик, та же кофточка и юбка, что и у всех вообще одесситок. <...> Из беседы с нею выясняется, что первая футуристка, которую увидела Одесса, сама не пишет стихов и не рисует, а является лишь “сочувствующей”. Разрисовала она себя из тех же побуждений, из которых рядятся наши дамы. Только находит, что футуристическая разрисовка гораздо красивее и ближе подходит к цели. <...> Да и теперь, перед окошечком кассы, еле удерживаются от смеха, напускающие на себя серьёзность мужчины, а дамы откровенно смеются и отпускают весьма недвусмысленные замечания. Однако продажа билетов идёт очень бойко».

15 января в Одессу приехали Каменский, Маяковский и Бурлюк, и всё внимание переключилось на них. «Появление их на улицах города вызвало всеобщее отвращение, хотя толпы зевак и ходили за ними по пятам», – писал некто Гр. Ф. в статье «Футуристы в Одессе», опубликованной 16.01.1914 г. в газете «Вечерняя южная мысль». Оставим отвращение на совести Гр.Ф., но то, что футуристы вызвали всеобщий интерес, неоспоримо. Известна история, что, когда наши герои зашли в один из одесских ресторанов, чтобы скрыться от внимания толпы, уже через несколько минут все столики в ресторане были заняты, после чего хозяин отказался брать с футуристов деньги за заказанное ими пиво.

В общем, на первом вечере 16 января 1914 года Русский театр был полон. «Вчера вся Одесса обчаялась, обужиналась, окалошилась, онубилась, обиноклилась и врусскотеатрилась. Сбор был шалыпинский», – писал *Незн.* в заметке «На футуристах» (Одесские новости, 17.01.1914 г.). Выступали по очереди: Пётр Пильский со вступительным словом о футуризме и футуристах; Василий Каменский – с отповедью критикам футуризма и рассказом о достижениях футуристов в творчестве; Давид Бурлюк с лекцией о кубизме и футуризме, ретроспективной истории искусства от барбизонцев до новейших групп и течений в русском искусстве, и в конце – Владимир Маяковский с рассказом о достижениях футуризма. После этого Каменский, Бурлюк и Маяковский читали свои стихи.

Публика ждала скандала, однако скандала не было. «Городовые вынуждены были довольствоваться лишь зрительными и звуковыми впечатлениями», «Это был вечер клоунады и добродушного настроения», «А между тем ждали скандала. И публика разошлась с нескрываемой миной разочарования», – писали одесские газеты.

Особо репортёры отметили выполненный Владимиром Бурлюком кубистический портрет Петра Пильского – как раньше на втором «Салоне» портрет Владимира Издебского. Вот что писал Лери в заметке «Звуки дня. Футуристы» («Одесский листок», 17.01.1914 г.):

«Особенный успех сам собою выпал на долю произведения самого лектора (Давида Бурлюка – прим. авт.) и его не менее одарённого брата. Очень понравился портрет г. Пильского кисти Владимира Бурлюка. Писанный по-футуристски. Не кистью, брандспойтом. И изображавший не Пильского, а пирамиды под снегом. Очень удачный портрет».

Некто А. в статье «У “смеяльных смехачей”» («Одесские новости», 17.01.1914 г.) написал: «Гомерический хохот вызвало демонстрирование на экране кучи треугольников, долженствовавших изобразить «портрет Петра Пильского». – Узнаю дорогие черты, – шутит за кулисами артистка Кузнецова. И закулисная публика заливается от хохота. . .».

Второе выступление кубофутуристов, также состоявшееся в Русском театре 19 января, вызвало куда меньший интерес, да и публики на нём, судя по отзыву Старого в газете «Вечерняя южная мысль», было значительно меньше.

Собственно, от уничтожительной одесской критики немногим отличались репортёры и в других городах турне – Кишинёве, Николаеве, Киеве, Минске, Казани, Пензе, Саратове, Ростове-на-Дону и других городах. Где-то футуристов ругали, где-то над ними смеялись, и очень редко об их выступлениях писали сдержанно или с симпатией. Тем не менее залы почти везде были полными, футуристов хотели видеть в других местах – так, например, одесские гастроли ещё не закончились, а из соседних с Одессой городов посыпались телеграммы с просьбой приехать «полным ансамблем».

С пребыванием Маяковского и Бурлюка в Одессе связан один из интереснейших романтических эпизодов в жизни Маяковского – его увлечение Марией Денисовой, вылившееся в известные теперь уже всем строки «Это было, было в Одессе. . .» поэмы «Облако в штанах». И вот тут интересное свидетельство Давида Бурлюка из его письма к Александру Розенбойму, которое я уже цитировал выше:

«В 1913г. в Одессе выступления с Пётром Пильским и Володя имел свой роман с Марией – младшая-бедная сестра Катерины, жены румынского помещика. Я её (Катерину) знал в Харькове – они были богатые люди и художник Митрофан Семёнович Фёдоров писал её портреты. Мария и Катя приезжали в Москву в 1915 год апрель. Я их тогда не видел, так как у нас родился 11 апреля младший сын Никифор Давидович. Фамилию Марии и Кати её старшей сестры – я записал в своём манускрипте «Романы Маяковского».



Имя **Петра Пильского** неоднократно упоминается в связи с гастролями кубофутуристов. Пришла пора рассказать о нём — о том самом Пильском, о котором Валентин Катаев писал так: «Этот Пётр Пильский, развязный и ловкий одесский фельетонист и законодатель литературных вкусов... Вздёргивал своё лошадиное лицо, интеллигентно взнуданное чёрной уздечкой пенсне... Цинично пьяный, произносил вступительное слово о нашем творчестве...».

Так Катаев вспоминал Пильского в своём очерке «Встреча — Эдуард Багрицкий», опубликованном в 1936 году в альманахе под редакцией В. Нарбута. А вот как Валентин Петрович много лет спустя описывает Пильского в своей легендарной книге «Алмазный мой венец», в том эпизоде, где он пишет о Семёне Кессельмане:

«Он (*Кессельман — прим. автора*) был поэт старшего поколения, и мы, молодые, познакомились с ним в тот жаркий летний день в полутёмном зале литературного клуба, в просторечии «литературки», куда Пётр Пильский, известный критик, пригласил через газету всех начинающих поэтов, с тем чтобы, выбрав из них лучших, потом возить их напоказ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать стихи в летних театрах. <...> Пётр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых вечерах молодых поэтов, на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно перевирая наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циническими глазами криво сидело пенсне со шнурком и треснувшим стеклом».

И действительно, летом того же 1914 года Пётр Мосевич Пильский создал в Одессе «Кружок молодых поэтов», и на организованных им вечерах выступали Эдуард Багрицкий и Александр Биск, Валентин Катаев и Семён Кессельман, Анатолий Фиолетов и Георгий Цагарели. По сути, Пильский стал одним из «крёстных отцов» одесской литературной школы.

Называя Петра Пильского «одесским фельетонистом», Катаев несколько грешит против истины — Пильский был вездесущ. Вот что сам он пишет о себе в очерке «Моё знакомство с автором "Растратчиков"», опубликованном в восьмом номере рижской газеты «Сегодня»: «Тогда бес молодой непосредливости носил меня по России, перекидывая из Петербурга в Москву, из Москвы в Киев, зашвыривал в Харьков, потом в Одессу, крутил по Бессарабии, снова засаживал в Одессу». Автором повести «Растратчики» был, кстати, никто иной, как Валентин Катаев. Такое вот литературное «алаверды».

С 1926 до самой смерти в 1940-м году Пётр Мосевич Пильский жил в Латвии, в Риге. Ну а мы вернёмся в Одессу 1914 года. Тогда помимо вступительного слова на выступлениях футуристов Пильский опубликовал в «Одесских новостях» письмо в редакцию под названием «Футурист ли я?», которое начиналось словами «Они победят», а заканчивалось словами «Победа будет одержана!»

А для нас интересны ещё два факта. В ходе работы Первого «Салона Издебского» в Салоне прошёл ряд публичных лекций и концертов. Помимо самого Издебского и Михаила Гершенфельда, с двумя лекциями: «Куприн, его жизнь и творчество» и «Красота и её Парисы» выступил... Пётр Пильский. С Куприным его связывала многолетняя дружба. А ещё Пётр Пильский является автором замечательного фельетона об Одессе, вошедшего в сборник «Лики городов» и опубликованного впервые 1 июня 1911 года в журнале «Пробуждение» — одного из обязательных к прочтению очерков о нашем городе, стоящего в ряду с описаниями Одессы, принадлежавшими перу Марка Твена и Аркадия Аверченко.

Широко разрекламированные гастроли футуристов не могли остаться без реакции одесситов. Уже 16 января в Театре миниатюр М. Линского показали пародию на их выступление, а 20 января ещё одна пародия под названием «Футуристы-смехачи. Бум! Шум! Рыв! Тю!..» была показана в малом театре «Мозаика». В этот же вечер Давид Бурлюк выступил в Литературно-артистическом клубе.

В январе 1914-го в Москву приехал лидер итальянских футуристов Филиппо Маринетти. Русские футуристы, за исключением группы Вадима Шершеневича, фактически объявили ему бойкот, не являясь на его выступления и даже организовав специальный вечер «Наш ответ Маринетти». Визита Маринетти ждали и в Одессе — статья «О Маринетти» была опубликована в «Одесском обозрении театров». Маринетти в Одессу не приехал, зато приехали эгофутуристы во главе с **Игорем Северяниным** — почти сразу после отъезда кубофутуристов, с которыми они поссорились в Крыму. 7 февраля в клубе «Унион» состоялся «Поэзоконцерт» эгофутуристов. Вот какое объявление появилось 7 февраля в газете «Одесские новости»: «Эгофутуристы в Одессе! В пятницу, 7 февраля в "Унионе" Поэзоконцерт Игоря Северянина при лучезарном участии лиропоэта Вадима Баяна, первой артистки-футуристки Эсклармонды Орлеанской и директора петербургского издательства "Очарованный странник" Виктора Ховина, выступающ. с докладом на тему «Распад декаданса и возникновение футуризма».

Выступление эгофутуристов прошло гораздо спокойнее и вызвало в целом положительную реакцию одесской критики.

23 марта в Городском музее изящных искусств на Софиевской открылась «Весенняя выставка картин». Эта поистине легендарная выставка была последней предвоенной международной акцией такого масштаба — в ней приняла участие художники объединения «Бубновый валет» и ряд других художников — среди них работавший к тому моменту в Париже Александр Альтман. Одним из организаторов «Весенней выставки» был Михаил Гершенфельд, впоследствии лидер Общества независимых художников, инициатор создания в Одессе Союза деятелей пластических искусств, соорганизатор «Свободной академии

изящных искусств». Из футуристов в «Весенней выставке» принимали участие «бубновалетцы» Пётр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Илья Машков, Роберт Фальк, Александр Куприн.

И ещё одно важное, знаковое для Одессы событие произошло весной того же 1914 года. В начале марта вышел первый сборник молодых одесских поэтов «Шёлковые фонари». Предоставлю слово С.З. Лушки: «Литературная школа, зародившаяся в Одессе в середине 1910-х годов и прозванная южно-русской <...> начиналась со стихотворчества, хотя позднее большинство её представителей прославилось преимущественно прозаическими достижениями. Среди первых заметных симптомов новой школы – пять поэтических альманахов, изданных последовательно в течение 1914-1917 годов, объединённых рядом сходных признаков в некую единую серию». Речь идёт о сборниках «Шёлковые фонари» (1914), «Серебряные трубы» (1915), «Авто в облаках» (1915), «Седьмое покрывало» (1916) и «Чудо в пустыне» (1917). В прессе были анонсированы ещё два сборника: «Смутная алчба» (1915-1916) и «Аметистовые зори» (1916-1917), но они так и не увидели свет. Я хочу перечислить имена авторов-одесситов (в том числе живших в то время в Одессе), чьи стихотворения были опубликованы в этих сборниках: это Семён Кесельман, Исидор Бобович, Георгий Цагарели, Яков Гольденберг, Илья Дальгонин, Леопольд Канель, Эдуард Багрицкий (в том числе под псевдонимом Нина Воскресенская), Яков Галицкий, Пётр Сторицын, Анатолий Фиолетов, Александр Горностаев. В качестве «звёзд» в сборники были приглашены настоящие футуристы из «столиц» – в сборниках «Авто в облаках», «Седьмое покрывало» и «Чудо в пустыне» были опубликованы стихотворения Сергея Третьякова и Вадима Шершеневича, кроме того, в альманахе «Чудо в пустыне» опубликовано стихотворение Владимира Маяковского.

Сразу оговорюсь, что собственно футуристического в альманахах было немного – одесские поэты не шагнули дальше акмеизма, хотя критики отмечали в стихах Георгия Цагарели влияние Игоря Северянина. Несмотря на это, критика смело называла их футуристами. Например, после выхода сборника «Авто в облаках» в «Южном вестнике» появилась рецензия Б. Искрова с говорящим названием «Бурлочата в облаках». И даже московская газета «Утро России» вышла в октябре 1915-го с откликом на тот же сборник, в котором говорится: «... нам казалось, что футуризм устарел. <...> Но футуристические сборники не перестают выходить; правда, их теперь больше выходит в Одессе, чем в Москве <...> Пожелаем только молодым поэтам побольше самостоятельности. Долой этих “академиков”, Игоря Северянина и Маяковского!»

Пожалуй, самую обстоятельную и взвешенную рецензию о творчестве одесских авторов сборников (она была опубликована в «Одесском листке») написал тогда ещё молодой, но уже популярный в Одессе лектор и критик Марк Слоним. Вот что он пишет: «И критика – местная и иногородняя – и публика встретили, в общем, предыдущие сборники недружелюбно <...> молодых одесских поэтов почему-то причислили к футуристам <...> Это, конечно, явная ошибка. Я не нахожу ничего футуристического ни у Багрицкого, ни у Фиолетова, ни у Сторицына <...> пишут они стихи так же, как и десятки других средних поэтов <...> Бессильные сказать новое слово и неспособные даже на поэтическую дерзость, одесские поэты на ампулу “дерзающих” вынуждены пригласить московских поэтов: Третьякова и Шершеневича».

Действительно, именно появление в альманахах приглашённых «звёзд» несколько развернуло ориентацию сборников в сторону футуризма – причём, как считает Сергей Зенонович Лушник, произошло это под влиянием Петра Сторицына (Когана), профинансировавшего издание четырёх сборников, начиная с «Серебряных труб», который «включал в альманахи “Авто в облаках” и “Седьмое покрывало” тексты столичных футуристов Третьякова и Шершеневича, вопреки вкусам Цагарели и других одесских поэтов, как бы разворачивая сборники в сторону футуризма».

Вот что было в сборниках по-настоящему футуристическим – так это иллюстрации **Сандро Фазини**. Начиная со сборника «Авто в облаках», брат Ильи Ильфа и оформлял обложки, и делал иллюстрации. Хотя, скорее, давал для иллюстраций имеющиеся рисунки – их тематика никак не связана со стихотворениями. Пожалуй, наиболее авангардными являются обложка и иллюстрация к сборнику «Авто в облаках», выполненные в кубистическом стиле. Среди иллюстраций – шикарный портрет певицы Изы Кремер. Интересно, что в январе 1916-го в журнале «Театр и кино» был опубликован портрет Петра Сторицына – тоже кубистический, анонсированный как иллюстрация к планируемому сборнику «Смутная алчба», который, как я уже писал, так и не увидел свет; точнее, такой сборник вышел в Одессе почти через сто лет, но уже с совершенно иным содержанием.

Многочисленные портреты некой Жаннеты, ставшие иллюстрациями к сборнику «Седьмое покрывало», футуристическими никак не назовёшь, а в последнем сборнике, «Чудо в пустыне», Фазини выполнил только обложку.

Сандро Фазини считался в Одессе новатором, в газетных рецензиях его называли «кубистом» – как и его друга Сигизмунда Олесевиича. Помимо упомянутых выше сборников, он иллюстрировал юмористический журнал «Крокодил» (1911-1912), журналы «Театр и кино», «Бомба», «Фигаро», «Яблочко» и, конечно же, участвовал в выставках «Общества независимых художников» в 1917-1919 годах.

В самый разгар революционных событий, в ноябре-декабре 1917 года в Городском музее изящных искусств городе состоялась «Выставка картин Общества независимых художников». Критика отметила работы Фазини, Олесевиича и Израиля Мексина как «кубистические». А 25 декабря того же года «Одесский листок» написал, что «местные художники гг. Олесевиич и Фазини получили из Москвы предло-



жение устроить в Гор.Музее выставку картин “Бубнового валета”. Эту чрезвычайно интересную выставку вряд ли удастся увидеть одесской публике ввиду того, что гг. О. и Ф. боятся за судьбу произведений о-ва “Бубновый валет” в дороге, как в Одессу, так и из Одессы».

Фазини и Олесевич дружили. Волею судьбы оба они вскорости – в начале 20-х, – окажутся в Париже. А в Одессе они – вместе с художником Владимиром Предаевичем – называют себя «ПОФ», участвуя в таком составе весной 1918 года в юмористической газете «Яблочко», где редакция в первом номере шутливо называет их поэтами и беллетристами, а Эдуарда Багрицкого, Юрия Олешу, Анатолия Фиолетова и Валентина Катаева – художниками. И действительно, в первом номере «Яблочка» напечатаны эссе «Патологический пейзаж» Олесевича и стихи Фазини. На выставке «независимых» 1917 года Сандро Фазини представляет в числе прочих работ портрет «Олесевич в «High-life»», а Олесевич – портрет «Фазини (утроенный объем)».

В мае 1918 «Театром «Интермедии» приглашён в качестве декоратора художник Предаевич. Росписи поручены С. Олесевичу и С. Фазини. Немного позже они вместе с другими художниками, среди которых В.Н. Мюллер, расписали интерьер ночного кабаре «Весёлая канарейка».

После прихода в Одессу большевиков Сандро Фазини участвовал в украшении города к празднику Первомая, а в 1920 году работал художником в «ЮГОСТА» под руководством Б. Ефимова. Валентин Катаев в повести «Грава забвения» вспоминал работу Фазини: «... громадный щит-плакат под Матисса работы художника Фазини – два революционных матроса в брюках клёш с маузерами на боку на фоне темно-синего моря с утюгами броненосцев».

Одесситы всё же увидят работы нескольких членов объединения «Бубновый валет» – это произойдёт через два года, в декабре 1919-го, на последней выставке Общества независимых, когда в экспозицию были включены работы из собрания А.К. Драгоева. По сути, эти картины принадлежали Евгении Ивановне Богдан и предназначались для художественного музея её имени в Кишинёве. Из работ футуристов были представлены работы Натальи Гончаровой – этюды росписи церкви в Купурештах (Бессарабия), «Бегонии» Петра Кончаловского и «Nature Morte» Ильи Машкова.

Два последних всплеска творчества футуристов в нашем городе приходится на 1923-1924 годы (Юголеф) и 1925-1927 годы (украинские футуристы).

К этому времени из города уехали почти все ставшие именитыми литераторы и художники. Вот что писал Александр Де Рибас: «Художественная жизнь в Одессе за последнее время глубоко замерла. Она замерла не только потому, что умер Костанди или умер Дворников, или что иные художники уехали за границу, а другие – покинули нас ради Москвы и Петрограда <...> Искусство в Одессе замерло потому, что оказалось в стороне от новой жизни в России» («О художественной жизни в Одессе»// Силуэты. – О., 1922-23, № 2).

Первый всплеск «левого» искусства в Одессе связан в первую очередь с «ЛЕФом» – литературно-художественным объединением, костяк которого состоял в основном из футуристов (Николай Асеев, Василий Каменский, Сергей Третьяков и другие) и которое возглавил Владимир Маяковский. В декабре 1923 года в Одессе открылся «Синтетический театр» ЛЕФа, который просуществовал до марта 1924 года. Вот как описывает Семён Кирсанов – без сомнения, самый активный участник возникшего уже весной того же года «Юголефа», – одесскую литературную жизнь того времени: «В Одессе существуют кружки: “Потоки”. Это пролет[арские] поэты и писатели – порядочная пакошь <...> 2) Студенч[еский] кружок поэтов (я председ[атель]) в котором есть группа футуристов и имажинистов. 3) Одесская ассоциация футуристов (ОАФ) <...> ОАФ работал с мая до середины июля и возобновил свою деятельность через месяц».

20-24 февраля 1924 года в нашем городе выступает Владимир Маяковский. «Рад ехать в Одессу» – пишет он Лиле Брик 14 февраля. Тогда же состоялась его встреча с **Семёном Кирсановым**. Как писал Евгений Евтушенко, «В 1924 году Маяковский встретил в Одессе 18-летнего юного поэта – сына портного, и взял его под свое крыло, печатая в ЛЕФе, приглашая в совместные поездки. Если говорить о поэзии весовыми категориями бокса, то Маяковский был тяжеловесом, а Кирсанов был в весе “пера”, но блистательным мастером формы».

Во многом под влиянием Маяковского весной 1924-го в Одессе возникает «Юголеф» – слившийся воедино группировки поэтов-единомышленников. Возглавляет «Юголеф» приехавший в апреле в Одессу «старый коммунар, израненный вояка Октября» **Леонид Недоля-Гончаренко**. 23 мая 1924 года состоялось объединённое совещание одесских групп левого фронта искусств Юголефа, одесского отделения «Березиль» и коммункульта. «Известия» от 25 мая писали: «Был установлен полный контакт, выработана единая тактика».

Думаю, лучше всего для описания тех и предшествующих им событий и, конечно же, своей биографии дать слово самому Семёну Кирсанову. Вот что пишет он в статье «Черноморские футуристы»:

«<...> Следующее, уже сознательно футуристическое стихотворение я написал в 1920 году, когда Одессу окончательно заняли красные. Одесса в те времена была очень литературным городом. “Южно-русское товарищество писателей” – реакционнейшая организация, созданная Буниным, Юшкевичем и др., и богемный “Коллектив поэтов”. Кроме них – кафе поэтов “Хлам”, “Пэон Четвёртый”, “Меблированный остров” и несколько мелких кружков вроде “Зелёной лампы” и пр. Писателей насчитывалось штук 500.

Всё левое выражалось поэтом Алексеем Чичериным, который жил литературными вечерами, на

которых читал стихи Маяковского. Строчки из “Человека” – “Ну, как Владим Владимыч, нравится бездна?” он видоизменил на: “Ну, как Алексей Николаевич, нравится бездна?”, что вводило наивную публику в заблуждение.

Тринадцатилетний, я пришел в “Коллектив поэтов”, ошарашил заумью и через короткое время нашел соратников. Большая часть левых работала в Югросге. Весь юг обслуживался ими. Нынешние московские писатели, Ю. Олеша, Вал. Катаев и др., забросив наслажденческую поэтическую работу, выполняли тысячи плакатов и агитстихов. <...> Наиболее левые соорганизовались в группу, имевшую своей целью травлю старья.

Первомайские празднества в 1921 году обслуживались левыми, объединившимися в “Коллективе”. Тогда в первый раз я выступал с автомобиля перед одесскими рабочими с чтением стихов Маяковского, Асеева, Каменского, Третьякова и Кирсанова.

Засим большинство разъехалось, я остался единицей. Мне приходилось представлять все левое в Одессе. Трудности колоссальные. С одной стороны Русское товарищество писателей, с другой – мама и папа не признавали футуризм. Тем не менее люди были найдены, и в 1922 г. была организована, по примеру “МАФ” – Одесская ассоциация футуристов – “ОАФ”. Нас было мало, и вся работа была лабораторной. Было несколько публичных выступлений.

Через год я случайно узнал, что существует помимо нас еще одна левая группировка. Обе группы были слиты – и возник “Одесский Леф”. Политпросвет предоставил разрушенный дом, и мы, человек 50 футуристов-поэтов, актеров, художников и джаз-бандитов, – собственными руками отстроили его, постлали крышу и открыли театр. Одновременно шло завоевание прессы. Напечатали воззвание “За театральный Октябрь” и статью “Что такое Леф?”

Открытие футуристического театра и напечатание статьи вызвали дискуссию и невероятную шумиху. Появились какие-то лекторы, улицы зацвели афишами диспутов. Неизвестные лекторы собирали на доклады о Лефе массу народу и бессовестно искажали наши задачи. Один лектор договорился до того, что заявил дословно:

– Леф уносит нас в прекрасную златоветную сказку чаруйного небытия.

Мы, лефовцы, крыли их почём зря, разоблачали и уничтожали. Впервые приехал в Одессу Маяковский, уяснивший нам настоящие задачи левого фронта. Но потом нас тоже уничтожили. Театр был передан коллективу “Массодрам” (нечто вроде московского Камерного), и все разбрелось.

Опять я остался в единственном числе. Тем временем “Южное товарищество” продолжало цвести, родилась новая группа quasi-пролетписателей “Весенние потоки”, после переименовавшая себя в “Потоки Октября”. Одно название свидетельствует о бездарности и безвкусице этих писателей. Нужно было бороться, а людей не было.

Приехал из Москвы Л. Недоля. Он, я и ещё несколько товарищей сделали Юголеф.

Сначала это был просто литкружок. Мы выступали по клубам и предприятиям и вели лабораторную работу. Первая большая практическая работа была сделана 1 мая. Нам было предоставлено агитпропом несколько грузовиков, с которых мы выступали, агитируя за новое, в том числе и за искусство – за Леф. Всего за один день было свыше 80 выступлений. Было обслужено тысяч пятьдесят человек. На мою долю пало тридцать выступлений, т. е. за восемь часов мной было прочитано шестьдесят стихотворений. Чем не рекорд?

Ни один революционный праздник не обходился без нашего участия. Поле действий ширилось, ширилась и организация. Одного лефовского клуба стало недостаточно, открыли второй клуб. Число членов Юголефа перевалило за пятьсот.

В ряде южных городов (Севастополь, Екатеринослав, Зиновьевск и т. д.) и даже деревень возникли отделения. В Одессе Юголеф имел семь мастерских, два клуба, театр и столовую. Таким образом группа людей, объединенных одной идеей, превратилась в громоздкую организацию, где большая часть труда уходила не на изобретательскую работу на искусстве, а на администрирование и руководство. Издательство Юголефа, выпустившее пять номеров журнала и несколько листовок, захирело, появился какой-то внутриорганизационный бюрократизм. Тогда часть наиболее активных работников, в том числе и я, потребовали вмешательства московского Лефа.

Л. Недоля и я были посланы в Москву, было созвано Всесоюзное совещание левого фронта искусств. Леф осудил организационное увлечение Лефа, но по приезде уже невозможно было залечить эту болезнь и Юголеф был распущен.

Тут ещё раз подтвердилась правильность аксиомы: Леф силен как организация качественная, а не количественная.

Этим кончаются мои воспоминания о борьбе и работе одесских футуристов. В январе 1926 г. я уехал в Москву».

Среди тех пятиста членов Юголефа, о которых пишет Семён Кирсанов, помимо, разумеется, его самого и Леонида Недоли, наиболее известными стали поэты **Сергей Бондарин**, художники **Николай Соколов** (оформил обложки 3-го и 5-го номеров журнала), **Николай Данилов** (оформил обложки 1-го и 2-го номеров журнала), **Ольга Эксельбирт** (жена Н. Соколова).

В пяти номерх журнала были опубликованы стихи Л. Недоли, С. Бондарина, Броуна, Мурзина, рецензии Н. Данилова, Н. Соколова, Ольги Эксельбирт, проза А. Козакова и А. Пшенского... Интересно, что во втором номере опубликованы стихи М. Бланка на иврите. Кроме театральные рецензии,



Николай Соколов и Николай Данилов публиковали свои статьи по теории «левого» искусства. У Соколова это «О теории живописных молекул», у Данилова – «Театр на колёсах», «Кинотеатр и кинозрение».

В отличие от других литературных организаций, у юголефов были свои членские билеты, печать и даже оформленный Н. Даниловым книжный ларёк. Работали также театральная мастерская «Этмас» и изосекция. В ноябре 1924-го открылся клуб Юголефа «РОЖ» – работа, отдых, жратва. «При клубе – эстрада, читальня, лито, изо, музо, теолаборатория и столовая для членов клуба “Юголефа”», – говорится в ноябрьском отчёте.

Сергей Бондарин вспоминал: «В целях эпатирования буржуазии <...> мы <...> в ресторанчике, который должен был служить, по нашему замыслу, материальной базой для идеологической надстройки, время от времени устраивали незамысловатые инсценировки <...>, с улицы вдруг раздавалось как бы церковное пение: открывалась дверь, группа молодых людей и девушек вносили <...> просмоленный, как лодка, черный плоский гроб. В гробу лежал человек и курил. Случалось, ложился в гроб и я».

Алёна Яворская пишет: «Если первый этап деятельности Юголефа сводился к устным выступлениям, второй – к издательской работе, то третий во главу угла ставит театр. Позднее Данилов писал: «Не столовая стала причиной развала Юголефа. Его погубил театр». И далее: «В печати всё больше сообщений о работе левого театра – о дружественном “Березиле”, вернее, его одесском отделении, и об экспериментальной театральной мастерской “Этмас”, в которой начата подготовка спектакля “Приключения ничевоков”».

В пятом номере журнала «Юголеф» писалось: «Мастерская начала работать с 15 ноября 1924 года. Занятия дневные и вечерние. Предметы занятий: дикция – Тушмалова, акробатика – Леон, агиттеатр – Григорьев, режиссура – Юренив, политтрамота – Кульчицкий, теория театра – Данилов. <...> Заканчивается капитальная постановка «Необычайные приключения Ничевоков», которая будет показана как первая постановка левого театра на Юге. Постановщик – Юренив, конструктор – Н. Данилов».

Именно постановка пьесы стала самым значительным событием в деятельности Юголефа весной 1925 года. Премьера должна была состояться 18 марта в театре имени Луначарского (Оперном). По городу были расклеены афиши, однако за несколько дней до премьеры в театре произошёл пожар – и премьеру перенесли в цирк. Сергей Бондарин вспоминал: «Соответственно идее спектакля на арену цирка выехал на мотоцикле и почему-то в голубых кальсонах наш идейный руководитель украинский поэт Леонид Недоля ... по всему барьеру венком сидели «юголефовские девочки» в трусиках, как купальщицы».

Свидетели спектакля описывали, что публика, ещё помнящая время гражданской войны, в страхе пыталась сбежать при виде взвода вооруженных солдат, направивших винтовки в зал. И только крики режиссёра, что это театральный ход, вернули её на место.

Спектакль стал последним значимым событием в жизни Юголефа. Клету 1925 все главные действующие лица покидают Одессу, перебираясь в Москву или Харьков, и Юголеф практически перестаёт существовать.

Так закончилась история Юголефа. Но не история футуризма в Одессе. Чуть выше я упомянул дружественный Юголефу театр «Березиль» – один из первых украинских советских театров во главе с Лесем Курбасом. В Одессе открытие театральной мастерской рабочей молодёжи «Березиль» под руководством учеников Курбаса С. Бондарчука и П. Долиной состоялось в мае 1924-го. В послереволюционное десятилетие Лесь Курбас был частым гостем в Одессе. И вообще, период с 1924 по 1927 годы можно назвать расцветом «левого» украинского искусства в нашем городе. В первую очередь это связано с киностудией и деятельностью ВУФКУ – Всеукраинского фотокиноуправления, государственной кинематографической организации, существовавшей с 1922 по 1930 год. Украинское фильмопроизводство до 1926 года было сосредоточено на Одесской и Ялтинской студиях. В октябре 1926 года ВУФКУ переехало из Одессы в Киев, где началось строительство кинофабрики, однако в Одессе продолжали сниматься фильмы. Летом 1924-го Лесь Курбас поставил на Одесской киностудии фильмы «Вендетта» и «Макдональд», в 1925-м – фильм «Арсенальцы». В июне 1926 года состоялись гастролы театра Курбаса «Березиль», а 23-27 июня в нашем городе выступал Владимир Маяковский. Он приедет ещё раз – в марте 1928-го и будет не только читать стихи, но и выступит с докладом «Слушай новое». Об этом выступлении известный украинский поэт и прозаик **Сава Голованівський** написал гораздо позже, в 1956 году, замечательное стихотворение «Зустріч в Одесі», в котором есть такие строки:

*Ї одчайдушно
пишу я лист,
ясно, як день,
викладаючи суть в нім:
«Я – футурист,
хочу бути присутнім!»
«Хочу!»*

Да-да, в начале своего творчества Сава Голованівський был футуристом и учился в 1927-29 годах в Одесском сельскохозяйственном институте. Судьба многих других украинских футуристов так или

иначе связана с Одессой. И в первую очередь, конечно, нужно упомянуть **Михайля Семенко** — основоположника украинского футуризма. Семенко был основателем футуристической группы «Фламинго» (1919 год), в которую вошли О. Слисаренко, Г. Шкурупий, В. Ярошенко, художник А. Петрицкий; затем «Аспанфуга» — Ассоциации панфутуристов (термин предложил Гео Шкурупий), манифест которой подписали, помимо Семенко, Гео Шкурупий, Михаил Яловый, Олекса Слисаренко, Мирослав Ирчан, Марк Терешенко. Позже к группе панфутуристов присоединились Микола Бажан, Юрий Яновский и другие. Панфутуризм объединил тогда все группы украинского футуризма (в 1913-1918 сам Семенко был кверофутуристом — придуманный им самим термин, означающий движение, поиск). А в 1927 году Семенко организует объединение и журнал «Новая генерация».

В 1924 году Михайль Семенко приезжает в Одессу и становится на три года главным редактором Одесской киностудии. Он устроил на киностудию **Юрия Яновского**, **Миколу Бажана**, **Гео Шкурупия** — все они писали киносценарии, работали художественными редакторами. Сам Семенко работал над двумя сценариями («Чорна рада» и «Небожа Рамо»), которые так и были реализованы; принимал участие в работе над фильмом о Тарасе Шевченко, в котором снималась его возлюбленная — актриса Наталья Ужвий.

У друзей и соратников Семенка вышли в те годы и позднее в Одессе поэтические и прозаические сборники — у Гео Шкурупия книги «Страшна мить» и «Зруйнований полон. Місяць з рушницею», у **Олексы Слисаренко** повесть «Страйк», у **Василя Алешко** сборник избранных стихотворений за 1907-1927 годы «Степи цвітуть».

Ещё один украинский футурист, член объединения «Новая генерация» **Иван Маловичко** учился в Одесском кинотехникуме, а **Гео Коляда** издал в нашем городе сборник «Оленка» (1925).

С Одессой тесно связана судьба друга Михайля Семенка поэта **Леонида Чернова** — «Всеукраинского Дон Жуана», «сибирского бродяги», «морского волка, просоленного ветрами трёх океанов». Родившийся в Александрии Херсонской губернии, Чернов учился на математическом факультете Новороссийского университета (1917), а в 1925 снова вернулся в наш город, проделав четырёхмесячное морское путешествие из Владивостока. В Одессе он сближается с ЛЕФовцами, печатает отрывки из своей кинопоэмы, а в журнале «Шквал» публикуются его путевые зарисовки «Через тропики под советским флагом». Первые книги Чернова выходили на русском языке; с середины 20-х он перешёл на украинский, и именно в Одессе увидела свет его первая книга на украинском языке «Самолёт». Леонид Чернов работал на киностудии вместе с другими украинскими футуристами и был близок к группе «Новая генерация».

Учитывая, что «Новая генерация», помимо футуризма, пропагандировала модернистские европейские течения, такие, как дадаизм и сюрреализм, неудивительно, что в 1930 году они прекратили своё существование. В 1937 большая часть украинских футуристов была расстреляна. . .

Я мог бы вспомнить ещё многое — ведь в Одессе в детстве и юности множество раз бывал **Борис Пастернак**, родители которого переехали в Москву всего за полгода до его рождения; бывал его соратник, организатор группы «Центрифуга» **Сергей Бобров**, жил московский поэт-футурист **Алексей Чичерин**, выступивший на вечере «Коллектива поэтов» с чтением стихов Маяковского, после которого Лев Славин заявил, что у «Коллектива поэтов» уже «не было авторитетов. Но был бог: Маяковский».

Связан с нашим городом и младший из братьев Бурлюков — Николай, причём по делам, никак не связанным с творчеством. В 1918-19 годах он служил в Одессе в радиодивизионе, причём сначала в войсках, подчинённых Гетьману Скоропадскому, затем у Петлюры, потом у белых, а затем при Красной Армии. После радиодивизиона он перешёл на службу в морскую пограничную стражу.

В нашем городе жил, учился и впервые начал публиковаться **Корней Чуковский**, друживший с Маяковским и много писавший о футуристах. В литературу его ввёл Владимир Жаботинский. . .

Можно было бы вспомнить ещё многое. Но тогда статья, пожалуй, превратилась бы в книгу. Мне кажется, всего описанного более чем достаточно для того, чтобы с полным основанием утверждать — Одесса навсегда вписана в историю русского и украинского футуризма.

«ШКАФ»

АЛЕКСАНДР БУБНОВ

ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФИИ И ПОЭЗИИ БУКВЫ

*Памяти Ивана Фёдорова (Ивана Феодоровича),
печатника русского и украинского,
Литерных дел Мастера.*

Аз, Буки, Веди... «Я письма познал»... Познавание, Послание, Шифр... Слова, восходящие к своим Буквам... В печати, в Высокой Печати – к своим Литерам... Начертаниям, линиям, линиям жизни, уходящим в века... Высокая Игра Линий Литер...

«Литера – Тора Литератора!» – такова игра буквосложения, такова буквология перераспределения одного слова в пользу двух, его «почкование», его объективная омограмма. «Поэтом улетаю – поэтому летаю!» – таков итог «перелёта» всего одной литеры из одного слова в другое. Минимальный акт творения. И одновременно – двойственность... Природы... Древняя как мир (Чёт / Нечёт) и современная как компьютер (есть ток / нет тока). Minim – палиндромическая по форме и символическая по сути единица объёма, адекватная материальным воплощениям Букв на Земле – типографским литерам. Конец истории, который мы наблюдаем... Как каждый человек – палиндромически – оттуда / туда...

Как только человек становится МИНИМально грамотным, как только он начинает понимать элементарное предназначение буквы, он, ещё ребёнком (для которого «запад» и «восток» пока равнозначны: «MaM-ПаП / MaM-ДаD»), по сути превращается в философа буквы, философа литеры, звукобуквы, графонеми...

Здесь и сейчас вы видите этот текст. Здесь и сейчас вы заряжаетесь токами литерософии, литерософией буквы – её философией, её иррациональностью, но – и логикой буквы, буквологикой, её рациональностью... Простой пример: «и черви в речи» – линейный палиндром из разряда простейших; «лилии», «лил/ии» – циклический палиндром (циклодром) из разряда простейших; но только их буквенно-палиндромное переплетение – «и черви и лилии в речи» – возносит нас на новый уровень (level) литерософического осмысления палиндромии, даёт поэтико-философское понимание синтеза букв и слов: «черви» (в речи) охватывают «лилии»(?)... В этом – палин-

дрософия буквы, шире – поэсофия текста.

Философская лирика – всеми принятый жанровый штамп, высокая печать возвышения, офсетная печать тонкого исследования «подножного корма» бытия. Лирик – это клирик лир, инструментов познания мира. От философской лирики до лирики в философии – один шаг, один такт – по смене изначальных векторов. Философия как поэзия. Поэзия как философия. Условно – это горный «полюс» реализации литерософии.

Дольний «полюс» – литера Гутенберга – берег Гутенберга – буква Фёдорова-Феодоровича, стоящего двумя ногами на двух берегах одной реки... Берега разворачивающейся газетной бумаги, но – с её высокой печатью. Возвыситься от сермяжного свинца литеры до полного высокого собрания всех ежедневных утренних и вечерних выходящих в одном экземпляре личных газет – вот одна из задач как литерософии бытия, так и обычной буквологии быта. Полное собрание сочинений – твёрдый, очень твёрдый переплёт, репортажей и стихотворений и поступков алфавитный свод; неопубликованные чувства, несоединённые куски, откровенья, набранные густо, многоточие в конце строки; примечания, отсылки, сноски, самая высокая печать; но никто, почти никто, не смог бы до конца, до точки дочитать; сможет только Абсолютный Гений; остывая, тает на Столе полное собрание сочинений всех, кто воплотился на Земле...

Поэт пишет философскую лирику. Философ пишет стихи, а если и не стихи, то пишет метафорами, пишет так, как определил другой жанровый штамп – пишет «стихами в прозе». Именно метафора – «дом бытия» философа. Такое сближение и такие хиазмы рождают понятие поэсофии и её методологии, говорящей так: поэзия и философия это идейно-образные и функциональные системы, ибо категории философии суть поэтические категории, а категории поэзии суть философские категории. Методология поэсофии объединяет поэзию и философию как

два близких способа высказывания, как две формы бытия языка, богатство которых – в их совместном действии, в их объединительной риторике – риторике поэсофии.

Кто такие философы? Да те же жаждущие метафор (конечно, более рациональных и точных, на уровне самого языка), поющие философию поэты, пусть и не до конца оснащённые технологией версификации. Кто такие поэты? Да те же жаждущие истины философы, пусть и не до конца оснащённые опытом поисков предыдущих поколений философов. Тот, кто в конце(пте), тот не оснащён до конца, никто не до конца, тем более, тот, кто жаждет поэсофии.

Философы – это поэты. Поэты – это философы. И в этом – бесконечность поэсофии, её переменные токи и истоки.

Философия – это и искусство, и наука, это и технология, и откровение опыта чтения текстобразов... Поэзия (поэтика текста) – это и откровение, и технология, это и искусство, и наука точного складывания слов, наука почти математического вычисления положений нитей строк в полотно поэмы, рисунков букв в ленте строки... Философия и поэзия – это две науки и две технологии, два искусства и два откровения.

Шире и выше – в лучших философских и поэтических текстах (будь то стихи или проза) ощущается выход из пределов текста в высокую поэтику искусств и наук, в частности, в поэтику визуальности. Соответственно, чисто речевой поэтико-философский «дискурс» выходит из пределов «уми» в речевую «заумь» и в фоннику как таковую, вневербальную и внетональную, заполняющую метафизическое времепространствие поэсофии, так же, как и чисто визуальный концепт заполняет метафизическое времепространствие текстовых публикаций – вплоть до атомов букв и их элементов.

Слово разворачивается из Буквы – это мини-аналогия с Большим взрывом Вселенной, с Началом, с Введением мысли и чувства в поэтику буквенной философии. Овеществляется метафизическая передача шифробразов от одного поколения другому, покорение новых и новых умов и сердец, которые суть продолжение единой ленты Литерософии, реализующей графонеми-литеру в визуально-коммуникативном пространстве-времени.

Ум-Умь Буквы проявлен(а) очевидно, эта Умь – выпукла, она – в самой графике, какие бы шрифтовые «позы» эта графика ни принимала. Ум-Умь – это Ян-Инь Буквы, её физическая сущность, её мужское и женское проявленное бытие. И логично, что Заумь Буквы – это её душа, это то, что «за» её умом, «за» её физическим обликом, «за» её интеллектуальным обликом; это её невидимая глаза молитва: аум-заум-оум Поэсофии...

Поэсофия – это философия поэзии и поэзия философии. Литерософия – это философия буквы как формобразующего элемента бытия поэтического текста, его узкого пространства, выворачивающегося в итоге в большую поэтическую вселенную...

Пространство вокруг человека можно разделить на три типа по степени искусственности: естественное (природа), искусственное (внутри дома, комната) и смешанное в той или иной степени (город с его коммуникативными текстами и «текстами»). Городских жителей в развитых странах, как говорит статистика, больше, чем сельских. А в городе человек чаще всего находится в комнате – дома или в офисе. Иначе говоря – в закрытом искусственном помещении. Для него категория «здесь» – это пространство искусственного помещения.

Графонема – это «здесь и сейчас» нашего зрения, экзистенция визуальности. Графонема – это Графство Текста, это комната бытия текста, его узкое пространство. Слово – это квартира бытия текста, сочетание букв, их союз и (или) противоречивое столкновение, без которого поэзия невозможна, ибо нет искры поэсофии. Словосочетания – это здания, а фразы – это улицы городов, архитекторы которых – сочинители текстов. В литерософии поэт – дизайнер и философ слова, а писатель – строитель и философ текста.

Более естественная и в то же время интимная обстановка – домашняя, в своей комнате, в спальне. Здесь проходит едва ли не половина жизни среднестатистического человека. Поэтому точка отсчёта для категории «здесь» – своя комната. Независимо от того, съёмная это комната (квартира) или приватизированная, – это именно то место, где человек вновь и вновь становится самим собой, наедине с собой, в самокоммуникации («кто я?», «зачем я?»), со своим индивидуальным пониманием и образом категории «здесь», даже если это понимание не выражено осознанно, даже если это понимание глубоко подсознательно, интуитивно. Именно это понимание и ощущение категории «здесь» помогает человеку гармонизировать пространство – физическое и (или) психофизическое, помогает соотнести категорию «здесь» с другими составляющими индивидуального бытия, помогает найти именно здесь место категории «здесь». Такая игра слов, такой каламбур позволяют сделать методологическое приближение к пониманию индивидуального пространства бытия человека и его коммуникативного потенциала, позволяют зуммировать, вычленивать, выделить отправной арел ощущения человеком своего личного пространства. *Nomen est omen*. Даём номинацию отправной единице категории «здесь»: Изначальное «Здесь» (ИЗ). В литерософическом плане ИЗ – это категория и (или) уровень буквы.

Сама аббревиатура ИЗ (как таковая) омонимична предлогу и приставке, префиксу. Аббревиатура ИЗ совпадает с префиксом слова «ИЗначальное». Аббревиатура ИЗ призвана дать методологическое ощущение, с одной стороны, ИЗвлечение истин ИЗ более узких индивидуальных пространств (графонема) в более широкие (слова, текст), с другой стороны – ИЗвлечение неких математических «корней» из более широких индивидуальных пространств (речь) в более узкие, с относительно меньшим масштабным числом это-



го (или этих) коммуникативных пространств(а), соотносящихся с квантом мысли. Наконец, аббревиатура ИЗ приЗвана дать новое ощущение ИЗвлечения самого себя ИЗ одних пространств в другие (а графонема – из одного слова в другое, в анаграмме, палиндроме, омограмме). Последнее ИЗвлечение-перенесение происходит многократно в течение каждого дня, заметно или незаметно. В зависимости от того, насколько часты такие извлечения или перенесения, происходит большее или меньшее переосмысление себя в пространстве и пространства в себе – хиазм бытия у обычного обитателя пространства либо хиазм познания текста (коммуникативный хиазм) у писателя, поэта, журналиста. . .

Читатель – вдумчивый, умный, заумный – это и объективный фотограф текста, и тонкий философ, субъективный трактователь, герменевтор и герменавтор. Даже фотография как жанр, склонная к объективному отображению, обрабатывает кванты в зеркалах и стёклышках, оцифровывая времяпространство. Объективная изначально, ныне фотография авторизуется, субъективируется. Любой текст, привнесённый в (фото)изображение (на том же заголовке, данном поверх фотоснимка), суживает универсальность чистой визуальности до частного языка и носителя этого языка; однако вместе с этим привнесением сама фотография (и картинка вообще, в том числе – движущаяся – видео) выходит за рамки жанра и его штампов-определений, переходя в сложно-определяемый синтез фотопоззии фотостиха, аналогично синтезу поэзии и философии в поэсофии.

Времяпространство носителя языка состоит

Примечание: Буквология, герменавтор, литерософия, омограмма, поэсофия, циклодром – термины автора статьи.

как минимум из двадцати пяти фотографических ракурсов его глаз за одну секунду плюс высказанные или невысказанные звуки, слова, фразы, мысли. . . Носитель любого языка, со всеми инструментами этого языка, со всеми его «картинами мира», более или менее коммуникативными, – это ежесекундный герменавтор текстовой составляющей синтетического визуального жанра, это и концептор всех его составляющих.

Реализуя графонема в коммуникативных «текстах», олицетворяя алфавит в целом, поэтизируя его философию, мы ощущаем его бытие здесь-сейчас, в начале двадцать первого века, – новую метафизику, новую герменевтику нового тысячелетия. Группируя буквы в квадраты и ячейки, укладывая азбуку в «прокрустово ложе» современного мобильного телефона с его реализованными дольными графонемами, с его горными фракталами коммуникаций, мы превращаемся и в философов анаграммы, и в «комбинаторов», и в живой чувственный инструмент по перестановке, перетасовке, перетряхиванию «азбучных истин», их овеществлению в смсках, в наборе-перенаборе слов, в их фрактально-заумном свёртывании и развёртывании через микрокосм в макрокосм, в конце концов, превращаясь с этими коммуникативными атомарными фактами в ежедневных практиков литерософии.

Речевой «жанровый» штамп в мобильном телефоне «ты где?» влечёт ответы: «в герменевтике алфавита», «в плену у графонема», «в азбучной истине анаграммы». . . От сотовой сети – к графонеменной телефонной сетке 3x3, к этим крестикам-ноликам и пирамидкам детства сотовой связи. . . Извлечения из детства третьего тысячелетия. . .

МИЛЕНА ТЕДЕЕВА

НА СВЯЗИ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. ПЛОДЫ БЕЗМОЛВИЯ

обзор

материал подготовила Марина Матвеева

Эти авторы и представляют собой некий срез молодой кавказской литературы, и не представляют. . . Так как никому из поэтов не исполнилось ещё сорока пяти лет, а как известно, до сорока пяти ещё можно считаться «молодым автором», Керамов, Рамонов и Аппаева, безусловно, олицетворяют собой какое-то современное литературное движение Кавказа. Но поскольку и творческие судьбы представленных авторов (увы, приходится прибегнуть к этому громкому эпитету) принципиально разные, и среда обитания – разная, никаких параллелей, и никакой принадлежности к какому бы то ни было единому литературному процессу в их отношении констатировать нельзя.

О наличии общекавказского литературного процесса говорить сегодня невозможно, ведь не только финансовые потоки, но и творческий потенциал российских провинций стекается в столицу. В провинциях же, одной из которых является российский Северный Кавказ, творческие процессы либо вялотекущи, либо вовсе – заморожены. Вопрос: кем? – отпадает. Напрасен. Что делать? Некоторые пытаются что-то делать. Например, Сергей Александрович Филатов, в прошлом политик, а сегодня руководитель Фонда интеллектуальных программ. Именно эта организация четвёртый год подряд «вторгается» в литературный вакуум некогда плодоносных на этой стезе кавказских республик и пытается реаними-

ровать литературу, найти таланты, обозначить их существование перед российским сообществом литераторов и вообще Россией. Именно фонд Филатова сегодня громко кричит о том, что на Кавказе оскудевает национальная литература, умирают уникальные языки...

Послереволюционные реформы прошлого века в отношении национальных республик с апофеозом завершаются сегодня. Уничтожение ярких национальных акцентов, подмена их соцреалистическими ценностями изуродовали литературу, в частности, кавказских республик. А потому мы сегодня имеем то, что имеем. Молодое поколение кавказцев не знает своих литературных языков и, тем более, ничего на них не пишет. Возможно, ещё не поздно, и усилия власти в этом направлении ещё смогли бы поправить положение. Можно создать программы для поддержания национальных языков, реально вложить в них средства, возродить институты перевода... Но до того ли политикам? Надежды на масштабные шаги власть предержащих мало. Однако совсем прекращать попытки хоть как-то действовать на этом поприще – преступно. Любой энтузиаст, как капля воды, точит камень. Вспоминаются слова Бродского: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельно человека всегда можно». И если верить за С. Филатовым с доброй инициативой на Кавказ литературный придет кто-то ещё и предложит что-то большее, что ж... А сами кавказские авторы должны пока как-то выживать и продолжать трудиться, несмотря на равнодушные к ним со стороны сильных мира сего, в котором есть, надо полагать, и высшие силы.

Алан Рамонов – пишущий на русском языке автор, живёт в столице Северной Осетии, Владикавказе. Исторически сложилось так, что культура и языковые особенности осетин и русских очень близки. Объясняется это и с научной точки зрения: русский и осетинский принадлежат к одной языковой семье – индоевропейской. Остальные народы на Северном Кавказе входят в тюркскую семью языков. Сегодня говорить о том, что существует молодая осетинская литература, увы, не приходится. Литературного процесса как такового в республике нет. Национальная научная библиотека Северной Осетии сделала попытку на этом поприще, создав литературный «Чай-клуб». Однако, к сожалению, этот клуб – в большей степени кружок самодеятельности, нежели серьёзное литературное объединение. Основной его костяк составляет группа женщин в годах, называющих себя «поэтессами». Не так давно молодой «революционер» от «народной поэзии» Чермен Дудаев сделал «Чай-клубу» прививку из студенческого актива – клуба «Мирдэста». В этом начинании его поддержала заслуженная поэтесса республики Ирина Гурджибекова. В итоге встречи актива выглядят следующим образом: каждый, заглянувший на огонёк в клуб, выходит на «помост», где восседают главы пожилого и молодого поколений владикавказских графоманов, и торжественно декламируют свои сочинения. Чув-

ствительному уху не вынести больше двух-трёх выступлений. И, конечно, ни о какой критике никто из авторов и помыслить не может. Каждый сам себе звезда. Такая вот пародия на литературный процесс. Союз писателей республики, состоящий из советских литературных деятелей пенсионного возраста, разумеется, тоже палец об палец не ударяет ради молодых талантов. Таковы печальные реалии. Возвращаясь к представленному автору, надо сказать, что на фоне столь очевидного оскудения живой литературной среды, Алана Рамонова начинаешь воспринимать как белую ворону, а потому – как чудо. Несмотря на косность и неотшлифованность авторской речи и пока ещё технически не отточенные поэтические приёмы, Рамонов являет собой образец того, чем должен быть человек, пишущий стихи. Он дышит литературой, дышит поэзией – в отсутствие всякого смысла этого рода деятельности и какой бы то ни было поддержки со стороны. И хотя творчество Алана далеко от какого-либо бунта и реакционности, а напротив, представляет собой исключительно продукт романтизма, само его дыхание – чистое, не пропитанное графоманской самоуверенностью – уже является протестом. Ищущие, хрупкие и уязвимые строчки молодого поэта уже контрастируют с штампованными и категоричными сочинениями сверстников Рамонова из студенческой «Мирдэсты» и клуба почтенных рифмоплётов. Алан является в этом сообществе – да-да, не больше, не меньше! – персоной нон-грата. Когда самообозначенные таланты поют оды великому и гордому краю, Рамонов демонстративно даёт этому сообществу оплеухи своими шутивными стишками про пельмени. Душа истинного автора, да и просто чувствительного человека, не может не восставать против фальши и помпезности. Именно потому у Алана нет поддержки, нет среды единомышленников и нет большой надежды на улучшение ситуации. Он один против мёртвого уштия. Лёгкий горный ветерок. Хочется надеяться, что в литературном мире Осетии что-то изменится, но надежда слаба, потому что литературного мира, по большому счёту, нет. Совершенствоваться может нечто существующее, а в обратном случае... Что касается печати, то единственный оплот литературы Северной Осетии – журнал «Дарьял», где публикуются далеко не все желающие, пока что к Алану Рамонову присматривается... Хочется верить, что творчество этого поэта будет оценено главным редактором «Дарьяла» Русланом Тотровым, человеком широких взглядов и обладателем тонкого вкуса, пусть и со временем. Если Алан продолжит совершенствоваться творчески, он, уверена, покорит и «Дарьял», и другие серьёзные издания.

Жанна Аппаева, молодая балкарская поэтесса, пишущая на родном языке. Стихотворения на русском, в основном, являются подстрочниками. У Жанны классическое кавказское мировоззрение и будем говорить, традиционный для Кавказа литературный вкус. Она пытается быть преемницей традиций Кайсына Кулиева и Расула Гамзатова. Как



взыскательному читателю, мне хочется пожелать этому автору большей широты. Хотелось бы, чтобы Аппаева обратила своё внимание на что-то, в корне отличное от своих представлений о литературе, чтобы она шагнула вовне, вышла за рамки традиций, стала смелее и раскованнее. Мне думается, ей было бы полезно воспринять опыт каких-нибудь менее консервативных литературных школ. Любопытно было бы, если бы Жанна обратилась к европейским – испанским, французским – поэтическим направлениям. Что стало бы с поэтом Жанной Аппаевой при знакомстве со школой французских сюрреалистов или испанских романтиков? Как бы преобразились традиционные, словно высеченные в скале, ментальные особенности этой юной балкарки в синтезе с наследием вольной, если не сказать фривольной, старушки-Европы? И пусть это моя фантазия, но думаю, смешайся прямолинейная поэтическая позиция Жанны с витиеватостью принципиально иной поэтики, родилось бы нечто совершенно новое и уникальное. Однако для того, чтобы такие опыты претворились в жизнь, необходимы огромное желание и мощная мотивация. Есть ли они у Жанны? Не сольётся ли её уверенный, земной и симпатичный поэтический голос с уносящимся высоко в горы гулким и далеким эхом голосов почтенных поэтов-аксакалов из советского прошлого? Было бы печально, если бы так произошло. И потому Жанне хочется пожелать роста, отрыва от земли, полёта без страха разбиться, потому что любой риск оправдан и любой новый опыт полезен, когда уже много лет литературный процесс в родной республике стагнирует и не получает никакой подпитки.

Вадим Керамов не зря был назван мною единственным профессиональным литератором среди представленных авторов. В 2007 году Вадим окончил Литературный институт имени М. Горького. И хотя учился он на отделении про-

зы, литературный столичный мир знает этого молодого дагестанца как поэта. Вадим живёт в Москве. И это, безусловно, является огромным плюсом для него, потому что в столице есть та самая литературная среда, острый дефицит которой сложился на Кавказе и, в частности, в родном городе Вадима – Махачкале. Учёба в литинституте закалила автора. А дальше были совещания и форумы, организованные Фондом С. Филатова, поддерживающего молодое поколение писателей. И на этих совещаниях Вадим проявил себя блестяще. Точнее, блестяще проявили себя его стихотворения, неоднократно опубликованные в так называемых толстяках («Арионе», «Неве» и др.). И маститые российские литературные критики и сверстники Вадима, и его оппоненты признают как факт, что поэта Керамова – самобытная и зрелая. Этого автора нельзя назвать наследником дагестанской поэтической традиции. Он не только пишет на русском: строй речи, чувство языка – всё выдаёт в нём наследника русской поэтической традиции (не зря же Вадим пишет о себе, что он «...украдкой теребил великий и могучий...» и «...объявлял добро, по-русски говоря...»). Однако признавая это, нужно помнить что бэкграунд у автора, вне всяких сомнений, кавказский. Поддерживают его поэтическое соло и философия горца, и кавказская глубина мысли, и созерцательность восточного мудреца. На совещании в 2010 году в Домбае Вадима даже пытались уколоть этим: дескать, что же это вы в ваши молодые-то годы вещаете аки старик?.. Но это только так – «для перцу», ведь на самом деле без этой глубины, этого ощущения надмирности в стихах не было бы того Вадима, которого мы знаем. Керамов, безусловно, философ, а потому не столь важно, чем он занимается: пишет стихи, прозу или просто молчит... Молчание Вадима – это молчание мудреца. Не имеет значения то, сколько ему лет – тридцать или сто, и напишет ли он ещё сто стихотворений или десять. Вадим Керамов – автор уже состоявшийся и нашедший себя.

АЛАН РАМОНОВ

Родился в 1985г. в городе Алгаир, Республика Северная Осетия – Алания. До 1995 г. жил в городе Турсунзаде Республики Таджикистан. Затем переехал с семьёй обратно на родину. В 2009 закончил Северо-Кавказский Горно-металлургический институт по специальности инженер-механик.

Работает в ООО ВТЦ «Баспик» инженером электромеханического оборудования.

Пишет стихи на русском языке. Член литературного клуба «МИРДЭСТА», в первом сборнике которого была опубликована подборка стихотворений. В 2010 был принят в литературное объединение «Чай-клуб». В 2011 принимал участие в VI Советании молодых писателей Северного Кавказа.

ТУФЕЛЬКИ

А у голодного в груди две пары обуви
две пары обуви
две туфельки твои
и ножка

он пьёт сухую пустоту
и смотрит окнами
и смотрит окнами на свет
вполне зелёными

весна же скоро милый друг
весна ж едрить её

и вспомнит он глаза и свет
ах туфельки
таких не носят но она в них просто ангелом
в них просто ангелом ступала мягко по грязи
и над асфальтами
и над асфальтами они ходили по земле а мы
ходили по земле
и пели песенки

и я ей в трубку говорил что день
прекраснейший
что день прекраснейший
когда я слышу поутру её улыбочки
её улыбочки

А у голодного в груди
а у голодного в груди нет больше туфелек
нет больше туфелек
там тьма и темень пустота
и света станции и света станции

НУЖНО МИР УВИДЕТЬ

Нужно мир увидеть,
нужно руки сжать для поцелуя
и охрипшим, словно голос,
строчку вывести в себе,



и взглядевшись в мир прожилок,
линий рук, листов и трещин,
убедиться: это – прелесть,
отвернув глаза на ветер.

Одиночество – прекрасно,
одиночество как море,
только буквы не проходят,
если пусто на душе.

Если есть крючочек света,
смело вешай глаз осколки,
он целебный, он-то может,
вот была бы лишь звезда

САМОСВАЛ

Говорю слова
чудесные слова,
так неистово
повторяю их
про себя...
они умерли
несколько часов назад

их нет
они не вернуться
их не вспомнить,
и только дети кричат за окном

А в них было
было же что-то хорошее
я ими любовался
внутри себя
и любил
внутри себя, их

сжимая торт
кусочек торта
в руках
по дороге домой
и только дети
занимая места со мной рядом
говорили мне:
это таинство не разглашается

он глядел мне в глаза
сидя у мамы на коленях
из слов этого мира чудесного
знал он
совсем ничего

но говорил со мной
я
улыбался ему
Он сказал: чему улыбаешься, дурачок
– радуюсь тебе
– спасибо
и погнал самосвал добра
по стеклу маршрутки

Но это было не сегодня...
эти слова...
они навсегда останутся лучшими

и как-то на рассвете
 дальнего дня
 они скажут мне:
 чему улыбаешься, дурачок?
 – радуюсь, вам
 – спасибо
 и погонят самосвалы добра
 по маршруту – к сердцам

КАЖДАЯ КАПЛЯ

Если нечем заняться
 узнай какой ветер на улице
 как щебечут птицы
 и пахнет распускающимися
 на деревьях цветами

нагревается пыль
 и поднимается вверх
 снующими машинами

как наконец-то тепло
 и каждая тварь
 разноголосьем
 встречает новый сезон
 расцвета
 распускания
 разделения
 определённой части земли

а после дождя
 тихого тёплого
 весеннего дождя
 всё на какой-то миг затихает
 чтоб снова разразиться каплями
 и так снова и снова
 пока там
 на небе
 хватает воды

а пока что
 сиди и наслаждайся:
 дождём
 тишиной
 красками
 звучаньем капель о пыль
 которой уже нет

желание выброситься
 в улицы города
 превышает границы

желанье стать частью этих красок

остаться:
 светло-синим пятном
 прибитым на асфальте каплей с неба

лепестком любого
 ожившего дерева
 слипшегося с кроной



тёплыми лужами
в которых так хочется
постоять подольше
чтоб впитать с самой земли
силу её
с силой дождя

тебя ждёт
каждая капля
которой наполнится планета

тише – слушай их

ПИШИ СИЛУ И СВЕТ

Мои свёрнутые в трубочку слова
чувствительность моя
чувствительность
Сколько дней.
я тебе говорю: спасибо
что таким получился
сколько дней

Увидел сон
чудесный сон
и проснулся с улыбкой
Отчего же ты не можешь
каждое утро
вставать и улыбаться

но здороваясь с солнцем
после
после
улыбнёшься
негоже говорить солнцу
с кислым лицом:
доброе утро солнышко...
негоже

Что-то происходит
что-то постоянно
говорит мне:
живи
ведь ты знаешь зачем жить
ты это чувствуешь

Это почти так же
как невозможно с родного языка
переводить на русский
Это не слова
а целые ощущения
как переводить это...
я не знаю

В каждом
из этих ощущений
такие сила и свет
что прочтёшь
и захочется жить
чтоб чувствовать их

Так пиши
пиши силу и свет

ЖАННА АППАЕВА

Родилась в 1990 г. в Кабардино-Балкарской республике, в селе Бабутент. Писать стихи начала в школьном возрасте. В 2005 г. поступила учиться в Кабардино-Балкарской государственной университет, факультет культуры и СМИ, отделение декоративно-прикладного искусства, специальность – художественный металл. Пишет стихи на родном (балкарском) и русском языках. Публиковались в газетах и журналах республики, также в «Литературной России» (Москва), в 2011 г. произведения вошли в сборник стихотворений молодых балкарских поэтов. Неоднократная участница Совецаний молодых писателей Северного Кавказа, проводимых Фондом СЭИП.

Одолов болезненной
Вакцинацией,
Чтобы на плече от рождения
Мы носили ещё один
Маленький круглый шрам.
Как чёрную оспу – в пробирку
И в холодильник с биркой –
Не открывать никогда.
Закройте уже на ключ поэзию,
Чтобы потомки о существовании
Оной болезни не знали!

Когда небо залито
Кровью убитого солнца,
Дедушка говорит:
«К перемене погоды».
Кровь – она всегда к переменам
Или от них.

Плоды красные,
Но не сладкие.
Мало мякоти,
Много пафоса...
Имя громкое
Не оправдано,
И опять одни
Огорчения...
Но в отличии
От тебя, мой друг,
Он полезен –
Боярышник.

Не скучаю по забытому
не случается выкуривать
по полпачки в час с открытыми
и без форточек проветрится.
Я пчела в запечатанном улье,
Дымом дурь из себя выкуриваю.
Налеталась.



ВАДИМ КЕРАМОВ

Родился в Махачкале, в 1977 г. Служил в армии, окончил в Литературный институт им. А. М. Горького (Москва), отделение прозы. Стихи начал писать с 2007 года. Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья в Липках с 2008 по 2010 гг. Стипендиат Министерства культуры РФ по итогам Форума молодых писателей.

Участник Совещаний молодых писателей Северного Кавказа. Неоднократно публиковался в толстых литературных журналах («Арион», «Волга», «Нева», «Дети Ра», «Крещатик», «День и ночь»). Проживает в Москве, работает дизайнером. Изданных книг пока не имеет.

ЛЕНТА

Красив человек, бегущий от смерти, по дороге, ведущей к смерти –
Лента финишная, наилегчайшая, велика на труд –
Всё ближе мгновение, лишённое тверди,
И жарче трепет десятилетий,
Голос во мгле: это за мной идут.

Что явило меня, и куда простираются тени
От камней землеродных и чем проверяется век?
Растущее знанием, быть может, я лучшее из растений,
Живущее верой, быть может, я лучшее из животных, –
А всё ещё не человек.

Что меня вырвет из круга, как не круг больше круга.
Смерть – всё та же история плена, за неё не дашь и пятак,
Не добавка, не выворотка, не беда, не подруга
А только имени перемена,
Но и это не так.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Когда в квартире отключили свет
И громогласный мир сошёл на нет
С внезапной пустотой наедине
Я произнёс молитву в тишине

Из вырванных материй темноты
Из лоскута овечьего мраком
Она слагала свет волшебной красоты...
Я не шептал уже, я плакал

И на колени пал, и полз во тьме
И целовал, что попадалось мне

МАЛЁК

В людской реке общественного дня
Пльви, малёк, не достигая дна,
Пльви и помни, чтобы ни стряслось:
Где оборвалось, там же и срослось,
Пусть тебе совсем не дорога
Такая жизнь, такие берега.

ВРЕМЕННЫЕ ЦИКЛЫ НАРУШАЯ...

Временные циклы нарушая,
Хорошеет в рост не по сезону
Тонкий стебель будущего мая,
Красота, противная закону.

Ветром не согнуть его и снегом
Не укрыть, и не разграбить птице, —
Он взойдёт весною человеком,
А не одуванчиком в петлице.

Я СЫН ЛИСТВЫ ОПАВШЕЙ...

Я сын листвы опавшей и пророк
Дождя над пашней захудалых строк,
Кладонскатель в сумрачном покрове.
И целый город — еженощный храм —
Мне завещал молиться фонарям
И ветер сторожить на полуслове.

Над горизонтом плавилась ножи,
Сдавала ночь святые рубежи,
И возвращалось время безголосиц.
Шумела пешеходная струя,
И втихомолку одиночил я
Живой звезды простой орденосец.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Заря вставала над селом
Дорогу ночью замело
По снегу с голубым отливом
Иду я первым и счастливым
И грач, танцую головой
Идёт за мной, идёт за мной

Ни петухов, ни детворы
Дома пустые и дворы
И тишина неуловимой
Догадкой проплывает мимо
Всё выше поднимался день
Скажи, плетень, где твоя тень?

Здесь я родился, здесь я рос
Здесь обернулся в полный рост
На путь проделанный никчёмный
Села глухого посреди
Я был один и не один
Ведь он стоял, не уходил
Кловастый, маленький и чёрный



МИЛЕНА ТЕДЕЕВА

Родилась в Южной Осетии, живёт в Северной Осетии. По профессии учитель английского языка, но работает в СМИ. Стихи (в основном, в форме верлибра) и рассказы пишет пятнадцать лет, публикуется как под своим именем, так и под псевдонимом Мила Есен (журнал «Дарьял» (Владикавказ) и др.). Участница и координатор Сопещаний молодых писателей Северного Кавказа, участница Форума молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья в Липках 2011 года.

ШИПОВНИК НА СТЕНАХ

По стенам моей просторной комнаты
вьётся спелый шиповник —
его посадили тут ещё до моего рождения,
и он уже много лет цветёт и плодоносит
на этих нестареющих обоях.
Мой взгляд то и дело поднимается
от пола к потолку,
кружит вокруг красной люстры
и с тяжестью возвращается
в ту грустную книгу,
что ты дал мне почитать.
Я лишь изредка
по-настоящему общаюсь
с её героями.
Я думаю о своём...
Иногда мне хочется,
нет, мне кажется,
что ты войдёшь сюда,
и мы обовьём друг друга,
как ветки этого шиповника,
и будем вместе ползти
по стенам и потолку
старой оранжевой комнаты,
задевая люстру
и делая воздух горячим...

ТВОЙ ЦВЕТ

В складках кожи
старой лозы —
аромат осени.
Жара её иссушила,
(Жажда.)
(Война.)
Всё прошло,
от лозы остался
цвет бордо в хрустале...
Забудь, лоза,
как кровь пролилась,
как много было крови...
Тебе нужен сон.
Усни, лоза,
Позабыв про боль,
Ведь кровь твоя
в вино превратилась...

ПУСТЫЕ ЯЙЦА

Любовь к тебе –
безумная курица,
бросившая гнездо.
Бросила и бежит,
бежит-кудахчет,
а детям холодно...
погибнут они безропотно.
«Да какие же это дети? –
Омлет на завтрак», –
думает курица,
бросая гнездо.
(Но сама стала курицей,
потому что её не бросили)
Я смотрю ей вслед,
кусаю губы:
вернётся-не-вернётся? –
Без неё и жизни нет.

Лишь она жива:
наглое яйцо,
которое высидели.

АУТСАЙД

Глаза и руки ищут убежища,
как вода потопа – щели в ковчеге.
Но убежища всегда заняты,
а ковчег сделан на совесть.
Некоторым предписано быть вне,
Вспомни:
и Ною было велено
не каждого спасать.

ЮРИЙ КЛЕВАНЕЦ**ДРАМАТУРГИЯ РУБЕЖА ВЕКОВ: АНТОН ЧЕХОВ И АНДРЕЙ КУРЕЙЧИК**

статья

*По материалам республиканской конференции
«Чеховские традиции и современная белорусская проза»
в г. Борисове, посвящённой 150-летию классика*

Прежде чем заняться работой над данным докладом, я некоторое время размышлял – произведение каких авторов Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» взять для разбора именно в свете этих самых чеховских традиций. По размышлению остановился на пьесах Андрея Курейчика.

Причины для такого выбора следующие.

Во-первых, оба автора, если вывести за скобки их разномасштабность – успешные драматурги.

Во-вторых, есть и личный момент: прозу Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» я разбирал неоднократно, дважды отваживался, не будучи поэтом, критиковать и стихи ветвевцев. А вот драматургию пока не трогал.

Сразу скажу, что я совсем не театрал. Я не буду выставлять оценок, попробую только сопоставить и проанализировать темы, сюжеты, тенденции, которые проявились в творчестве обоих авторов.

Как заметил один герой разбираемой на прошлом семинаре в Полоцке грибоедовской комедии «Горе от ума», если начнёшь сравнивать век нынешний и век минувший, то находит даже некоторое уныние от несопоставимости масштабов. Но, тем не менее, лучшего способа познания, чем сравнение, пока не придумано. А поэтому – ближе к делу.

Чехов, писатель и драматург мирового уровня, фактически выполнял в этом мире миссию пророка. Он – создатель, исследователь, законодатель, идеолог и глашатай новой на тот момент значительной социальной группы российского общества – интеллигенции.

Что такое интеллигенция? На этот счёт уже давалось множество определений, от самых пафосных до самых уничижительных. Рискну выступить здесь со своим мнением, увязав его с темой прошедшего семинара по поэзии, посвящённого юбилею А. Грибоедова. Говоря простыми словами, интеллигенция – это коллективный Чацкий. Внутри корпорации русских интеллигентов есть, конечно, и свои Молчалины, и Фамусовы, и Репетиловы, но по отношению к остальному обществу они всё равно Чацкие – указующие, негодующие и поучающие.

Чехов немного не дожил до апофеоза Серебряного века русской культуры, до громких триумфов её в Европе. Характер Антона Павловича как человека и писателя сформировался во времена некоторого известного отката от реформ, связанных с именем императора Александра Второго. Поэтому, я думаю, следует отделять чеховское понимание интеллигента от того образа, который появился в результате добавления каких-то дополнительных черт от концептуальных определений других авторов, интерпретаторов, мыслителей – начиная с М. Салтыкова-Щедрина и до И. Смоктуновского с М. Захаровым.

Ещё раз повторю: характер Чехова сложился в условиях жизни России последней трети XIX века, и этот характер виден в его произведениях, в том числе – и в пьесах, предмете нашего сегодняшнего разбирательства.

Вследствие своеобразного понимания целей и задач литератора и драматурга Антон Чехов старательно тушит своё «я». Авторские мысли и чувства высказывают разные персонажи, не обязательно главные или во всём положительные. Писатель вполне полагается на то, что его зритель или читатель – и сам человек думающий, которому чуждо всякое излишнее «разжёвывание» трудной темы.

Главные герои пьес Чехова могут быть вяловатыми или даже вообще бездейственными, но отнюдь не следует переносить их черты на автора или на авторское представление того, каким должен быть интеллигент. Сам рассказчик – человек весьма деловитый, вполне осознающий, чего он хочет – как от себя, так и от окружающих. И не только осознающий, но и очень требовательный.

Слова «сомнение», «рефлексия», «впадение в крайности», «созерцательность» почти совсем не определяют авторский характер или авторский идеал, для описания которых лучше подойдут уже здесь использованное обозначение «пророк» и ещё – «сжатая пружина».

Любой из здесь присутствующих может и сам провести мысленный эксперимент по отделению, скажем так, «образа автора» в пьесах Чехова от наслоений более позднего времени – он получит при этом фигуру этакого «Чацкого в развитии»,

более напоминающую Марата и Вольтера, нежели Алёшу Карамазова, к примеру.

Чтобы понять причины, породившие такой характер писателя и драматурга, нельзя не вспомнить такое явление, как реформы Петра I. Нельзя не вспомнить также слова Пушкина о том, что презрение к своим подданным позволило Петру вводить просвещение в России, не заботясь о неизбежном следствии просвещения – революции.

Презрение презрением, но определённый механизм был запущен царём-реформатором и действовал, по определению историка Н. Эйдельмана, в течение примерно ста пятидесяти лет, после чего потребовалась новая «корректировка курса», новые реформы.

Если мы выведем за скобки слово «революция», поскольку оно будет только мешать в наших литературоведческих эссеисах, то мы должны будем сказать, что и великая русская литература – это тоже следствие петровского просвещения. Явление просвещения, таким образом, достойно того, чтобы окинуть его более пристальным взглядом. В результате этого пристального рассматривания мы можем увидеть интересную тенденцию, проявляющуюся уже во второй половине XVIII века и действующую на территории Российской Империи, а затем – и того, что осталось от империи вплоть до сегодняшнего дня. Эта тенденция вполне может быть выражена такими словами: в любой произвольно взятый промежуток времени, ограниченный указанными выше рамками (то есть от конца XVIII века до современности) на территории, которая опять же указана выше, учебные заведения выпускали всегда меньше разного рода специалистов, чем это было необходимо для стабильного поступательного развития страны или стран, расположенных на данной территории. Но в то же время этих специалистов всегда оказывалось больше, чем требовалось обществу и государству этой страны или этих стран, поскольку и общество и государство на указанной территории не очень-то, скажем так, стремились поступательно развиваться.

То есть из выучившихся людей кто-то постоянно как бы попадал за борт.

Сначала это были отдельные «лишние люди» – Чацкие, Онегины, Печорины. Заметим в скобках: Онегин, как известно, обучавшийся «чему-нибудь и как-нибудь» вроде бы и лишний среди лишних. Но тот же Онегин в действительности занимался самообразованием, поэтому он в ряду соответствующих персонажей и совсем не похож на западного героя того же статуса и того же времени – обедневшего невежественного дворянина.

Затем всё больше стали проявляться признаки некоей корпорации. А потом родилось и определение – интеллигенция.

Кто-то задаст вопрос: но ведь кроме «лишних людей» всегда были и «нелишние люди», то есть те, кто смог устроиться на службу и применить свои знания и энергию на официальном поприще. Что же они – не интеллигенты?

Почему же нет, они тоже интеллигенты, но

не эта часть образованных людей стала катализатором и закваской появления интеллигенции. «Лишние», скажем так, в духовном плане превалировали над «устроившимися».

Со второй трети XIX века, как известно, и без того немалые ряды «лишних» людей стали пополняться всё увеличивающимся наплывом поповичей, детей мещан, а иногда – и крестьян, что делало всю массу будущей интеллигенции всё более и более радикальной, а в искусстве породило течение «критического реализма». Как известно, по своему сословному статусу Чехов был именно мещанином, а в литературе он – яркий представитель критического реализма.

Надо заметить, что приверженцу реализма конца позапрошлого века не очень-то и надо было трудиться в поисках мишеней для своих критических стрел: у всех перед глазами тогда проходило постепенное разложение и умирание старинных дворянских гнёзд, лишённых прежней подпитки бесплатного труда крепостных. Немало деятелей культуры сделали в то время своё имя, провожая уходящий феодализм пинками и плевками.

Первые большие пьесы Чехова – «Пьеса без названия», «Леший», «Иванов» – прямо построены на противопоставлении героя и его окружения, как и у Грибоедова в «Горе от ума». Различия вызваны, в основном, обстоятельствами жизни: и «фамусовское общество» за прошедшие шестьдесят лет заметно поистрепалось, и женщины из потрёпанного «фамусовского общества» стали больше обращать внимания на «неправильного» героя, поскольку не за что и не за кого стало цепляться в своей среде.

В дальнейшем, по мере взросления автора, всё больше проявляется собственное, чеховское построение пьесы. В ней уже нет любовных противопоставлений, никто не кончает жизнь самоубийством, и даже, вроде бы, нет сюжета. Течёт заурядное бытие, люди сталкиваются, расходятся, что-то говорят друг другу... Каждый по-своему прав, каждый по-своему виноват. Здесь-то, как представляется, и заложено то доверие драматурга к зрителю или читателю, о котором уже говорилось выше. Зритель и сам поймёт то, что не договаривают персонажи. Зритель – не дурак.

Эта уверенность автора в способности публики по отдельным, крупным, как у художников-импрессионистов, мазкам представить или восстановить всю картину происходящего на сцене – само по себе редкое явление и важная характеристика общества рубежа прошлого и позапрошлого веков, общества, в значительной мере неграмотного, но уже опьянённого переменами, общества, ожидающего новых перемен.

Но вот прошло более ста лет, социальный подъём сменился упадком. Мы стали старше – во всех смыслах этого слова. В журнале «Западная Двина» в №1 за 2010 год опубликована распечатка с «круглого стола», организованного Беллитсоюзом «Полоцкая ветвь» для обсуждения проблем белорусской русскоязычной литературы. Автор этих строк высказался там в том смысле, что общество наше деградирует, и литература – вместе с ним.



Сейчас хочется сказать об этом подробнее.

Не останавливаясь на известных всем фактах развала великой некогда страны, выделю один момент: за последние восемнадцать лет из маленькой Беларуси, по официальной статистике, эмигрировало пятьдесят девять тысяч человек с учёными степенями. То есть наша маленькая страна подарила кому-то целую академию наук (а возможно, и не одну) — и наше общество этого вроде бы и не заметило. У автора этих строк при виде такой статистики перед глазами тут же встала картинка петуха с отрубленной головой — он ещё прыгает, бедняга. . .

Для литературы — как русскоязычной, так и белорусскоязычной — не важно, потеря почти целой армии учёных — это не просто потеря читателей. Армия учёных не только сама любила почитать книжки. Своей массой, своим авторитетом, своей тягой к беспристрастности она создавала моду на чтение для всего общества. Учёные делали моду на чтение, на посещение театров и выставок, но они же прививали и определённый вкус. Примитивщина и дурной тон назывались именно примитивщиной и дурным тоном. Всего этого уже нет, будет ли когда-либо — бог весть.

Именно в отсутствии взыскательного спроса, а не в том, что писателей развелось слишком много, или что издательства гонят одни дешёвые детективы, и даже не в языковой проблеме я вижу основную беду нашей литературы.

История интеллигенции, вступившей на историческую арену в конце позапрошлого уже века, по-видимому, закончилась. Нынешняя публика в значительной мере разложилась на фракции, в целом не связанные с устойчивым социальным статусом и подобные нефтепродуктам. Нынешний «серьёзный» читатель, к примеру, это либо тоже писатель, либо искусствовед, либо студент-филолог. В наших «постсоветских» странах укоренилась и принесённая из-за морей новая здесь этнографическая группа или субкультура — «подростки из бедных цветных районов». Эти подростки и являются сейчас основными зрителями и слушателями.

В таких условиях одни литераторы идут на брак по расчёту с государством, другие мимикрируют и эволюционируют в городских сумасшедших, клоунов или в «ботаников» по современному определению. Об этом мною уже говорилось на семинаре, посвящённом поэзии. Над всей нашей культурой витает дух кабака, где всё блестит, зазывно кричит и приятно пахнет, но всё — мишура и обман, где «любовь к отеческим гробам» отдаёт некрофильством, а любое новаторское модернизаторское устремление — «распилами» и воровством, как идей, так и презренных материальных благ.

Но перейдём ко второму герою нашего доклада. Драматург Андрей Курейчик является, по моему, ярким примером творца, сформировавшегося в новые времена. Насколько мне известно, Курейчика, как и Антона Чехова, можно по старинному назвать разночинцем, поскольку по

происхождению своему Андрей — отнюдь не статусный господин. Однако он совсем не пророк, в отличие от своего великого предшественника. Пророчествами современного зрителя можно только напугать. Курейчик скорее представляется мне некоей смесью шамана из стойбища и воспитателя из детского сада. С творчеством нашего современника у меня лично связана ещё одна ассоциация, которую можно назвать «Поп Сильвестр». Это исторический персонаж, воспитатель будущего царя Ивана Грозного, которому удавалось успокаивать и утихомиривать садистские наклонности властвующего отрока, рассказывая ему страшилки и фантастические сказки, сочинённые на материалах Священного Писания.

Как яркий и типичный деятель культуры современной эпохи, Курейчик — человек компромисса, человек прибоя, то есть и не морской, и не сухопутный. Задачи его творчества, насколько я представляю, таковы: с одной стороны — как-то расшевелить инертную массу, но не настолько, чтобы она, масса, ринулась ломать мебель, да между делом постараться внушить своему зрителю ещё что-нибудь полезное, например, что надо чистить зубы по утрам.

Во-вторых, как и любому достаточно крупному автору, стремящемуся к независимой позиции, А. Курейчику нужно как-то обойтись и с властью: любовь власти для творца не менее опасна, чем и её, власти, раздражение.

Решение столь противоречивых задач, по определению, должно быть компромиссным. Во-первых, не следует допускать и намёка на тот критический реализм, который, собственно, и прославил Чехова. Проблем современности лучше вообще не касаться. Я знаю только одну пьесу Андрея Курейчика, сделанную целиком на современном материале. Это «Призраки города», написанная ещё на заре туманной юности автора. Я её разбирал в своё время (см. «Западная Двина», №2/2004) и отметил отстранённую, «дуже инти-ли-хен-тнюю», как говорится в одном не очень приличном анекдоте, отстранённость драматурга, с которой он касается нынешней «злости дня». Такая аккуратность вполне проистекает из перечисленных выше задач современного автора.

Вообще же сейчас нужно делать упор на красочность при минимуме красок (виной всему, конечно, кризис), на экзотику, балаганные ужимки, готическое средневековье, фантастику в стиле «фэнтэзи».

При этом, если в произведении описывается, к примеру, что-то из реальной истории, то лучше, чтобы это «что-то» было бы узнаваемым зрителем — «цветным тинейджером». Так, из белорусской истории нужно брать Скорину, Радзивиллов, или «женскую ударную пятёрку» из Рогнеды, Евфросиньи, Анастасии, Барбары, Софьи, которыми всем тинейджером ещё в школе уши прожужжали. См., например, пьесу «Скорина» Курейчика («Западная Двина», №/2006).

Очень хорошо на современной сцене пойдёт интерпретация взаимоотношений Христа и Пилата — см. «Исповедь Пилата» («Западная Двина»,

№1/2010). Население этой страны хоть и считает себя в большинстве своём религиозным и христианским, но таковым на самом деле не является, как и не являлось никогда. Однако про того же Понтия Пилата большинство узнало из школьной программы, из «Мастера и Маргариты». Поскольку Пилат и его колебания между долгом чиновника и обыкновенной человеческой порядочностью в смеси с любопытством известны публике – то можно предложить ей и своё видение этой истории.

Хочу остановиться на интересном моменте. Андрей Курейчик, подобно Александру Дюма, не очень-то стремится воспроизвести реальные исторические факты. Так, например, в пьесе о Пилате несколько раз повторяется слово «бумага». Ну и что? Тинейджеру ведь всё равно – была ли бумага в Древнем Риме или её не было.

Зритель с подростковым сознанием и с подростковыми комплексами хорошо увлекается переодеванием прямо на сцене, фэнтэзийной мистикой, намёками на боевые искусства, элементами садо-мазо. Всех этих приёмов вполне достаточно в пьесе Курейчика «Хартия слепцов». Единственным близким к реальности персонажем там,

по-моему, является хозяйка постоянного двора.

Я прочёл пьесы Андрея Курейчика, выложенные в интернете. Надо признаться, что они не добились для меня какого-то нового знания ни об авторе, ни об авторских методах и подходах в творчестве. И в этих пьесах повторяются уже отмеченные приёмы: игривость, стремление к эффектам, к показу личностно-бытовой стороны нашей жизни.

Думаю, пора подводить итог. В поиске духовного предтечи Андрея Курейчика в столетнем далеке не стоит хвататься за творчество Чехова, несмотря на то, что, повторюсь, некоторое формальное сходство между обоими писателями всё же есть. Однако мне представляется, что корнями своими пьесы драматурга из «Полочкой ветви» уходят всё же в большей мере в сценические работы Александра Вертинского. И пусть сценки Вертинского нельзя в полной мере назвать пьесами, они столь же умилительны, меланхоличны, порой ироничны и пародийны, как и сочинения нашего современника. Общим авторам одинаково свойственно стремление «ослабить давление материальной стороны жизни», немножко утешить и развеселить «маленького человека».

ДИАЛОГ ДВУХ ЧИТАТЕЛЕЙ

о книге **Ольги Самолевской «Времена. Стихи»** – Киев: Дух і літера, 2011. – 136 с.

*В разговоре принимают участие киевские поэты
Татьяна Апинова (далее Т. А.) и Владимир Гутковскій (далее В. Г.).*

В. Г.: Таня! Мы с тобой знаем Ольгу Самолевскую достаточно давно и хорошо. В большей мере как чрезвычайно интересного кинорежиссёра, но и как поэта тоже. Относимся к ней с симпатией, которую она, безусловно, заслуживает. Поэтому наше обсуждение её новой (первой) книги стихов будет, я думаю, неизбежно доброжелательным и вместе с тем беспристрастно объективным. Репутация обязывает. Наша. Начнём?

Т. А.: Прежде всего, хочу сказать, что О. С. пишет относительно немного и не всё из написанного публикует. Высказывается только тогда, когда это необходимо. Её поэтические средства органичны, как правило, неброски, но выразительны. Внимание акцентируется не на словах, а на том, что они выражают.

В. Г.: В этом смысле показательно, что свои стихи Ольга свела в свою первую книгу в возрасте зрелости и расцвета. А для серьёзного поэта это, скорее, плюс, чем минус (аналогии общеизвестны). Это стихи не первого юного порыва, а периода, когда накопленный весомый творческий багаж (причём в разных сферах) позволяет достичь ответственного осмысления жизни и поэзии.

Т. А.: Любая книга начинается с названия. Название Ольгиной книги «Времена» на первый взгляд может показаться если не банальным, то, по крайней мере, чересчур обобщённым. В нём нет ни экзотики, ни эпатажа, ни завлекательной игры слов. Но в данном случае оно с безупречной точностью отражает основные доминанты книги: динамику и глобальность. Без динамики режиссёрское мышление вообще невозможно, а глобальность – это уже индивидуальная особенность мышления О.С.

В. Г.: Спорить не стану, но это как поглядеть. Такие характеристики как «динамика и глобальность», на мой взгляд, выглядят «чересчур обобщёнными». Как по мне, определение «эмоциональное осмысление» ничуть не хуже характеризует особенности поэтического мышления О.С.

А насчёт названия, вполне возможно, что в нём и присутствует всё, что ты в нём углядела.



Первый раздел «ВРЕМЕНА XX»

Т. А.: Название многозначно: помимо римских цифр, здесь и не познанные в полной мере времена «икс», и перечёркивание крест-накрест, и заколоченные окна, и пересекающиеся рельсы... Эту многозначность очень удачно раскрывают иллюстрации (кадры из фильмов) на первой странице раздела.

В. Г.: Я тоже хотел бы сказать несколько слов об оформлении книги. Оно, конечно, не отличается особой броскостью, но подобный подход в данном случае был бы и не уместен. А те скромные возможности, которыми обладали издатели книги, реализованы при её оформлении и тактично, и максимально выразительно. Иллюстрации же, о которых ты говоришь, напоминают мне именно ту игру в «крестики-нолики», которую XX век вёл со своими рядовыми героями. Свидетельствую как современник того времени. Игры, казалось бы, с предreshённым исходом. Но, как показывает эта книга, далеко не всегда.

Т. А.: В стихах первого раздела преобладает трагизм («Бабий яр», «Свидание с землёй», «Пепел», «Театр военных действий», «Час Чернобыля», «Чеченский призыв» и др.). На темы общих трагедий уже так много написано, что сложно не впасть в банальность, особенно автору, не бывшему непосредственным участником большинства из них. Но Ольге это удаётся. Вот, казалось бы, предельно обобщённая цитата: «... Земля до краёв переполнена / молодыми забытыми лицами». Она мгновенно врезается в память, потому что так может сказать только любящий человек!

В. Г.: Я бы ещё обратил внимание читателей на такие тексты как «Поколение», «Полёт» и целый ряд других.

Т. А.: Но в этом же разделе немало сарказма и даже сатиры («Люди любят культ», «Чиновничий лес» и др.).

В. Г.: У Ольги вообще зоркий взгляд и чуткое сердце. А поводы и причины для сатирического отображения самое себя действительность последних десятилетий прошлого века предоставляла буквально на каждом шагу. Потому и появлялись такие стихи как «Я устала от ваших уставов...», «Расслоилась речь невыносимо...», «Свобода нас не выбирает...» и другие.

Т. А.: Многие стихи раздела написаны ещё в советское время, но поражают свободным, несоветским взглядом на совковую реальность.

В. Г.: Здесь и опыт режиссёра, которому в своём творчестве приходилось пробиваться через уже полностью окостеневшие догмы того времени, и ощущения обычного человека, задышавшегося в той душливой атмосфере.

Т. А.: В целом первый раздел более публицистичен, чем два других. Но местами и здесь в полную мощь проявляется художник (примеры – «Собор, XX век», «Хаки»).

В. Г.: Я бы уточнил – в полную свою мощь. А приведённые примеры легко можно и умножить.

Второй раздел «ВРЕМЕНА ГОДА»

Т. А.: По настроению второй раздел – самый светлый и гармоничный из трёх. От первого он заметно отличается даже по стилю, манере письма. Эти стихи красочнее, и в то же время мягче, лиричнее. Довольно очевидно, что с социумом у автора конфликт, а с природой – гармония. Причём не только с ясным днём, с весенне-летним цветением, но и с зимой, даже с зимней ночью, когда, казалось бы, живому существу и выжить трудно, не забившись в свою нору. А Ольгиной лирической героине зима как будто придает особые духовные силы:

*Ночной лохматый снег –
 наивный, поздний –
 куда бы вы ни шли –
 летит в лицо,
 как будто знает,
 как вам жизнь непросто,
 как вы уже не полетите к звёздам –
 летит на вас, как мириады звезд.
 И вдруг –
 легко!
 И сами вы
 летите!*

В этом разделе каждый текст как отдельный фильм. Это именно фильмы, а не видеоклипы, потому что не мозаичны, а цельны.

В. Г.: В них поэт-режиссёр настраивает свою операторскую камеру на самый крупный план, когда каждый отдельный сюжет (и он же законченное стихотворение) в финале раскрывается перед зрителем-читателем до конца и безо всяких недоговоренностей. И с полной поэтической выразительностью:

*... Остатки тающего снега,
как очертанья континентов...*

Т. А.: Причём иногда фильмы получаются музыкальными. Как, например, стихотворение «Всадник»:

*Снова прилетел в наш садик
этот ливень – чудо-всадник.
Сумасшедше-бесконечно
Надо мной хохочет гром.
Прогибаются под ветром
растревоженные вербы,
задувает ветер свечку,
громко хлопая окном...*

Там дальше возникает любовная линия, и всё это озвучено, полифонично.

В. Г.: А иногда эти стихи-фильмы щедро живописны и пышно изобразительны:

*Восторгом слепящего сада
сияет кипенье усадеб...*

*... Сменяется буйство сирени
усталой ржавеющей пеной...*

Третий раздел «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»

Т. А.: Весь в целом он смотрится как фильм, но не экшн, скорее арт-хаус. Первый же кадр потрясает – чудом узнавания:

*Подступает вдруг
отрешенный миг –
то восход Лица
над равниной лиц,
льётся тайный свет
из прапамяти,
устремлён во взор
узнавания звон –
точно весть о том,
непережитом...*

*... Чудо – нипочём?
Повести плечом,
отвести глаза,
слова не сказав?
Заскользнуть по дням?..
Свету ответ дан...*

*... Отвести глаза –
как беду –
нельзя...*

В фильме просматриваются минимум два мужских персонажа. Но они не конкурируют между собой, не сталкиваются в одном эпизоде-стихотворении – каждый из них по-своему воплощает некий реальный, и потому несовершенный вариант того самого идеального образа «из прапамяти». А героиня-женщина одна. Мы смотрим фильм её глазами, но при этом её мы видим, ощущаем и понимаем отчетливее, чем мужчин. У неё нет соперниц-женщин – вероятно, потому, что она не вписывается в



стереотипные представления об участницах любовных историй: в ней нет ни наивной восторженности, ни победоносной стервозности, и меньше всего она похожа на вечную жертву, вся жизнь которой зависит от милости или немилости мужчины. Потому что любовь для неё – не просто чувство и тем более не объект житейских манипуляций, а некая высшая одушевляющая сила.

В. Г.: Насчёт количества персонажей тебе виднее. В каждом отдельном стихотворении их, безусловно, два. До двух я считать ещё умею. А вот в разделе целиком я бы не рискнул подсчитывать их количество. Да и зачем, когда есть такие строки:

*... Один крылатый жест, крылатый миг,
и губ губительная глубина,
и – взрыв,
и – смерч,
и – пламя,
и – волна,
и рушится, и воскресает мир...*

О, Господи, смертельная игра...

*... Уже слабеет напряжение тел,
уже разъять объятия пора,
разводит наступающий нас день...*

*Глядят на нас бесплотные тела
тех, кого канувшая жизнь свела...*

*Верни меня,
влеки меня,
зови...*

Мы – памятник погибшим от любви.

А вот со следующим утверждением я соглашусь безоговорочно. И мне этот раздел показался самым художественно эмоциональным и совершенным и понравился более всего.

И в заключение

Т. А.: Если говорить в целом о высших поэтических достижениях книги – гениальное стихотворение «Тело летело!»

*Тело летело, влекло, трепетало,
ластилось нежилось, грелось, цвело,
раны душевные тело латало
и умножало.
И снова звало.
Храм, и сезам, и альков, и арена –
тело для духа – и плач, и палач ...
Как вдохновенья, ждёт тело паренья.
Тело лелея, скрываю свой плач –
плач по телам, что сплетались и пели,
плач по телам, что с корнями сплелись –
в вечной земле растворились, как пена ...
Плачь по телам,
А о душах – молись!*

И точнейший критерий, найденный поэтом: «...раз помнится – значит, вечное».

В. Г.: Я оценку этого стихотворения, как гениального, считаю преувеличенной. А вот афористичность его финала «Плачь по телам, / А о душах – молись!» не могу не отметить. И что можно сказать о книге в целом. Это достойная книга настоящего поэта. Поэта, у которого (хочется верить) впереди ещё многие свершения. Чего и желаем!

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

ОДЕССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

13.06.2012. Одесса, Всемирный клуб одесситов. Презентация книги одесского поэта, члена ЮРСП Игоря Павлова «Акаций белое вино».

13 июня во Всемирном клубе одесситов прошла презентация книги Игоря Павлова «Акаций белое вино».

«Ушёл из жизни поэт с глазами врубелевского Пана, лицом схимника и осанкой поручика – Игорь Павлов: 7 июня мы проводили его в последний путь. Жизнь его оказалась долгой – 81 год. Гражданскую панихиду устроили в знаменитой Кирхе – евангелически-лютеранском кафедральном соборе Святого Апостола Павла. Проповедь и заупокойную молитву произнес, под колокольный звон, епископ Уланд Шпаллингер...»

“Его какие-то записи на случайных клочках... Коробка из-под телевизора, набитая рукописями, которые он постоянно теряет, несколько ими не дорожа...” – это еще прижизненные одесские легенды о Павлове, нечто вроде “наволочки Хлебникова».

Но... наконец-то из киевской типографии прибыл тираж: 500 экземпляров. Избранные стихотворения Игоря Павлова помещены в 132-страничный сборник “Акаций белое вино”. Издатель – “Порты Украины” (главный редактор – Константин Ильницький). Ах, не успел поэт увидеть эту книгу.

Над книгой трудился журналист, поэт Марк Эпштейн. “Месяца полтора назад, – сказал он мне, – говорил Игорь Иванович о том, как жаль ему, что не случилось в его жизни хорошего литературного критика и серьезного, нелицеприятного разговора о стихах. Критиков настоящих сегодня днем с огнем поискать. А ведь стихи Павлова – продолжение русской поэтической традиции. Но корректным разбором стихотворчества никто теперь не занимается. Игорь Иванович ведь не боялся, что его будут ругать, – ему хотелось честного разговора!”».

Тина Арсеньева

15.06.2012. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Вечер памяти Игоря Павлова.

На вечере памяти звучали стихотворения автора, воспоминания его друзей, была ещё раз представлена книга «Акаций белое вино».

«Он был именно одесский поэт, хотя и родился в селе Усатово. По его же признанию, почти никогда из Одессы не выезжал. Трудно себе представить современного поэта, не бывшего в Киеве или Москве, не ездящего на фестивали, не гонящегося за наградами, не стремящегося к членству в каких-либо союзах. Именно таким поэтом был Игорь Иванович.»

Он был поэтом в таком смысле этого слова, когда оно, скорее, воспринимается как диагноз. Почти ничего другого он не хотел, да и не умел, делать, всю жизнь писал стихи, иногда подрабатывая сторожем в библиотеке или выполняя заказы как художник-оформитель. Жил он, “как птица небесная”, не особенно заботясь, “что есть, что пить и во что одеться”. Все это ему предоставляли друзья. Пословица “не имей сто рублей, а имей сто друзей” прямо относилась к нему. Ему не давали пропасть, не оставили его и в последние дни, когда он попал в больницу с обширным инсультом.»

Анна Стреминская

15.06.2012. Ивановская область, Городской дом культуры г. Шуи. Презентация одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние» в г. Шуя.

15 июня в рамках Второго Всероссийского фестиваля поэзии К.Д. Бальмонта, посвященного 145-летию со дня рождения поэта, была проведена презентация трёх первых номеров журнала «Южное Сияние», издающегося в Одессе Южнорусским Союзом Писателей, его представил главный редактор издания Станислав Айдинян.

«Ст. Айдинян говорил и о духе свободы, которым обладал как в жизни так и в творчестве, в поэзии самого музыкального поэта Российской империи, далее речь зашла о одесском журнале, о его страницах, посвящённых Серебряному веку, о его авторах, живых и уже ушедших от нас. Было»



сказано и об избранном журналом направлении, о его приоритетах и литературных особенностях, о том, что журнал ныне достойно представлен в интернете. По окончании выступления полную подборку номеров Ст. Айдинян вручил директору литературно-краеведческого музея К.Д. Бальмонта Н.С. Шептуховской. Она поблагодарила за принесенный дар, заверив, что выпуски журнала пополнят фонды Музея».

Пресс-служба ЮРСП

24.06.2012. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Презентация четвертого номера журнала «Южное Сияние».

24 июня в Золотом зале Одесского литературного музея состоится презентация второго, летнего номера Одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние» за 2012 год. На презентации выступили авторы журнала, члены редакции и общественного совета издания.

«В четвертый (№2' 2012) номер «Южного Сияния» вошли произведения 77 авторов – писателей Одессы, Ростова-на-Дону, Москвы, Киева, Минска, Николаева, Харькова, Воронежа, Волгодонска, Майкопа, Нью-Йорка, Чикаго, Токио и др. Особенностью номера стала обширная рубрика «Дружба журналов», в которой представлен один из старейших в России литературный журнал «Дон», издающийся в Ростове-на-Дону, и его постоянные авторы. Это стало дружеским ответом журналу «Дон», «одесский» номер которого вышел в 2010 году».

Пресс-служба ЮРСП

16.08 – 09.09.2012 г. Ряд площадок Ильичёвска и Одессы. Второй ежегодный арт-фестиваль «Провинция у моря».

Организаторами выступили Южнорусский Союз Писателей, творческое объединение «Территория Ъ» и ЛИТО им. В. Домрина. Три недели фестиваля вместили в себя около 20 различных мероприятий – презентаций книг, творческих и бардовских вечеров, художественных выставок.

«В рамках арт-фестиваля прошли: 18 августа презентация поэтической книги члена ЮРСП Александра Хинта «Время избыточных точек»; 29 августа – литературный салон «Среда» (при участии членов ЮРСП Ирины Дежевой и Юлии Петрусевичюте); 1 сентября – презентация поэтической книги члена ЮРСП Александра Семькина «Кризис среднего во» (Ильичёвск); 3 сентября – поэтический вечер Ольги Ильницкой и Евгении Краснояровой; 6 сентября – поэтический вечер Марии Малиновской и Сергея Главацкого; 7 сентября – поэтический вечер членов ЮРСП Людмилы Шарга и Ирины Дубровской; 8 сентября – презентация поэтической книги члена ЮРСП Алёны Щербаковой «Восход на краю колеса» и гала-концерт участников фестиваля».

Пресс-служба ЮРСП

14.09.2012. Коктебель, Дом-музей М. Волошина. Презентация литературно-художественного журнала «Южное Сияние» на Международном научно-творческом симпозиуме «Волошинский сентябрь».

В презентации приняли участие авторы ЮРСП – члены редколлегии Станислав Айдинян (Москва), Евгения Бильченко (Киев), Сергей Главацкий (Одесса), Ольга Ильницкая (Москва), Мария Малиновская (Гомель), Марина Матвеева (Симферополь), Анна Стремнинская (Одесса), Алёна Щербакова (Одесса).

18.11.2012. Одесса, Большой зал Одесской филармонии. Творческий вечер члена ЮРСП Ильи Рейдермана.

В Одессе состоялись два юбилейных вечера известного одесского поэта Ильи Рейдермана. Поэту исполнилось 75 лет. Первый юбилейный вечер начался 18 ноября в 18:00 в Большом зале Филармонии. Он прошёл при участии друзей-музыкантов Владимира Саксонского, Юрия Кузнецова, Ивана и Елены Ергиевых (дуэт «Каданс») и квартета «Гармонии мира».

«На вечере прозвучали стихи из новой книги «Музыка» в исполнении автора. Вечере принимали участие друзья юбиляра: заслуженный деятель искусств Украины Юрий Кузнецов, дуэт «Каданс» (Иван и Елена Ергиевы), квартет «Гармонии мира». В конце вечера Председатель ООО ВТС КЛУ и ЮРСП Сергей Главацкий торжественно вручил юбиляру членский билет Союза российских писателей».

Пресс-служба ЮРСП

25.11.2012. Одесса, Лютеранский кафедральный собор Святого Павла. Юбилейный вечер члена ЮРСП Ильи Рейдермана.

Стихи из книги «Музыка» звучали вместе с органной музыкой в исполнении Вероники Струк, выпускницы Одесской консерватории имени А. В. Неждановой, концертмейстера Одесского Национального Академического Театра Оперы и Балета, органиста Немецкой Евангелическо-Лютеранской

церкви святого Павла, создателя и художественного руководителя ансамбля «Вечная музыка», дипломанта международных фестивалей духовной музыки. Этот вечер, как и предшествующий ему, прошёл при переполненном зале.

«В дни рождения принято дарить подарки. Тем более – в юбилейные. И в них не было недостатка. Но в этот день подарок получили все, кто пришёл на вечер Ильи Исааковича. Им представилась уникальная возможность прикоснуться к высокому искусству сплетения поэзии и музыки, к гармонии. Поздравить юбиляра пришли друзья, коллеги по поэтическому цеху, благодарные читатели и любимые ученики. На вечере прозвучала музыка Мендельсона, Теофила Рихтера, Моцарта, Баха, Шуберта. Вечере принимали участие заслуженная артистка Украины Наталья Ютеш (сопрано) и лауреат международных конкурсов Марина Годулян (меццо-сопрано). Также в музыкальной части вечера в исполнении квартета “Гармония мира” прозвучал вальс из струнного квартета Теофила Рихтера – отца выдающегося пианиста Святослава Рихтера. . . В отреставрированном кафедральном соборе апостола Павла можно увидеть фотографию семьи Рихтеров, ведь Теофил Рихтер работал здесь органистом».

Людмила Шарга

28.11.2012. Одесса, кафе «Промсвязь». Вечер переводов в литературном салоне «Среда».

28 ноября в Литературном салоне «Среда» прошёл вечер переводов». На мероприятии одесские переводчики познакомили публику со своими переводами поэзии классиков и современников на русский язык.

«Среда 28 ноября 2012 года стала поистине выдающейся средой в нашем литературном салоне. Вечер переводов состоялся. Перевод – особый вид писательского творчества, в результате которого автор и переводчик становятся соавторами. Это интересно, тем более, что в Одессе работает целая плеяда прекрасных переводчиков. Порадовали гостей салона Анатолий Яни (переводы Федерико Гарсиа Лорки), Анна Стреминская (переводы с польского и итальянского), Ирина Беньковская (переводы с испанского), Эрлен Бейлис (переводы английского), Навиль Муратов (перевод В. Шекспира)».

Элла Леус

11.01.2013. Одесса, ДК медицинского работника. Открытие нового сезона в Творческой гостиной «Diligans».

11 января состоялась январская встреча в Творческой гостиной «Diligans». В начале встречи были представлены новинки печатных изданий, среди которых и первый номер журнала «Интеллигент» – ещё одно издание уникального медийного проекта, учредителем которого является Сергей Пашков (Россия), и одесский литературный журнал «Южное Сияние», который несмотря на свой «юный возраст», уже достаточно популярен не только в Одессе и Украине, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Так же Сергей Главацкий познакомил зрителей с тремя молодыми авторами, выступление которых в анонсе встречи было обозначено как «молодая поэзия Одессы». Это Катя Чудненко, Елена Боришполец и член ЮРСП Ксения Александрова.

«Памятная поэтическая страничка встречи открылась стихотворением Михаила Анищенко – русского поэта, ушедшего в ноябре прошлого года. Ведущие вечера – Семён Абрамович и Людмила Шарга – прочли стихотворения Натальи Крандиевской-Толстой, Осипа Мандельштама, Бориса Чичибабина, Игоря Павлова, Николая Рубцова. Добрый и давний друг “Diligans”, постоянная участница встреч-остановок, актриса Елена Куклова прочла стихотворение Юрия Левитанского “Как показать зиму”. Поэт Татьяна Василиади, автор сайта гостиной, автор многочисленных публикаций в периодике, прочла несколько стихотворений».

Пресс-служба ЮРСП

1.02.2013. Москва, Библиотека украинской литературы. Презентация Одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние».

В пяти вышедших номерах литературно-художественного журнала «Южное Сияние» были опубликованы произведения более 20 москвичей и жителей столицы, среди них – Константин Кедров, Иван Жданов, Вилли Мельников, Игорь Иртеньев, Евгений Чигрин, Кирилл Ковальджи, Светлана Галкина, Роман Михеенков, Леонид Костюков, Александр Кабаков, Андрей Коровин, Борис Викторов, Игорь Кучебо, Павел Крючков, Елена Кацюба, Игорь Панин, Надя Делаланд, Андрей Пустогаров, Михаил Синельников, Илья Криштул, Алла Рахманина, Марина Струкова, Рой Медведев, Алексей Геденов, Ганна Шевченко, Александр Самарцев. . . На презентации выступили авторы пяти номеров журнала и друзья «ЮС» Кирилл Ковальджи, Игорь Кучебо, Надя Делаланд, Андрей Пустогаров, Илья Криштул, Алла Рахманина, Ганна Шевченко, Александр Самарцев, Ольга Харламова, Алан Останин и др. Презентацию провёл главный редактор издания Станислав Айдиняня.



«С приветственным словом выступил известный поэт и писатель-прозаик, можно сказать, старейшина русской литературы, Кирилл Ковальджи, который не только сказал добрые слов в адрес редакции журнала, но и вспомнил о том, как он некогда оказался свидетелем вступления румынских войск в Одессу — было это в тревожные для города дни Второй Мировой войны. К.В. Ковальджи в заключение своего выступления прочёл несколько своих стихотворных произведений. Выступил на вечере Президент Союза писателей XXI века, член Президиума Московского городского отделения Союза писателей России, Союза писателей Москвы, ПЕН-Клуба — Евгений Степанов. Он известен не только как талантливый поэт и профессионал-филолог, но и как главный редактор и издатель целого ряда высоко зарекомендовавших себя изданий, отражённых также и на принадлежащем ему ресурсе — уже упомянутом «Читальном зале». Среди них — «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Литературные известия»... В своём выступлении, вызвавшем живой и искренний интерес собравшихся, Евгений Степанов достаточно высоко оценил литературные достоинства журнала, по его словам, появившегося «как бы из ничего» на современном литературном горизонте. Евгений Степанов, как и К. Ковальджи, и ещё целый ряд выступающих отметили решающий, весомый вклад в дело журнала впускающего редактора «Южного Сияния», поэта, фактического основателя издания, Сергея Главацкого».

Пресс-служба ЮРСП

«Конечно, московским, да, думается, и украинским читателям в издающемся на юге Украины журнале интересно в первую очередь то, как представлен на его страницах происходящий там литературный процесс, его связь с богатыми литературными традициями Одессы. Но и авторы, олицетворяющие «литературу Севера», т.е. писатели из России — частые гости на страницах гостеприимного «Южного сияния». Здесь, как и во всей одесской округе, теплая и дружеская атмосфера. В полной мере она отразилась и на состоявшейся в БУЛ презентации. Выступавшие отмечали важность и для Украины, и для России сохранения культурного пространства, традиционных литературных связей, чему по-своему содействует «Южное сияние»».

Пресс-служба Библиотеки украинской литературы

15.03.2013. Одесса, ДК медицинского работника. Мартовская встреча-остановка в творческой гостиной «Diligans».

15 марта в Одесском доме медработников прошли мартовские поэтические чтения «Ещё одна закончилась зима...», посвящённые Всемирному дню поэзии. В вечере участвовали Семён Абрамович, Сергей Александров, Татьяна Василиади, Сергей Главацкий, Жанна Жарова, Евгения Красноярова, Илья Рейдерман, Анна Стреминская, Александр Хинт, Людмила Шарга и Евгения Бильченко (Киев).

24.03.2013. Одесса, Одесский литературный музей. Всемирный день поэзии.

24 марта в Золотом зале Одесского литературного музея состоялась презентация новых — третьего и четвёртого за 2012 год — номеров Одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние». В третий и четвёртый номера журнала за 2012 год вошли произведения авторов — писателей Одессы, Измаила, Москвы, Санкт-Петербурга, Подольска, Тирасполя, Кишинёва, Николаева, Ялты, Евпатории, Киева, Харьков, Минска, Гомеля, Полоцка, Иваново, Калининграда, Вологды, Ставрополя, Гагры, Челябинска, Екатеринбург, Касли, Кемерово, Новосибирска, Красноярска, Нюрнберга, Ганновера, Кёльна, Индианаполиса и др.

«Открыл презентацию председатель Южнорусского Союза Писателей, выпускающий редактор журнала Сергей Главацкий. Собравшихся приветствовали Евгений Голубовский (вице-президент Всемирного Клуба Одесситов), Юрий Работин (Председатель Одесской региональной организации НСЖУ), Олег Дрямин (член редакционного совета журнала). Свообразным камертоном встречи стало выступление писателя, поэта, зав. отделом прозы «ЮС» Ольги Ильницкой, которая говорила о том, что происходит с русским языком, о том, как предотвратить «умирание» языка, как реанимировать то, что осталось от некогда «великого и могучего», о том, какая ответственность сегодня ложится на плечи русских литераторов, поэтов, прозаиков, как носителей и хранителей живой сокровищницы... Из всего этого следует, что перед редакционным советом и авторами «Южного Сияния» стоит нелёгкая задача, что впрочем, было понятно с первых же дней существования журнала, с первых минут работы над ним. Не так просто сегодня привлечь внимание читательской аудитории, которая «требует юмора», требует лёгкого чтения. Не так просто идти навстречу читателю, не идя при этом у него на поводу. Возможно ли такое? Слушая Галину Маркелову, Александра Хинта, Анну Стреминскую, Илью Рейдермана, Наталью Тараненко, Евгения Деменка, Романа Кожухарова, и оглядываясь на не такой уж объёмный, но, тем не менее, далеко не легковесный архив «Южного Сияния», я всё-таки позволю себе ответить на этот почти риторический вопрос утвердительно и пожелать создателям и авторам журнала дальнейших открытий и новых путей к читателю. Ему же, читателю, искренне желаю научиться читать осознанно, вдумчиво».

Людмила Шарга

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

На 3 стр. обложки:

фото № 1 – Журнал «Юголеф», первые страницы (№2);
фото № 2 – Журнал «Юголеф» (№3);
фото № 3 – Журнал «Юголеф» (№4);
фото № 4 – Журнал «Юголеф» (№5).

Підписано до друку 05.04.2013 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,00.
Зам. 3374. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17